Мои посмертные воспоминания

История жизни Йосефа «Томи» Лапида

Томи был огнем и ветром. Говорил то, что думал, ничего не скрывал и не приукрашивал. Если ошибался – имел смелость это признать. Страстно любил жизнь и остро ее чувствовал. И не хотел сдерживать своих чувств. Таких чувств никто не смог бы сдержать...

Реувен Ривлин, президент Израиля

Яир Лапид

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.

Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

- Яир Лапид
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 24
  - Глава 25
  - Глава 26

- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47
- Глава 48
- Глава 49
- Глава 50
- Глава 51
- Глава 52
- Глава 53
- Глава 54
- Глава 55
- Глава 56
- Глава 57
- Глава 58
- Глава 59
- Глава 60
- Благодарности

- notes
  - 1

Яир Лапид
Мои посмертные воспоминания. История жизни Йосефа «Томи» Лапида

© Издательство «Синдбад», 2017

* * *

Глава 1

Я пишу эту книгу после своей смерти. Большинство людей ничего не пишут после того, как умрут, но я ведь не отношусь к большинству.

А впрочем, может, и отношусь. Моя биография настолько полна противоречий, что порой мне (и не только мне) казалось, что я вобрал в себя всех, кого когда-либо встречал. При рождении мне дали два имени: Йосеф – в честь деда, которого я не знал, и Томи – в честь принца из какой-то забытой ныне венгерской династии, и я всю жизнь носил оба имени. Я был самым знаменитым атеистом в Израиле, откровенным и рьяным противником ортодоксов, но представлял собой классический пример еврейской судьбы. Меня ненавидели, но я был очень популярен – образованный и благовоспитанный европейский интеллектуал и одновременно страстный трибун, известный своими вспышками гнева; шовинист-консерватор, способный по достоинству оценить красивую женскую фигуру, и любящий муж известной писательницы-феминистки, основавший первый в стране женский журнал; сноб, любивший Рембрандта, Моцарта и Брехта, и популярный оратор, увлекавший и воодушевлявший толпу своими точными лозунгами; левак, поддерживавший идею раздела страны, и правый националист, которому Менахем Бегин поручил управление единственным в стране телевизионным каналом; сирота, сошедший с корабля в одних-единственных штанах, и богатый буржуа, запачкавший свой галстук в лучших ресторанах Европы.

Я развлекал эсэсовцев на железнодорожной станции своего родного города, чтобы тайком проносить мороженую конину в подвалы гетто, а в семнадцать лет был мобилизован в армию страны, которую не знал, и мной командовали офицеры, язык которых я не понимал. На службе этой стране я был приглашен в Белый дом, на Даунинг-стрит, 10, в Елисейский дворец, в Запретный город в Пекине и в Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели; я обедал с Бараком Обамой, пил кофе с Арафатом, чокался с Николя Саркози, шел за гробом Уинстона Черчилля, был спутником Бен-Гуриона в поездках по странам третьего мира… но моя мама все равно считала, что я недостаточно преуспел в жизни.

Я прожил жизнь страстно, без угрызений совести, как только и мог жить человек, чудом избежавший верной смерти. Длинноногие девицы крутили передо мной идеальными попками от кабаре «Лидо» в Париже до отеля «Мираж» в Лас-Вегасе. Для

меня играл Луи Армстронг, мне пели Элла Фицджеральд и Рита Яхан-Фаруз, я вручал приз на церемонии немецкого «Оскара» вместе с мертвецки пьяным Джеком Николсоном, на моей свадьбе был шафером Дэнни Кей, я помогал надевать противогаз во время ракетного обстрела Тель-Авива Джеку Мэйсону… Я работал автоэлектриком, юристом, журналистом, бизнесменом, политиком и снова журналистом. Я писал юмористические рассказы и весьма популярные путеводители. Сборники моих статей были бестселлерами, как и моя кулинарная книга, мои комедии имели большой успех в израильских театрах, – но все, включая меня, считали, что моя жена пишет лучше меня.

Менахема Бегина я разочаровал, с Ариэлем Шароном отношения у меня были запутанные, как у отца с сыном; на Эхуда Барака я накричал; Биньямин Нетаньяху утверждает, что без меня не смог бы осуществить финансовую революцию, которая спасла страну; Эхуд Ольмерт, один из двух моих лучших друзей, сидел возле моей постели, когда я умирал, и плакал.

А как я ел! Я ел венгерские колбаски, горячие французские багеты прямо из печи, зрелые голландские сыры, миски дымящегося хумуса с вареными бобами в Абу-Гош, густые мясные похлебки на севере Соединенных Штатов, пирожные со взбитыми сливками в Вене, пухлые, как ручки Гретхен, сосиски в Берлине, суши в Японии, чикен-тикку в Бомбее; однажды в Бирме я пил какое-то кошмарное вино, а позднее узнал, что для улучшения вкуса его выдерживают в сосудах с эмбрионами обезьян; я ел все, ел больше всех, но всегда оставался голодным.

Однако надо все же объяснить эту крайне необычную возможность – писать автобиографию после собственной смерти. Итальянский драматург XVIII века Карло Гольдони писал: «Тот, чей образ остается в сыновьях, умирает лишь наполовину».

Я пишу сейчас рукой моего сына Яира и по-прежнему подавляю его своим авторитетом, как это неоднократно случалось, пока я был жив. Признаю – это не очень справедливо. Я и раньше бывал к нему несправедлив, но он все равно любит меня той беззаветной и безусловной любовью, с которой дети готовы принимать наш образ, который мы сами создали в их воображении.

Без ведома Яира я готовил его к этому моменту с дня его рождения. Я много раз рассказывал ему историю своей жизни. И как всякий хороший рассказчик (а какой венгерский еврей не является таковым?), я сдабривал свои истории пикантными анекдотами, украшал жемчужинами причудливых образов – людьми злыми и добрыми, всегда побеждающими и вечно побежденными, незабываемыми пейзажами, острыми ароматами

и удивительными открытиями, порой неприятными, когда речь шла о человеческой природе и слабостях.

Яир слушал. Он был серьезным и грустным ребенком, у него почти не было друзей, и я с радостью восполнял их отсутствие, не утруждая себя вопросом: не я ли сам создал вокруг него эту пустоту? Мне вспоминается (это было в конце 60-х, когда мы вернулись из Лондона с новой коллекцией пластинок): я сижу в своем маленьком кабинете на Яд-Элияху, слушаю «Волшебную флейту» Моцарта на старом проигрывателе и в приступе восторга дирижирую оркестром своими толстыми белыми пальцами (всегда терпеть их не мог!). Я заметил Яира рядом с собой только через несколько минут. Он сидел на полу и подражал мне, дирижируя маленькими детскими пальчиками произведение, которое раньше никогда не слышал! Тогда я испугался и продолжал бояться еще многие годы, что, копируя меня, мой сын, как дети многих успешных людей, не будет заботиться о развитии собственного «я», своей личности, и превратится в Санчо Пансу моих воспоминаний. Я ошибся. И – крайне редкий случай – был очень рад тому, что оказался неправ.

Смерть – квинтэссенция жизни. Она раскрывает перед тобой суть самых важных вещей: отцовства, семьи, любви. Оглядываясь назад, я ни о чем не жалею. Раскаяние – это черта характера, которая, и я заявляю это с полной ответственностью, мне несвойственна. Проверить качество пудинга можно только на вкус – я всегда повторял эту английскую поговорку своим детям. Если пудинг не удался, никакие разговоры не помогут его исправить, а если он хорош, то повар достоин аплодисментов. У меня было трое успешных детей, осталось двое. Кое-что удалось на моей кухне.

Я никогда не страдал излишней скромностью, но должен признаться – и не подумал бы взяться за эту книгу, если бы собственные похороны не произвели на меня столь сильного впечатления. Они, несомненно, имели головокружительный успех. Над моей могилой плакал премьер-министр, в проходах теснились многие сотни людей, присутствовал весь цвет израильской прессы, и, естественно, мне удалось спровоцировать еще один, последний, скандал – тем, что впервые за всю историю государства на религиозном кладбище были устроены светские похороны.

Религиозная пресса возликовала, когда стало известно, что меня собираются похоронить на кладбище Кирьят-Шауль. Именно в этих случаях религия вторгается в нашу жизнь – в начале и в конце, когда у нас нет никакой возможности противостоять. Представьте, каково было их разочарование, когда вместо кадиша

они услышали над моей могилой «My Way» Фрэнка Синатры. Честно говоря, все чуть было не сорвалось: прямо перед тем, как меня надо было опускать в могилу, надо мной встал раввин Глойберман из Хабада, один из тех махеров, которых я всю жизнь ненавидел, и начал бормотать что-то невразумительное – заботясь при этом, конечно, о том, чтобы попасть в объективы телевизионных камер. Яир, особо не церемонясь, опустил на его плечо свою ручищу и велел ему исчезнуть. Может, мне в моем положении уже не стоило злорадствовать, но я никогда в жизни не упускал случая как следует поскандалить или поесть всласть, ну а сейчас и подавно – не стоит изменять своим принципам.

Выходя с кладбища, Шула шепнула на ухо Алуш (Ализе Ольмерт): «Мне так стыдно!» – «Почему?» – спросила Ализа. «Я всегда знала, что он важный, известный человек, – сказала Шула, – но только сейчас до меня дошло – я не представляла себе – до какой степени».

Не сердись на себя, Шуленька, я тоже не понимал.

Мне много раз предлагали написать автобиографию, но я всегда чувствовал, что на самом деле люди хотят, чтобы я написал их биографии, видя во мне всего лишь подходящий инструмент.

В моем компьютере есть несколько попыток написать историю моей жизни, но я так ни разу и не смог пойти дальше двух-трех страниц. Мне никогда не удавалось определить, что важно, а что нет. То, чем я занимался в текущий момент, всегда казалось мне самым важным. На сайте шахматных блиц-партий сохранилась 31 371 моя игра с противниками со всего мира. Абсолютно все они, каждая из них, во время игры казались мне делом жизни и смерти. Может, и неудивительно, что ни жизнь, ни смерть я не воспринимал серьезно. Поздравляя с семидесятилетием Баррана, с которым подружился в гетто, я написал: «В нашем случае было гораздо труднее добраться до пятнадцатилетия, чем до семидесятилетия».

Только после смерти я осознал (или признал), что был последним.

Нет никакой заслуги в том, чтобы быть последним в своем роде. Я просто представляю собой еще одно доказательство того, что атеизм и любовь к голубцам – продлевающая жизнь комбинация. Быть последним – это не привилегия, а работа. Я был последним из тех, кто, выжив в Катастрофе, заседал потом в Кнессете и правительстве. После меня в этих креслах из оленьей кожи уже не будет сидеть ни один человек, хранящий в памяти самое страшное событие в истории человечества.

Я был последним, кто помнил довоенную Европу, старый мир

хрустальных люстр и женщин в длинных атласных платьях, грациозно опиравшихся на руки элегантных мужчин. Я был последним из израильских государственных деятелей, кому довелось присутствовать на выступлении Черчилля в парламенте, быть свидетелем возникновения «железного занавеса», а потом и его падения; приплыть в Израиль на утлом суденышке, услышать по радио на коротких волнах новость о провозглашении Государства Израиль в ООН, служить в армии в 1948 году и лично присутствовать при смерти бога.

Мой добрый друг лауреат Нобелевской премии Эли Визель сказал однажды: «Воспоминания – это мое основное занятие». Для меня же, в отличие от него, воспоминания всегда были скорее хобби. Я был слишком занят и жил слишком неистово, чтобы жертвовать своим настоящим ради прошлого. Только сейчас с удивлением, смешанным с гордостью, я понимаю, что был последним участником тех самых событий, в которых был когда-то первым, – что я завершал именно то, что когда-то начинал.

Глава 2

Как правило, большинство людей не могут точно определить границу между детством и отрочеством. А я могу. Я стал взрослым в 12 лет, в ночь с 18 на 19 марта 1944 года.

Это была ясная, усеянная звездами ночь. Мы с отцом шли по пустынной улице, и я твердил «sum, es, est…», повторяя вслух заданное на завтра по латыни.

– Красивая ночь, – сказал я, чтобы отвлечься.

– Да.

– Мама уже добралась до Будапешта?

Она отправилась туда, потому что ее сестре, тете Эдит, сделали операцию.

– Да. Она уже у бабушки с дедушкой, наверняка показывает им твою фотографию, – улыбнулся отец.

– А можно мне спать вместе с тобой в кровати?

– Да.

В шесть утра я еще был ребенком. Спал на широкой кровати рядом с отцом, укрываясь с ним одним одеялом. Отец был крупным, толстым человеком (даже толще, чем я в его годы), и его теплое дыхание служило мне спокойным, размеренным метрономом в той вселенной, которая, как я каким-то детским чутьем понимал, вот-вот сойдет с ума.

Это была не первая моя встреча с войной. Я уже обжегся однажды, тремя годами ранее, когда мне было девять с небольшим. 5 апреля 1941 года венгры вторглись в Югославию. Мама и тогда находилась у родителей в Будапеште (она ездила туда три раза в год), и мы с отцом собрали три чемодана и поехали в столицу, Белград, чтобы укрыться у родственников. В ту ночь Белград бомбили. Это была самая массированная атака немцев после бомбежки Роттердама, и дом, в котором мы находились, пострадал от зажигательной бомбы. Мы бежали оттуда, спасая свою жизнь. Я помню, как содрогался дом, но еще отчетливее помню вид улицы, на которой горели, как огромные спичечные коробки, все дома. Охваченные страхом люди метались по улицам, и отец сказал: «Пойдем к Дунаю». Сверху падали горящие балки и камни, и я побежал зигзагами. Отец кричал мне, что это не поможет, потому что нам не видно, что и откуда падает, но я все равно продолжал бежать, а он – странный и старомодный доктор Лампель – шел размеренно, не теряя достоинства даже в этом бедламе, неся в правой руке наш саквояж. На бегу я услышал грохот и обернулся – рядом со мной упал горящий телеграфный столб. Я сделал «зиг», а он упал в

«заг».

Я часто говорил своим друзьям, уроженцам Израиля, что они понятия не имеют, что такое война, и они всегда обижались. Что же, возмущались они, разве война Судного дня не была войной? А война в Персидском заливе? А первая Ливанская война? А вторая? Я несколько снисходительно объясняю им, что война, настоящая война, происходит не так. В настоящей войне бои не ведутся только на отдаленных фронтах. В настоящей войне каждый день могут погибать две с половиной тысячи израильтян, а в больницы могут поступать десятки тысяч раненых. В настоящей войне будут потоплены суда в Хайфском порту, Министерство обороны в центре Тель-Авива исчезнет с лица земли, правительственные учреждения будут охвачены пламенем, от городов на севере, в центре и на юге страны – Нагарии, Нетании, Димоны – не останется камня на камне.

Настоящая война, представьте себе, начинается так: большая часть страны остается без электричества; шоссе перекрыты сгоревшими машинами; поезда не ходят; порты заминированы; границы страны наглухо закрыты; военно-воздушные базы уничтожены; Армия обороны Израиля героически сражается, хотя все заранее разработанные планы нарушены; тыл пока держится – несмотря на то, что в первую неделю войны погибли пятнадцать тысяч человек и сто тысяч были ранены; телевидения нет; радио пока еще работает – по нему просят сдавать кровь.

Они замолкают и смотрят на меня, а я молча смотрю на них, но не рассказываю им того, что я понял на пылающих улицах Белграда, по которым шел взрослый мужчина в строгом костюме, преисполненный решимости сохранять достоинство в глазах сына, метавшегося вокруг него: в настоящей войне выживший не испытывает облегчения, он чувствует вину. Всю жизнь я нес бремя этой вины. Почему отец, а не я? Почему из двадцати четырех учеников моего класса я оказался в числе семи выживших? Надеюсь, это не прозвучит слишком странно, но я чувствовал себя вдвойне виноватым, поскольку был послушным ребенком, уважавшим старших и всегда старавшимся всем понравиться. А все хотели, чтобы я умер. Учителя, соседи, правительство, страна, все власть имущие. Все считали, что моя обязанность – умереть, а я заупрямился и выжил. Война заставила меня перестать быть хорошим ребенком, и я больше никогда уже им не был. Я выбрал зиг, а не заг.

В течение прошедших с той поры лет я наблюдал – поначалу с негодованием, а позже смирившись, – за тем, как Холокост превращался в явление литературное или, что еще хуже, – кинематографическое. «Почему вы не бежали?» – спрашивали

меня снова и снова, даже самые близкие люди. Катастрофа представлялась им каким-то длительным процессом, в котором люди исчезают постепенно: сначала теряют работу, потом имущество, затем собственную плоть, а в конечном итоге их отвозят на поездах навстречу смерти. Но для таких евреев, как мы, Катастрофа стала извержением Везувия. Лава заставала нас врасплох в самые что ни на есть тривиальные моменты бытия. Они умирали у рабочего стола, занимаясь любовью со своими женами, гуляя в парке с детьми, за чашкой кофе, пробегая глазами по газетным заголовкам, не понимая, что речь идет о них самих. Или во сне.

Ровно в шесть утра я услышал бабушкин голос. «Битте, битте», – сказала она кому-то негромко по-немецки, и дверь в спальню открылась. «Бела, – сказала она отцу, – с тобой хочет поговорить немецкий солдат». Но солдат не ждал, он зашел вслед за ней в спальню, одетый в зеленовато-серую форму, держа винтовку с примкнутым штыком. Он был на удивление вежлив. «Доктор Лампель? – спросил он, сверяясь со списком в руке. – Пожалуйста, оденьтесь». Я спрятался под одеяло, оставив сбоку щель, чтобы подсматривать, и беззвучно заплакал. Отец встал и оделся.

«Рюкзак», – сказал он бабушке. Она вышла и вернулась с рюкзаком. Собираться было не нужно. С тех пор как началась война, у каждого из нас были наготове уже собранные рюкзак или сумка.

Бабушка сделала пару шагов в сторону блондина со штыком и, держась за спинку кровати, медленно, как это свойственно старикам, опустилась на колени. Слегка смущенный немец молчал, уставившись на картину на стене, изображавшую тореадора. Бабушка обхватила его колени, прижавшись к начищенным до зеркального блеска сапогам. Она взглянула в его голубые глаза. «Господин, – сказала она, – не забудьте, что вас дома тоже ждет мать». И добавила: «Да благословит вас Бог».

Немец поморщился, затем кивнул отцу. Время пришло.

Отец нагнулся, приподнял одеяло, обнял меня и произнес слова, которые сделали меня взрослым. «Мальчик мой, – сказал он, – не знаю, встретимся мы еще в этой жизни или нет».

Я увидел его еще раз через пять лет, но не вживую.

Это было мое первое субботнее увольнение во время службы в армии. Мой двоюродный брат Саадия (его отец, доктор Вальдман, ярый сионист, дал ему имя, не зная о том, что оно йеменское, и он, пожалуй, был единственным голубоглазым блондином Саадией в Израиле) повел меня гулять по Тель-Авиву, гордо демонстрируя мне город. Я был разочарован до глубины

души. Даже в разрушенном Нови-Саде, оставшемся в моем прошлом, центральная площадь была прекраснее, чем Муграби, а главная улица впечатляла гораздо больше, чем Алленби. Когда мы добрались до набережной, Саадия показал мне гостиничку «Катэ Дан» и с гордостью сообщил, что это самый большой отель в Тель-Авиве. Тогда я начал понимать, куда приехал.

Вечером, на пути к дому родителей Саадии, мы проходили мимо террасы, на которой молодые люди танцевали танго. Я засмотрелся на кружащиеся пары и почувствовал укол в сердце – какой может почувствовать только новый репатриант. Всего несколько недель назад я был таким же – молодым гимназистом, выжившим в войне и танцевавшим на террасе с девушками, за которыми ухаживал, в компании одноклассников, мы говорили на родном языке, напевали любимые мелодии, ели привычные блюда, смеялись над понятными нам шутками среди знакомых пейзажей, и вдруг я оказался чужаком. Без крова, глухой и немой, без шанса когда-нибудь чего-нибудь добиться. Когда же меня кто-нибудь пригласит танцевать танго?

Вечером субботы Саадия повел меня в кинотеатр «Эстер». Я впервые в жизни видел перевод с английского не на экране, а сбоку от него (написанный от руки). В перерыве, услышав, что мы говорим по-сербски, к нам подошел молодой человек. В руках у него был большой альбом для рисования.

– Моя фамилия Лифковиц, – представился он, – я художник.

– Я – Лампель, – сказал я.

Он внимательно посмотрел на меня.

– Вы родственник доктора Белы Лампеля? – спросил он.

– Я его сын.

– Мы были вместе в Аушвице[1], – сказал он, но тут началась вторая часть фильма.

Когда он закончился, мы устроились на скамейке на площади Дизенгоф. Лифковиц открыл альбом, достал из кармана толстый карандаш и сказал: «Я нарисую вам вашего отца». Я сидел около него в мою первую тель-авивскую ночь и с волнением следил за возникавшим на ватмане изображением. Закончив, он спросил: «Похож?»

– Черты лица похожи, – сказал я, – но он был толстым.

Лифковиц помрачнел и закрыл альбом.

– Когда я познакомился с ним, – сказал он, – он уже был худым.

Я не могу представить своего отца худым. И не хочу. Я предпочитаю сохранить его в памяти таким, каким я его запомнил.

Глава 3

На стене моего кабинета висит в широкой раме фотография семейства Лампель, которой более восьмидесяти лет. Моя жена Шула решила оставить ее там как напоминание о том мире, который уже никогда не вернется, и о муже, который ушел навсегда.

На фотографии мой дед Йосеф Лампель (в честь которого меня назвали), умерший за год до моего рождения, моя бабушка Эрмина, мой отец и два его младших брата – Пали и Лаци.

Я не представляю, как эта фотография могла сохраниться. Она была сделана в фотоателье Вайды в моем родном городе Нови-Сад. Исполненные достоинства, в тщательно продуманных позах – как на полотнах голландских мастеров XVII века, – мои дед и бабушка, в накрахмаленных и застегнутых на все пуговицы одеждах, сидят за столом; стрелки на больших часах показывают шесть. У деда и отца повязаны галстуки, у младших братьев – бабочки. Никто не улыбается.

Я вырос в так называемом Старом Свете. Спокойном и неторопливом, почтенном и тяжеловесном мире, в котором царила атмосфера покоя, мире мраморных дворцов и каменных мостов, долгого послеобеденного сна и еще более длинных ужинов, медных граммофонов и серебряных запонок, лошадей с торчащими ушами и пыхтящих, вечно опаздывающих паровозов (медлительность не была преступлением).

Вскоре после того, как была сделана эта фотография, дворцы были взорваны, а мосты разрушены. Бабушка Эрмина погибла в Аушвице вместе с еще десятью членами моей семьи. Отец умер в лагере Маутхаузен за две недели до окончания войны. Наши улыбчивые соседи донесли на нас властям, а потом ворвались в наши дома и разграбили всё – и граммофоны, и запонки. Паровозы были перевернуты, и вагоны разбросаны, как игрушки сумасшедшего великана. Мы ели лошадей. Днем мы слышали, как жутко они стонут, раненные во время бомбардировок, а ночью, прокрадываясь из подвалов гетто, вооружившись наспех сделанными ножами, отрезали от них куски замерзшего мяса. Я не отношусь к людям, помнящим свои сны, но стоны лошадей преследовали меня по ночам долгие годы.

Я смотрю иногда на Яира и Мерав и завидую им. Завидую им и тревожусь о них. Они ошибочно считают, что мир, в котором они живут, непоколебим. Карьера, красивые дети, собственное благосостояние – дома, машины, банковские счета – все это вводит их в заблуждение, что так будет всегда, что никто не

может прийти и в одночасье лишить их всего. Но я-то знаю, насколько непрочна действительность. Мир, в котором я вырос, казался незыблемым и неизменным в гораздо большей степени, чем их сегодняшний – лихорадочный и нервозный. Тот пребывал в сладкой дремоте сотни лет. Но однажды, в одно мгновение, лед треснул, и все танцоры исчезли в темных водах.

Но, пожалуй, стоит начать сначала.

Город Нови-Сад расположен на берегу Дуная, в восьмидесяти километрах к северу от Белграда и в двухстах двадцати – к югу от Будапешта. На протяжении почти всей своей истории он был пограничным городом, защищавшим юго-восток Австро-Венгерской империи. Первым евреем в городе был человек по имени Кальдаи, который поселился здесь в XVII веке. Через сто лет, в 1749 году, население Нови-Сада составляло 4620 человек, 100 из которых были евреями. Еще через сто лет, в 1843 году, население Нови-Сада насчитывает 1125 евреев. Среди них – несколько врачей и «толстая еврейка Пэпи», владелица публичного дома «Золотые девочки». По дошедшим до нас сведениям, в 1836 году она была оштрафована из-за того, что солдаты заразились венерической болезнью во время визитов в ее публичный дом.

Накануне Второй мировой войны в Нови-Саде проживало 80 000 человек, 4350 из них были евреями. Трое из них – это мы: мой отец Бела, мама Каталина и я.

Они казались идеальной парой. Его все звали «умник Бела», ее – «красавица Като». Он, смуглый кареглазый провинциал, был адвокатом и журналистом, а она – белокурая красавица из Будапешта, большого города. Они познакомились, когда она приехала в гости к нашим родственникам, семейству Короди, с большим чемоданом нарядов, сшитых по последнему слову моды.

Она очень быстро заскучала – да и чем можно было заняться в доме, где самым большим развлечением главы семейства было раскрашивание яиц, – и уговорила двух младших сестер, Веру и Миру, отправиться на местные танцы. Там она встретила отца, и они влюбились друг в друга. Он был уже в относительно зрелом возрасте, и поскольку оба его младших брата уже были женаты, то семья прикладывала немало усилий для того, чтобы сосватать ему кого-нибудь из местных девушек. Он никем не соблазнился, пока не появилась она – стремительная, легкомысленная, кокетливая и, несомненно, очень красивая. В маленьких городах люди по своей природе подозрительны, и, наблюдая происходящее, все ухмыльнулись. Мама была из семьи с относительно небольшим достатком, поэтому вскоре распространился слух (исходивший от матерей всех

разочарованных незамужних барышень города), что ее интересуют только деньги.

5 июня 1930 года отец поехал в отпуск и остановился в Далмации в отеле «Гранд Империал», имевшем по-королевски торжественный вид – под стать названию. Украшенный со стороны фасада коринфскими колоннами, он располагался на волшебном побережье Адриатического моря (в восьмидесятых здание снесли, и на этом месте построили уродливый современный отель с тем же названием). Там папа сел и написал письмо своему отцу – мелким и на удивление аккуратным почерком, скрывавшим бурю в его душе.

> *«Мне 32 года, и я весьма тоскую по спокойствию тихой семейной жизни. Глубокое одиночество подтачивает мои силы, я не нахожу себе места – я больше так не могу. Порой меня злило, когда вы с мамой относились неблагосклонно к моим постоянным метаниям, к моей неприкаянности, неугомонности, к нервным срывам, которые случались все чаще, – сейчас причина их вам понятна: к этому привело глубокое душевное одиночество… В течение всей моей жизни я был лишь сторонним свидетелем чужого счастья и наблюдал проходящую мимо меня жизнь с нарастающей горечью. Сейчас, когда во мне созрело решение жениться на Като (если она согласится выйти за меня замуж), я впервые в жизни чувствую, что значит быть счастливым.*
>
> *Отец мой, это все, что я хотел рассказать вам. Могу добавить только слова Лютера: “На том стою, и не могу иначе”. Целую вас с мамой.*
>
> *Бела».*

Я снова и снова перечитывал это письмо, на протяжении долгих лет пытаясь связать образ благоразумного, рассудительного человека, каким я его знал, и мелодраму, которая видится мне в этих строчках. Возможно, нам никогда не будет дано узнать всей правды о наших родителях, но мне представляется, что этот момент отчаянного одиночества был единственным в удивительно спокойной и размеренной жизни моего отца.

Насколько я мог судить, сила этого союза была в том, что он устраивал обоих. Отец обеспечил маме комфортную жизнь, к которой она стремилась, а взамен получил самый красивый в городе цветок, чтобы носить его на лацкане своего пиджака. Было ли это любовью? А кто-нибудь знает, что такое любовь?

У нас была просторная трехэтажная вилла с фасадом на привокзальную улицу. В большом саду цвели розы и груши. На первом этаже располагались адвокатская контора отца и комнаты для прислуги. Родительская спальня, моя комната, комната няни и гостевая (которая обычно пустовала) находились на верхнем этаже.

На втором этаже были большая гостиная, столовая и еще одна просторная комната, называвшаяся «кабинетом», обставленная с тяжеловесной элегантностью: богатая библиотека, письменный стол и большое кресло, в котором отец имел привычку иногда дремать. И конечно же, большая кухня, в которой всем заправляла кухарка – толстая венгерка, готовившая на газовой плите, поскольку уже тогда газовый завод в Нови-Саде провел по всему городу газ (когда я перебрался в Землю обетованную, то обнаружил, что газ продается здесь в баллонах, и понял, в какую примитивную страну попал). Имелся и кухонный лифт – на случай, если мы захотим обедать наверху, на террасе.

Сегодня мне кажется, что только очень богатые люди живут так, но тогда это была обычная жизнь зажиточных буржуа, по праву считавших себя краеугольным камнем общества. Это было устоявшееся мнение и слуг, и господ, и никому не приходило в голову подвергнуть его сомнению. Кухарка и горничная, жившие с нами, были венгерки. Садовник, приходивший раз в неделю, – серб. Лизи, моя няня, – швабская немка. До самой старости я затруднялся чистить свои ботинки – и не только из-за избыточного веса, а главным образом из-за того, что с детства в моем сознании укрепилось мнение, что это должна делать прислуга.

Однако основным достоинством этого статуса был не размер дома или количество прислуги, а размеренный темп жизни.

Отец вставал в восемь утра, читал газету и спокойно завтракал, пока мама не напоминала ему из постели – с помощью маленького колокольчика, – что в десять ему надо быть в суде. Тогда он спускался в свой «офис», где его уже ждали два стажера с документами. Он важно усаживался за свой стол, и одна из двух секретарш подавала ему кофе (в фарфоровой чашке фирмы «Розенталь»). Затем он отправлялся в суд пешком. В перерыве между заседаниями перекусывал в соседнем кафе, просматривая еженедельники, и возвращался в фиакре домой.

После семейного обеда он усаживался в кресле в «кабинете» и дремал четверть часа. Затем снова отправлялся в контору, принимал клиентов, просматривал документы, диктовал письма, а около шести вечера поднимался наверх, слушал радио, читал или уходил с мамой на ужин, после которого они играли в бридж.

Раз в неделю он ездил на поезде в город Суботица (в ста километрах от Нови-Сада) и оставался там на пару дней, чтобы отредактировать воскресное приложение к венгерской газете «Анфель», которой владела богатая еврейская семья. Раз в неделю он писал статью – как правило, от руки, – а затем печатал ее на пишущей машинке «Ремингтон». В обществе евреев своего круга он слыл умеренным либералом. В день моего рождения – 27 декабря 1931 года – он написал статью о Махатме Ганди и его справедливой борьбе против британского империализма.

Метроном его жизни задавал ей очень медленный ритм. По телефону он говорил раза два-три в день, а в десять вечера слушал новости по радио. Всегда находил время поговорить со мной и выслушать. Я был единственным ребенком, и у меня не было соперников. По воскресеньям он брал меня на футбол, когда играла команда Воеводины. Даже сегодня я помню ощущение своей маленькой ладошки в его теплой руке, когда мы шли на стадион.

Иногда я удивляюсь, куда девалось все то время, которое было в распоряжении отца. Как ему удавалось жить столь неторопливой жизнью – без телевизора, компьютера, мобильного телефона, даже без машины? Может, секрет как раз в отсутствии всей этой техники, якобы призванной экономить время, а на самом деле пожирающей его?

Но при этом по сравнению с маминым темп жизни отца казался просто ураганом. Лизи, моя няня, каждый день будила меня, мыла, готовила завтрак, одевала и приводила в родительскую спальню, в то время как мама еще лежала в кровати. Обняться мы не могли, поскольку она была намазана кремами от морщин, поэтому рассматривала меня на расстоянии и, посылая воздушный поцелуй, отправляла в детский сад или в школу.

Только когда отец уходил в свою контору, мама вставала. Она делала небольшой обход дома, проверяя, помыла ли горничная полы и натерла ли их до блеска, на чем ее «рабочий день» заканчивался. Все оставшееся утро уходило на разговоры с подругами по телефону, прогулки по магазинам или встречи за чашкой кофе в кондитерской «Дорнштатер» в центре города. Обед в столовую с массивным столом из красного дерева нам подавала горничная в белом переднике. Во время обеда я должен был сидеть прямо, держа руки по швам, и ни в коем случае не облокачиваться на стол. Если я на минуту забывался, няня должна была принести две книги, и я обедал, удерживая их под мышками.

После трапезы мама бывала совершенно без сил. Она уходила

спать на пару часов, чтобы встать с новыми силами – для игры в бридж, которая ожидалась к вечеру или у нас, или у одной из подруг. Если они с отцом были приглашены на вечер, она оставалась дома и читала в саду или на террасе на крыше. Иногда она занималась со мной. Мама очень быстро обнаружила, что у меня нет способностей ни к музыке, ни к пению, ни к рисованию, что немало расстраивало ее, поскольку она была абсолютно уверена, что самое главное в жизни человека – это красота. В качестве компенсации за мою бесталанность она купила мне игру «Квартет», в которой нужно было собрать из карточек четыре рисунка разных художников. Так в возрасте семи лет я узнал, что был такой испанский художник – Бартоломе Эстебан Мурильо, который написал много прекрасных картин: «Маленький продавец цветов», «Маленький нищий», «Дети, играющие в кости» и самую мою любимую – «Мальчики, поедающие виноград и дыню», на которой один из мальчиков ест дыню, а второй – виноград, держа гроздь над головой и опуская ее в запрокинутый рот, как Грета Гарбо в роли королевы Кристины.

Не случайно моей любимой картиной было изображение мальчиков с едой. Много лет спустя, когда я уже прославился как ненасытный обжора, я обычно представлял это так, как будто восполняю утраченное в гетто. Это заставляло людей замолчать, но в этом не было ни капли правды. Я всегда любил поесть – всю жизнь, сколько себя помню. И не только я, но и все, кто меня окружал. Сегодняшние газеты пестрят кулинарными рецептами и отзывами о ресторанах, но все это пустяки по сравнению с тем, какую колоссальную роль играла еда в той жизни.

Большая часть моих детских воспоминаний связана с едой, с разговорами о ней, с секретными рецептами, со спорами о том, у кого лучше кухарка, с видом кладовой, в которой покачиваются колбасы «Пик» и «Херц» и связки сосисок, а за ними – разноцветные банки с запасами на зиму: варенье из сливы, клубники, абрикосов; вишневый, грушевый и персиковый компоты; маринованные и соленые огурцы – десятки аппетитных банок стояли рядами и ожидали своего часа.

Каждое утро мама обсуждала с кухаркой меню на обед и ужин. Это была длинная и основательная беседа. Блюда определялись по времени года. Калории не играли никакой роли, хотя мама иногда заставляла отца садиться на диету. В таких случаях после выступления в суде он тайком отправлялся в кафе «Слобода», чтобы полакомиться там гусиной печенкой с паприкой. Если я рано освобождался в школе, он брал меня с собой и заказывал мне пару сосисок с хреном (при условии, что я не проговорюсь маме). Раз в году летом, во время каникул в суде,

отец ездил на две недели в санаторий в чешский Карлсбад, сбрасывал там десять килограммов и возвращался домой, чтобы снова быстро набрать их.

Двое моих дядьев (которые сообща владели фабрикой по изготовлению зеркал) и отец, самый старший из братьев, довольно часто выезжали на охоту. Иногда отец брал меня. Мы вставали в воскресенье в пять утра и ехали десятки километров в район деревни Кач, славившийся охотничьими угодьями. (Жители деревни гордились тем, что в ней в 1875 году родилась Милева Марич. Милева, дочь сербского офицера, была талантливой девушкой, и родители послали ее учиться математике в Швейцарию. Она встретила там студента-еврея, который был на четыре года моложе ее, они полюбили друг друга и поженились. Его звали Альберт Эйнштейн.)

Младший из трех братьев Лампель – Лаци – был самым серьезным охотником. В комнате с охотничьими трофеями на его вилле стены были увешаны оленьими рогами, а софу покрывала шкура медведя, убитого дядей в Карпатах. У дяди Лаци был дорогой охотничий пес, породистый пойнтер по кличке Лорд, с гордо поднятой головой и прямым хвостом, как и положено аристократу. В одно прекрасное, очень подходящее для охоты утро дядя Лаци заболел. После долгих уговоров он согласился дать пса моему отцу и дяде Пали. Когда мы вышли в поле, Лорд быстро обнаружил фазанов и согнал их. Отец и дядя Пали выстрелили, но ни с одной птицы не упало ни перышка. Мы продвигались за Лордом, продолжавшим держать след, пока снова не вышли на птиц, скрывавшихся в чаще. И снова взлетели птицы, и снова промахнулись два охотника-любителя. Лорд посмотрел на них с презрением, повернулся и побрел в сторону дома.

Я описываю не только свою реальную жизнь, но и ту, которая не состоялась. Отец хотел, чтобы я был похож на него, и я хотел того же. В некотором смысле я даже преуспел в этом. Нет ничего случайного в том, что я, как и он, стал юристом и журналистом – только в другой стране и будучи совершенно другим человеком. Иногда я спрашиваю себя, что было бы, если бы из истории исчез один год – с марта 1944-го по июнь 1945-го – год уничтожения евреев Венгрии и Югославии. Я жил бы в соседней вилле, а может быть, и в той же самой, унаследовал бы процветающую практику отца? Женился бы на красавице по имени Ружи, дремал бы в полдень в «господской» в кресле напротив картины на стене, а вечером писал бы в «Мадьяр Ирлап», одну из самых крупных венгерских газет, ностальгическую статью о покойном Махатме Ганди?

Глава 4

– Если ты не веришь в Бога, – кричал один ультраортодоксальный политик, обращаясь ко мне во время съемки телепрограммы «Пополитика», – так кто сказал, что ты еврей?!

– Гитлер! – рявкнул я в ответ.

В студии воцарилась тишина.

Бог не особо интересовал меня в детстве, а после Катастрофы я вообще перестал в него верить (сейчас-то я располагаю по этому поводу полной информацией – жаль, что у меня не было ее при жизни – мог бы творить чудеса со своей политической карьерой). Но это не значит, что я не еврей. Я – еврей в самом глубоком понимании этого слова. Иудаизм – это моя семья, моя цивилизация, моя культура и история. Меня смешат те, кто упорно продолжает инквизиторские расследования, чтобы определить, был я евреем первого или второго сорта. Абсурдна уже сама мысль о том, что вера в Бога делает иудаизм рациональным. Ведь по сути своей вера в Бога иррациональна, на то она и вера. А я в той же мере (и ни на йоту меньше) всем сердцем и душой верю в свое еврейство. Перефразируя известный монолог Шейлока из «Венецианского купца», могу сказать, что я – еврей, потому что у меня есть глаза, я – еврей, потому что у меня есть руки, чувства, привязанности и страсти; если меня пощекотать, я смеюсь как еврей; если меня уколоть, я истеку кровью как еврей; а если меня отравить, я умру как еврей.

Две популярные сплетни сопровождали мой упрямый атеизм, и обе они неточны. Первая состоит в том, что, как большинство европейских евреев, я был верующим, но потерял своего Бога в гетто. А вторая – что я рос абсолютным безбожником, в доме которого забивали свиней каждую зиму (и это правда), и что я ни разу в жизни не слышал молитвы (а вот это уже неправда).

Подозреваю, что источником первой сплетни был бывший главный раввин Израиля, мой друг рав Исраэль Лау. Мы с ним были наиболее известными людьми в Израиле из тех, кто пережил Катастрофу, и без конца спорили друг с другом. Он никогда не уставал убеждать меня «вернуться к иудаизму», а я никогда не уставал объяснять ему, что мне некуда возвращаться. После моей смерти он опубликовал статью, в которой описал нашу последнюю встречу, когда я уже лежал на смертном одре. В ней он написал: «Что касается отношения Томи к религии и религиозным, мне кажется, оно претерпело некоторую

трансформацию». Как могут засвидетельствовать мои врачи и родственники, это дурацкое утверждение не имеет никакого отношения к действительности, и будь я сейчас жив, я бы с ним поквитался!

Источник происхождения второй сплетни – в одном из самых постыдных моментов моей жизни. Это случилось через две недели после моей репатриации в Израиль, когда меня, семнадцатилетнего мальчишку-солдата, прямо с корабля послали на курсы молодого бойца. В эти дни я был совершенно сбит с толку, не мог заснуть по ночам, и, как писал известный венгерский юморист Фридеш Каринти, «мне снилось, что я – два кота, дерущихся друг с другом». Однажды я проснулся на рассвете и вышел из палатки по малой нужде. И на окраине лагеря увидел шпиона! У него на лбу был квадратный радиопередатчик, к плечу привязана антенна, и он быстро-быстро тихо бормотал что-то, – видимо, передавал сообщения врагу. Я побежал к своему командиру и сообщил, что раскрыл иностранного шпиона. Командир расхохотался. «Ты что, – спросил он, – ни разу не видел еврея, наложившего тфилин для утренней молитвы?!»

Нет, не видел, но это не значит, что мы ничего не знали об иудаизме. Он играл в нашей жизни существенную роль, даже если и присутствовал в ней ненавязчиво.

Еврейская община Нови-Сада была неологической, то есть по сегодняшним меркам находилась где-то между реформистской и традиционной. У нас была великолепная синагога, одна из самых красивых в Центральной Европе, с огромным органом, позади которого располагался хор. Мужчины и женщины сидели раздельно, мужчины носили головные уборы и покрывались талесом. Мы читали молитвы на иврите, но не понимали ни слова. Раввин читал молитвы на сербском, который был официальным языком, но в коридорах синагоги и в ее женской части оживленно сплетничали на венгерском. Фактически мы все знали в равной степени три языка: сербский, венгерский и немецкий (который в наших краях предпочитали – как международный). Мы ходили в синагогу три раза в год: на Рош-а-Шана, в Йом Кипур и на Песах.

Если бы этим все и ограничивалось, можно было бы сказать, что наш иудаизм был сомнительным. Но это было не все. Наша синагога находилась на одной из главных улиц города, вокруг нее был большой парк, на противоположном конце которого располагалось здание еврейской общины, трехэтажное, с большим залом для торжеств, столовой, где питались студенты, приезжавшие учиться в Нови-Сад из окрестных деревень, и

архивом, в котором хранились все документы, связанные с историей евреев города (архив существует и по сей день, через него Яир нашел захоронение нашей семьи и, утопая в снегу, почтил память предков).

За синагогой располагалось здание спортивного общества «Маккаби», с большим спортзалом, оборудованным прекрасными тренажерами, где я тренировался дважды в неделю. В этом здании были комнаты спортивных команд «Маккаби»: футбольной, гандбольной, и даже особой разновидности женского гандбола, уже канувшей в Лету. Была комната для игры в шахматы и шашки (в которой, правда, больше играли в карты). На верхнем этаже были комнаты молодежных организаций: от левой «Ха-Шомер ха-Цаир» до правого «Бейтара» (я состоял в скаутах). Был также довольно просторный театральный зал, в котором в основном проходили концерты. Тетя Ила, жена дяди Лаци, была пианисткой – она часто выступала там, и вся семья ходила ее слушать. Да, я не упомянул самое главное – здание еврейской школы, в которой я учился почти четыре года (весь срок начальной школы). Зарплату учителям платила община, уровень преподавания и оснащения классов был выше, чем в государственных школах. В результате христианская элита тоже отправляла своих чад в нашу школу. На уроках иудаизма мы учили ивритские буквы, и я даже могу пробормотать «Шма Исраэль» без ошибок, хоть и со странным акцентом. Танах (Библию) и еврейскую историю мы изучали на сербском.

Все это создавало вокруг нас очень еврейскую атмосферу, пусть и не религиозную. У нас дома были ханукальные свечи, у бабушки была коробочка для сбора средств на покупку земель в Палестине, а на стене висела картина «Пастух» Абеля Пана. Бабушка была председателем местного отделения Женской международной сионистской организации, отец в молодости был секретарем сионистской федерации, затем президентом Бней-Брит, а дядя Пали после войны был главой еврейской общины Нови-Сада. Для всего этого не требовались ни тфилин, ни талит, ни зажигание свечей в канун субботы. Самое религиозное событие, произошедшее со мной (кроме обрезания), – это когда старший бабушкин брат, дядя Шандор, крутил надо мной жертвенным петухом накануне праздника Йом Кипур. Это было смешно и не очень убедительно.

Но два еврейских обычая в нашем доме соблюдались всегда: мы зажигали ханукальные свечи и справляли пасхальный седер. У моего отца была «Агада» в кожаном переплете, и на ее свободных страницах он записывал имена всех, кто бывал у нас на Пасхальном седере начиная с 1931 года.

«Агада» отца, в отличие от него самого, пережила Катастрофу. После того как евреи были изгнаны из нашего города, соседи-венгры растащили их имущество: мебель, домашнюю утварь, картины, одежду; а то малое, что осталось, городские власти сохранили в большой синагоге города. Когда мы вернулись из концлагерей и гетто, нас послали в синагогу искать свои вещи. Я до сих пор помню эту картину: десятки худых бледных евреев копаются в сломанной мебели, в грудах поношенной одежды и разбитой утвари, которая осталась после того, как соседи-неевреи разобрали все, что представляло на их взгляд хоть какую-то ценность. Там было много книг. Среди них мой дядя Пали чудом нашел нашу семейную «Агаду». Спустя три года он написал в ней самые важные слова в истории нашей семьи: «Переехали в Израиль».

Глава 5

Втечение всей жизни у меня была исключительно хорошая память. Я помнил вкусы и запахи; книги, которые читал; людей, которых встречал; и все разговоры, которые вел когда-либо в жизни. Даже после появления Гугла мой старший внук Йоав, неутомимый, как и я, игрок в викторины для эрудитов, продолжал звонить мне иногда, чтобы выяснить, где впервые отмечали 1 Мая (в Чикаго) или какие монахи носят коричневые рясы (францисканцы). Я всякий раз отвечал ему, он благодарил и вешал трубку, прежде чем я успевал спросить его, на кой черт старшему сержанту ЦАХАЛа знать такую ерунду. И только в отношении самого себя моя память не всегда надежна. Я знаю, что дядя Лаци был решительным, а тетя Ила – хрупкой, ну а каким же ребенком был я? Филип Рот, один из моих любимых писателей, заметил в свое время, что «воспоминания о прошлом отображают не действительность, а наши представления о ней». Мое первое настоящее детское воспоминание было и первой травмой. Однажды, когда мне было примерно пять лет, крестьянин принес отцу ягненка в качестве гонорара за оформление договора. Отец подарил его мне, чтобы я играл с ним в саду. Я называл его Мики, поил молоком и кормил салатными листьями, бегал с ним наперегонки, играл. Так продолжалось несколько недель. Мики подрос, и я к нему привязался. Но однажды он исчез. Я искал его, плакал, но нигде не находил. За ужином, когда мы ели второе, я горько посетовал, что Мики исчез. Родители переглянулись, и я вдруг понял, что мы едим Мики. Я выскочил из-за стола, помчался в туалет, и меня вывернуло наизнанку.

Нет ничего особенного в этой истории, произошедшей в провинциальном городе, окруженном деревнями (годы спустя мне случалось есть с Ариэлем Шароном на его ферме великолепное жаркое из баранины, и бесстрашный полководец признался мне, что купил ее у мясника, поскольку он не способен съесть овцу, которая выросла у него на ферме), но она, по крайней мере, дает представление о том, что родители защищали меня, пытаясь оградить от жизненных проблем. Ни разу они не подняли на меня руку, и я мог разговаривать за столом, сколько моей душе угодно, что в те времена, в том консервативном обществе, было совершенно неприемлемо, – и я не помню, чтобы мне хоть в чем-нибудь отказали, если я просил. Я был единственным и избалованным ребенком, и по сей день верю, что баловать детей не вредно (если только не заменять этим любовь). Когда мне

потребовалось проявить жесткость – а случилось это в очень ранней молодости, – я продемонстрировал незаурядные способности к выживанию.

Центром моей жизни, по крайней мере духовным, был отец. У меня было полно друзей, но терпеливый отец, который всегда готов уделить тебе время, был редким сокровищем. Он умел быть непреклонным в случае необходимости, но у него всегда находилось время посидеть со мной, сходить на футбол, проверить уроки, вместе почитать газету и объяснить мне, где находится Босния и Герцеговина или кто такие фараоны. По ночам мы, бывало, пробирались на кухню: там он готовил себе кёрёзёт (творог с анчоусной пастой, паприкой и рубленым луком) и рассказывал, взволнованно жестикулируя, о героической победе чемпионки по фехтованию Илоны Элек, венгерской еврейки, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде в Берлине на глазах у разочарованного Гитлера (Элек в финале победила немецкую еврейку Хелен Майер – одну из двух евреев, которым было разрешено принимать участие в Олимпиаде в составе команды Германии).

Читать я умел уже в четыре года, и читал без устали. Читал «Пиноккио», «Барона Мюнхгаузена», «Неряху Петера», «Макса и Морица», «Питера Пэна», «Сердце» Эдмондо де Амичиса, «Последнего из могикан» Фенимора Купера. Я по сей день не могу забыть, как плакал, когда умер маленький Немечек в конце «Мальчишек с улицы Пала» Ференца Мольнара. Моей любимой книгой была «Старина Шаттерхенд». Я тогда не мог себе представить, что написавший ее Карл Май был жуликом, который никогда в жизни не бывал на Диком Западе, о котором писал. Много позже, уже будучи политиком, каждый раз, когда я хотел закончить спор, то стучал кулаком по столу и произносил: «Я сказал!» Моя властность производила на всех впечатление, и никому в голову не приходило, что я всего лишь цитировал вождя Виннету, главного героя любимой книги.

Когда я проглотил все детские книжки, которые только мог заполучить, отец разрешил мне покопаться в его личной библиотеке, а там я наткнулся на серию детективов Эдгара Уоллеса – все они были в одинаковых синих обложках, – где главными действующими лицами были детектив Джон Г. Ридер и суровый сержант-инспектор Эльк. Я восторгался ими. Уоллес сегодня почти забыт, но он был талантливым и потрясающе плодовитым писателем, создавшим 175 романов, 24 пьесы и успевшим опубликовать сотни статей в разных газетах. Иногда четверть всех проданных в Британии книг приходилась на долю его произведений.

Это увлечение чтением, видимо, не прошло даром, поскольку уже через несколько дней школьных занятий я понял, что учеба дается мне легче, чем другим детям. К счастью, это не вызывало у них никакой неприязни. Видимо, всем было понятно, что сын умника Белы не может быть дураком. Хотя в спорте мои успехи были скромными, в классе я стал одним из лидеров. По еврейским меркам, физически я был развит неплохо, но на одноклассников-сербов всегда смотрел снизу вверх. (Сербы и хорваты чуть ли не самые высокие в мире – немудрено, что из этих краев вышло столько известных баскетболистов.)

Тогда мне казалось, что детство у меня было обыкновенное. Только спустя годы я понял, насколько сильно на нас повлияло то, что мы оказались меж двух враждующих культур. В Нови-Саде венгры отказывались учить сербский, сербы – венгерский, и только мы – евреи – одинаково легко говорили на обоих языках. Учитель физкультуры был венгр, естественные науки вели сербы, директор – еврей. Дома говорили на венгерском, но лидером молодежного движения «Сокол», к которому я принадлежал, был принц Петер, наследник сербского престола, и на каждом собрании мы пели национальный гимн Сербии «Боже правде».

Я всегда терпеть не мог известного лингвиста Ноама Хомски (на мой взгляд, яркий пример еврея-антисемита!), но вынужден согласиться с его теорией «универсальной грамматики», согласно которой язык и познание влияют друг на друга. Со временем моя раздвоенность усугубилась. Во втором классе один из учителей вернул мне работу, на которой написал одно слово: «Определись!» Незаметно для себя всю правую страницу я написал кириллицей (на сербском), а левую – латиницей (на венгерском).

В шесть-семь лет политика стала проникать в мою жизнь. Я читал все газеты, слушал радио, участвовал во всех застольных тревожных беседах. Над Европой нависла угроза войны. В декабре 1937 года, в день моего шестилетия, отец опубликовал в своей газете стихотворение, написанное в мою честь. Оно называется «Мой маленький сын». Вот его последние строки:

Запомни, сын: никогда
не подставляй им спину под плеть,
потому что грош цена что слезам, что смеху:
если враг пошел на тебя, сожми кулаки и крепись,
пока не сквитаешься с ним, удар за удар,
без оглядки на правила и законы,
просто –
не подставляй им спину под плеть!

За всю свою политическую карьеру я почти не пользовался дурацкими привилегиями, которых так жаждет большинство политиков. За одним исключением: в 2003 году, будучи заместителем премьер-министра Израиля, я посетил Нови-Сад. Впервые в жизни потребовал – и получил (!) – лимузин и официальный эскорт – двух полицейских мотоциклистов с мигающими фарами и ревущими сиренами. Я хотел, чтобы все видели и знали, что я не подставил свою спину.

Глава 6

Однажды солнечным воскресным утром, в мою бытность корреспондентом газеты «Маарив» в Лондоне, я отправился в Гайд-парк, установил там плакат, на котором большими буквами написал «Тахометрическая экономика», забрался на табурет и произнес пламенную речь о преимуществах экономической системы, которой отродясь не существовало. Как и следовало ожидать, вокруг меня собрались любопытные, и некоторые принялись спорить со мной. Я продолжал попытки убедить их в преимуществах моей революционной теории и через некоторое время оказался окруженным несколькими десятками британцев и туристов, которые оживленно спорили между собой, обсуждая достоинства и недостатки тахометрической экономики. До сих пор у меня дома хранятся несколько снимков этого исторического представления на табурете.

Для меня не было открытием, что если говорить страстно, вдохновенно и убедительно, то можно заставить людей поверить в существование того, чего никогда не было, – я понял это в первый день оккупации Нови-Сада. Всю свою жизнь я не переставал цитировать известную речь немецкого пастора Мартина Нимёллера.

«Когда они пришли за коммунистами, я молчал – я же не коммунист.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями. Я молчал – ведь я не член профсоюза.

Я молчал и когда они пришли за евреями – я не еврей.

А когда они пришли за мной, уже не было никого, кто мог бы протестовать».

Но в семействе Лампель было кому кричать – тому, от кого этого меньше всего можно было ожидать.

В апреле 1941 года Венгрия вторглась в Югославию (с помощью немцев) и оккупировала ее. Когда мы с отцом вернулись в Нови-Сад из пылающего Белграда, фашисты уже начали вешать на улицах коммунистов. Евреи, закрывшись по домам, спрашивали себя, не они ли будут следующими.

Через несколько дней после нашего возвращения отца схватили, чтобы отправить в трудовой лагерь. Было понятно, что это всего лишь промежуточный этап по дороге на виселицу или в поезд на восток. Мы не знали, куда эти поезда отправляются, но знали, что оттуда никто не возвращается. Мама решила действовать. Похоже, она раньше всех нас поняла, что в новой жизни, которую нам навязали, есть только один принцип: выжить

любой ценой.

Хрупкая красавица, которая всегда опиралась на мужское плечо, внезапно исчезла. Облачившись в свои лучшие наряды, прихватив венгерский паспорт, она отправилась в полицейский участок, утопая в снегу на высоченных каблуках. Взяв на вооружение манеры будапештской аристократки (это далось ей легко), она сразу же принялась на всех кричать, намекая по ходу дела на свои столичные связи с сильными мира сего (которых у нее никогда не было). Полицейские посмотрели на разгневанную женщину с серо-зелеными глазами и решили, что им не нужны неприятности – иди знай, с кем она действительно водит дружбу. Отца отпустили.

У нас с матерью было немало размолвок. Дети склонны абсолютизировать понятия нравственности, а я не мог не замечать ее сексапильности, ее интриг и поклонников. За всю жизнь у нее было три мужа (и все трое умерли, будучи женатыми на ней) – каждый из них богаче и угодливее предыдущего. В иудаизме таких женщин называют «иша катланит» – роковая женщина, слишком опасная, чтобы жениться на ней. Ей нравились все трое, но любила она всю свою жизнь только одного человека – меня. Как только возникала угроза ее детенышу, она выпускала свои ухоженные когти сиамской кошки. Несколько раз она спасла обе наши жизни. И это связало нас с ней так крепко, что словами не описать.

В день вторжения мои поиски собственного «я» закончились в одночасье. Моя школа закрылась. Из нашего большого дома нас выселили, и мы переехали в квартиру в центре города. Отец лишился адвокатской лицензии. Я уже не был сербом и, конечно же, не был венгром. Люди, знавшие нас годами, не сделали ничего, тихонько наблюдая из-за опущенных жалюзи, как забирают отца. Мне, конечно, известны знаменитые слова Анны Франк (которая была на два года старше меня) – «Несмотря ни на что, я верю, что люди добрые», но я с ней не согласен. В большинстве своем люди не добры, они равнодушны. Тот, кто не имеет к ним непосредственного отношения, не представляет для них никакого интереса. С того момента я стал полноценным евреем.

После освобождения отца у нас (впервые в жизни) появились материальные проблемы. Когда отца лишили адвокатской лицензии, он попытался заняться недвижимостью. Но клиенты не появлялись. Евреи-то как раз хотели избавиться от своих квартир и сбежать в Америку. Но венгры поняли, что лучше просто дождаться, когда их выгонят, и тогда получить все бесплатно. Потихоньку мы начали продавать все, что у нас было. Стали

исчезать картины и мебель. Мамина шкатулка с драгоценностями опустошалась с головокружительной скоростью. После нескольких таких недель отец сказал, что, пожалуй, нам стоит перебраться в Будапешт, где еще не было военной власти. Мама обрадовалась – ее родители жили в Будапеште, и она скучала и тревожилась об их судьбе.

Мы приехали в Будапешт в конце мая и поселились в двух комнатах в маленьком пансионе в седьмом квартале, недалеко от бабушки и дедушки. Мама записала меня в четвертый класс обычной школы на улице Сенра. Вдруг я стал изучать все предметы – историю, географию, право – с другой стороны (ведь это были два враждующих столетиями народа), по совершенно иным учебникам, гораздо более высокого уровня, и, что было самым сложным, – еще и на другом языке. Я прилагал неимоверные усилия – десятилетний мальчик, который понял, что родители в беде, и решил (как дети иногда берут на себя ответственность), что его задача – принести им радость. На какой-то момент я стал Немечеком, маленьким рядовым из «Мальчишек с улицы Пала», который решает спасти весь квартал.

В конце года я получил табель. Я посмотрел на него, и у меня сильнее забилось сердце. В Венгрии самой высокой оценкой была пятерка. У меня была одна четверка, а все остальные – пятерки. Я бежал домой счастливый. Мой дед, человек высокий и холодный (оглядываясь назад, могу сказать, что идиот), взял у меня ведомость и, едва глянув на нее, сказал: «В нашей семье четверок домой не приносят». Я ему этого не простил до конца своих дней.

Я допускаю, что это, пожалуй, не самый занимательный период моей жизни. Годы нашего становления значительны скорее для нас самих. Хотя история этих лет важна еще и тем, что показывает нам, как мы оказались в ловушке. Пока мы смирно ожидаем, что мир наконец образумится, он снова и снова удивляет нас своим нежеланием это делать.

В 2007 году, вступив в должность председателя «Яд ва-Шем», я произнес речь на горе Герцель в День Катастрофы. Завершил я ее следующими словами:

– Шесть миллионов мертвых обращаются к нам из земли. «Мы не думали, – говорят они, – что такое возможно. Мы полагались на людскую доброту. Верили, что есть предел безумию. Когда мы очнулись от этих иллюзий, было уже слишком поздно. Не повторите наш путь!» Просвещенный мир призывает нас пойти на компромисс, рискуя ради перспективы мира. И мы спрашиваем просвещенный мир, мы спрашиваем в День Катастрофы всех тех, кто нас поучает: а что вы сделаете, если мы, положившись на вас, пойдем на риск и жертвы и что-то не сработает? Что вы тогда

сделаете? Попросите прощения? Скажете: «Мы ошиблись»? Пошлете бинты? Откроете детские дома для осиротевших детей? Помолитесь за упокой наших душ?

Самое интересное, что за той историей с четверкой последовали месяцы которые, против всякой логики, были одними из самых счастливых в моей жизни.

Закончив учебный год, я должен был поступить в среднюю школу, только ни одна из них не согласилась принять к себе еврея. И это вынужденное безделье открыло передо мной великолепную перспективу – в течение полутора лет я из смышленого мальчика превратился в образованного человека. Отец, почти безработный, решил, что он будет моим домашним учителем. Все мое будущее было предопределено и заложено в этот период. Это был класс одного ученика и одного учителя, наполненный теплом и любовью. Обычно мы занимались три-четыре часа утром, а после обеда были домашние задания и заучивание наизусть.

Я учил почти все без разбору. Литературу, математику, физику, английский, историю и даже латынь. Отец где-то достал учебную программу гимназии. Но ее мы придерживались только в общих чертах. У отца была страсть к познанию, которая завела нас в такие дебри, куда не ступал ни один мой ровесник: французские импрессионисты и морские сражения адмирала Нельсона, поэмы еврейско-венгерского поэта Миклоша Радноти и короткие рассказы О'Генри, сплетни о ссорах Микеланджело и Леонардо во Флоренции времен Ренессанса, монолог Ромео перед смертью, страстно произнесенный посреди маленькой гостиной:

…Ну, взгляните
В последний раз, глаза мои! Вы, руки,
В последний раз объятия раскройте!
А вы, мои уста, врата дыханья, –
Священным поцелуем закрепите
Союз бессрочный со скупою смертью!

Сообщения, которые поступали от родственников из Нови-Сада, доставляли все меньше радости. В 1942 году венгерская армия провела первую операцию, которая длилась двое суток: они оцепили город и несколько соседних деревень, собрали несколько тысяч евреев, выпустили их на покрывшийся льдом Дунай и стреляли по людям, заранее сделав во льду отверстия. После войны евреи еще долгие годы помнили об этом и отказывались плавать летом в Дунае. Многие из наших знакомых были убиты. Когда мы вернулись, все тихо говорили про «красный снег».

Прошло много лет, прежде чем я понял, о чем шла речь.

Летом сорок третьего закончилась наша венгерская виза, и нам пришлось вернуться в Нови-Сад. Мы жили в маленькой квартирке, отец снова занялся продажей недвижимости и моей подготовкой к выпускным экзаменам, к которым – мы оба это прекрасно знали – меня никто не допустит. И мы боялись. Все время боялись. Я не в состоянии объяснить это тем, кто родился после войны. Когда ты беспрерывно пребываешь в страхе – как мы с лета 1943-го до января 1945-го, – это становится твоей сутью, частью твоей ДНК. Вокруг бомбежки, и отлавливают евреев на улице, голод уже считает свои первые жертвы, а мы сидим дома и делаем вид, что все в порядке. А мне уже одиннадцать, и мне страшно, двенадцать и страшно, двенадцать с половиной… и по-прежнему страшно.

Понятно ли я объясняю? Наверное, невозможно объяснить, что если боишься так долго, то это превращается в привычку, становится частью твоей жизни во всех ее мелочах. Однажды я был на премьере театра «Габима», действие пьесы происходило в Польше во время немецкой оккупации. Одна из актрис, которая играла подпольщицу, скрывавшуюся в подвале и слушавшую Би-би-си, должна была выключать радио, когда к ним спускались немцы. И я вспомнил, как мы с отцом по ночам рисковали арестом и смертью, только чтобы услышать голос Черчилля, такой теплый и спокойный в этом свихнувшемся мире. Этот голос обещал: «Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем биться в горах. Мы никогда не сдадимся».

После спектакля я подошел к актрисе и сказал: «Выключить радиоприемник – это еще не все, ты должна и настройку сбить, потому что, когда появлялись полицейские, даже если приемник был выключен, они проверяли, на какую волну он был настроен». С тех пор на каждом спектакле она меняла настройку точно так, как когда-то это делал я.

А тогда мама уехала в Будапешт, и 19 марта 1944 года мы с папой заснули рядом в большой кровати. А ровно в шесть утра все наши страхи сбылись.

Глава 7

Когда отца арестовали, ему было сорок четыре (он был моложе, чем мой сын Яир сейчас), маме было тридцать семь (она была моложе моей дочери Мерав), мне – двенадцать с половиной (я был младше, чем мой второй внук Лиор).

Я отсутствовал на бар-мицве Лиора. Когда он проснулся в тот день, его уже ждала висевшая на стуле белая отглаженная рубашка: дети в его возрасте не выбирают себе одежду сами. В синагогу его, конечно, отвезли: в этом возрасте дети еще не водят машину. Подаренные деньги ему положили на сберегательный счет, которым он сможет воспользоваться после службы в армии, потому что в этом возрасте детям еще не положено распоряжаться деньгами. Был ли я таким в этом возрасте? Не думаю. Когда отца увел гестаповец, я понял, что мне придется покинуть Нови-Сад, и стал собираться в дорогу. В небольшой рюкзачок я положил то, что, на мой взгляд, было самым необходимым: свою коллекцию мраморных шариков.

На этом и закончились мои сборы. Медленно наступило серое утро. Бабушка Эрмина плакала на кухне, и мы ждали, не понимая, чего, собственно, ждем. Кто-то из соседей спустился и сказал: «Немцы вошли в город. Мы все в руках немцев». Только тогда я начал понимать, что произошло. Евреев собирали на железнодорожной станции и отправляли в Аушвиц. Отец пробыл там почти год, затем был переведен в Маутхаузен, где и умер. Мама застряла в Будапеште, потому что евреям сразу запретили ездить на поездах. Только через два-три дня мне удалось дозвониться до нее и рассказать, что произошло. «Оставайся там, – сказала она, – за тобой приедут».

В маме вновь проснулось то, чего мы в ней никогда не подозревали. Она бросилась к соседям дедушки и бабушки – христианам, у которых был сын – мой ровесник; его звали Петер, я всегда играл с ним, когда приезжал на летние каникулы в Будапешт. Она в два счета выпросила у них его удостоверение члена молодежной организации «Лаванда», отклеила его фотографию и аккуратно вставила мою. Не прошло и трех дней с момента оккупации, как мама научилась подделывать документы.

Затем она отправилась на поиски дяди Альфреда.

До того времени я имел о нем очень смутное представление, почерпнутое в основном из перешептываний взрослых, которые замолкали при моем появлении. Дядя Альфред в семье был белой вороной. Уже в двадцать лет он взбунтовался против родителей, крестился и из всех имеющихся в мире занятий выбрал

профессию детектива в криминальной полиции Будапешта. Это был полный лысый человек, абсолютно непохожий на еврея, чья жизнь проходила среди проституток, воров, аферистов и карманников. Семья отреклась от него, и моя мама не видела его с детства.

Но в тот день она постучалась в дверь его квартиры. «Я – Като, твоя племянница, – сказала она, как только он открыл, – мой сын остался один в Нови-Саде, и ты обязан привезти его». Жена дяди Альфреда закатила истерику: «Не смей! Тридцать лет они нас знать не желали! А сейчас, когда им понадобилось, она явилась как ни в чем не бывало! Пусть катится отсюда!»

В артистизме нервных припадков с мамой никто не мог сравниться. Она быстрыми шагами пересекла комнату, вышла на балкон и забралась на узкие железные перила. «Если ты не поедешь за Томи, – закричала она, – я спрыгну». Дядя Альфред окинул взглядом обеих женщин, подошел к вешалке, снял с нее черную кожаную шляпу, надел ее, взял у мамы фальшивый документ и, не сказав ни слова, вышел из дома.

Через пару дней на пороге нашей квартиры в Нови-Саде появился человек в черной кожаной шляпе, которого я в жизни не видел. «Я мамин дядя, – сказал он, – сейчас ты одеваешься, прощаешься с бабушкой, и мы едем».

Я посмотрел на бабушку, а она на меня. «Поезжай с ним, Томичка, – сказала она, – я справлюсь». Эта красивая старая женщина с аккуратно собранными в пучок седыми волосами знала, что скоро умрет. Тысячи раз я воспроизводил в памяти это мгновение, и каждый раз мне становилось ясно – бабушка понимала то, что тогда мне было не дано понять. Вскоре после того, как я ушел с дядей Альфредом, немцы отправили ее в Аушвиц, и там она умерла, так и не узнав, что я выжил.

Это было странное путешествие. Дядя в кожаном пальто, как у гангстеров, с торчащим из-под ремня пистолетом, и я за ним, с шариками в рюкзачке. Он подошел к трамвайной остановке и остановился. «Евреям нельзя ездить на трамвае», – тихо произнес я. Он достал из кармана фальшивое удостоверение и протянул мне. «Выучи наизусть, – сказал он, не поворачиваясь ко мне, – ты Петер Наковский из Будапешта, и мы не евреи».

Мы добрались до железнодорожного вокзала. Это впечатляющее длинное двухэтажное здание из дерева и металла с каменным фасадом в церковном стиле буквально кишело гражданскими, нагруженными разнообразным скарбом, и солдатами с чемоданами и оружием. Венгерские полицейские рыскали повсюду, проверяли документы и искали евреев, пытавшихся бежать. Дядя Альфред был встревожен. Он понимал,

что мое поддельное свидетельство не выдержит тщательной проверки. Мы поднялись на второй этаж. Там находилась большая столовая, с балкона которой были видны платформы. Полицейские крутились и там. В центре столовой сидела группа офицеров в серо-зеленой форме, со сверкающими орлами на фуражках. «Ты говоришь по-немецки?» – тихо спросил меня дядя Альфред. Я ответил, что да.

Он схватил меня за руку и прикинулся пьяным. Шатаясь и что-то бормоча, он подвел меня к столу, где сидели офицеры, сел рядом с ними, опустил голову на руки и сделал вид, что заснул. Немцев это позабавило. «Твой папаша выпил лишку», – сказал мне один из них. Я не помню, что ответил. Помню, что разговаривал, помню, что смеялись, помню, что они благоволили ко мне – эти люди в точно такой же форме, как тот, который забрал у меня отца. Я помню, что все это продолжалось около получаса. Самые длинные полчаса в моей жизни.

Но дядин трюк сработал. Пока мы сидели рядом с немцами, венгерские полицейские не осмеливались приблизиться к нам. Когда внизу загудел поезд, он внезапно вскочил, схватил меня за руку, пробормотал в виде прощания что-то невнятное и быстро потащил меня к вагону. Раздался еще один гудок, и мы отправились в сторону Будапешта.

Но кошмар не закончился.

Как только мы отъехали, я сразу заснул, измученный напряжением. Дядя Альфред начал успокаиваться. Внезапно дверь купе открылась, и вошли два венгерских полицейских. Один из них, подняв палец к губам, велел дяде не будить меня. Они посмотрели документы, и что-то вызвало у них подозрение. Они тихонько подошли ко мне и, схватив за плечи и светя в лицо фонариком, стали трясти меня и кричать по-венгерски: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Говори, как тебя зовут?»

Позже дядя рассказал мне, что он никогда – за всю свою бытность детективом – не испытывал такого страха. Его жизнь зависела от того, что скажет ребенок, которого он раньше никогда не видел и который впервые увидел свое новое имя в поддельном документе всего два часа назад. Он был абсолютно уверен, что как только я проснусь, то инстинктивно произнесу свое настоящее имя.

Но сработал другой инстинкт, первобытный. Я открыл глаза и произнес: «Петер. Петер Наковский». Полицейские еще раз взглянули на нас с подозрением и ушли.

Глава 8

Водной из своих радиопередач я цитировал рассказ Грэма Грина о мальчике, который учится в частной школе в Англии. Во время урока мальчика вызывают к директору. По мрачному выражению лица директора он понимает, что случилось несчастье. Директор начинает говорить трагичным тоном: «Я вынужден с прискорбием сообщить…» – и вдруг, не в силах сдержаться, закатывается в приступе истерического смеха, с которым невозможно совладать. Бедный мальчик стоит перед ним, совершенно растерянный.

Справившись с собой, директор сообщает ученику, что его отец скончался. Ошеломленный ребенок спрашивает: «Как это случилось?» Директор пытается ответить, но вновь давится от хохота. «Твой отец, – говорит он сквозь слезы смеха, – гулял по Неаполю, когда на его голову с какого-то балкона свалилась свинья и убила его».

Эта история, похожая на неаполитанскую версию «Свидания в Самарре», позабавила меня, поскольку показалась знакомой. В 1944 году Смерть и я встречались столько раз, что, если бы она предстала передо мной в виде падающей с балкона свиньи, меня удивило бы только то, что в Будапеште еще остались несъеденные свиньи.

Дядя Альфред оставил меня у бабушки с дедушкой и исчез навсегда. Через несколько лет после войны я случайно узнал, что он бедствует, и стал посылать ему деньги и продукты, и делал это до самой его смерти, но больше мы никогда не виделись.

Может показаться абсурдным, но мы чувствовали себя счастливыми, когда нам разрешили остаться в нашем доме. Вскоре к нам присоединились дядя Ирвин с тетей Эдит и еще две семьи.

К тому времени оберштурмбанфюреру Адольфу Эйхману удалось собрать в гетто десятки тысяч людей, но мы пока просочились сквозь щели немецкой бюрократии. Даже для такого талантливого дьявола, как Эйхман, евреев было слишком много. Накануне войны Будапешт был одним из самых больших еврейских городов Европы, и в 1944 году в нем все еще жили четверть миллиона евреев.

Квартира, в которой мы ютились, находилась на третьем этаже большого шестиэтажного здания, в форме подковы, номер 5 по улице Геза. Там было четыре комнаты, а посреди гостиной стоял большой рояль. Мы с мамой спали в маленькой комнатке за кухней, где когда-то жила прислуга, остальные разместились на

матрасах на полу. Все взрослые пребывали в страхе, были очень нервными и постоянно ссорились, и я проводил большую часть времени внизу, во дворике. Мне все время хотелось спросить маму, вернется ли папа, но я не решался.

Через несколько дней я на бегу налетел за домом на венгра-надзирателя. Он толкнул меня и прохрипел: «Смотри у меня, грязный еврейчик!» Тот факт, что я ему ответил, по-моему доказывает, что мой длинный язык родился задолго до моей работы на израильском телевидении. Я посмотрел на него и сказал: «Вы? Человек в форме?! Как вам не стыдно такое говорить?!» Ответом была увесистая пощечина. Упав навзничь, я вдруг заметил наверху на лестнице дядю Ирвина. Он был напуган и не произнес ни слова. После этого случая я перенес свою бурную деятельность в сад напротив дома. Там я проводил время, играя с соседскими детьми в шарики. Они, видно, были ловчее меня, потому что через несколько недель я уже проиграл всю свою шикарную коллекцию, лишившись последнего своего имущества из Нови-Сада.

Эта пощечина была не единственным случаем насилия, с которым я столкнулся. По сей день поражаюсь, откуда у венгров, голодных, грязных и запуганных, почти как мы, были время и энергия без устали преследовать евреев, даже в конце войны. Чем дальше, тем становилось хуже. С наступлением весны нам сократили, черт знает в который раз, продовольственные нормы, и запретили выходить из дома до 11 часов – чтобы мы не успели попасть в магазины. Однажды я вышел купить еды и решил пробраться в начало очереди, где евреям находиться было запрещено, да на беду забыл про свою желтую нашивку. Стоявшие в очереди, конечно же, заметили ее, набросились на меня и сильно избили. Я убежал оттуда в слезах, весь в крови, но домой не вернулся – я отправился в другой магазин, попытать счастья в новой очереди.

В то время нужно было опасаться всех, и евреев тоже. Мы привыкли считать, что жертвы всегда чисты и безгрешны, но человеческая природа устроена иначе. Голодные и злые способны на все. Мне следовало остерегаться больше других, поскольку кроме всех прочих бед я был еще и нелегалом, находился в Будапеште по фальшивым документам. Однажды, когда я поссорился с сыном соседей с верхнего этажа, мальчиком по имени Андреас, он вышел на балкон и закричал на всю улицу: «Томи Лампель – нелегал, Томи Лампель – нелегал!» К счастью, родители втащили его в квартиру прежде, чем кто-либо успел это услышать. Я не знаю, понял ли он когда-нибудь, что едва не вынес мне смертный приговор только потому, что я выиграл у

него в прыжках по ступенькам.

До войны родители Андреаса были богаты, у них было много друзей-аристократов. Один из них, барон Липанский, будучи, видимо, человеком очень порядочным, продолжал навещать их и приносить продукты. В один из таких визитов он заметил мою маму. Несмотря на голод и нищету, она оставалась красавицей и по-прежнему исключительно хорошо одевалась. Не прошло и нескольких дней, как между ними завязался роман. Они тщательно скрывали его, боясь нацистов и меня. Хотя в ужасной тесноте, в которой мы жили, трудно было что-либо скрыть, и я довольно быстро сообразил, что происходит. Я был сбит с толку и зол – ведь мы до сих пор не знали, что с отцом, хотя и догадывались. Но ничего не сказал. Просто мама была далека от образа верной Пенелопы, о которой я читал в иллюстрированной детской книжке «Одиссей», – той, что покорно ожидает возвращения мужа и отказывает всем поклонникам.

Барон Липанский дал маме паспорт своей первой жены, баронессы Ясласки, которая скончалась за несколько лет до того, и мама положила его в сумку вместе со своими настоящими документами – на всякий случай. Несколько недель спустя мы договорились встретиться с тетей на трамвайной остановке напротив полиции и вместе отправиться на поиски еды. Подходя туда, мы еще успели увидеть, как люди из «Скрещенных стрел» (венгерской нацистской партии) схватили тетю и потащили ее в участок. Мы стояли и не знали, что делать. Трамваи приезжали и уезжали, а мы стояли и ждали неизвестно чего.

В конце концов один из охранников заметил на улице странную пару, подошел к нам и объявил, что мы задержаны. Он привел нас в участок. Там лежали десятки евреев: избитые, истекающие кровью, покалеченные, со сломанными руками и ногами, раненые, сваленные у стенки, вздрагивающие и замирающие навсегда. Меня охватил ужас, мама же сохраняла самообладание. Она достала из сумки паспорт баронессы Ясласки, предъявила его охраннику и надменным тоном приказала ему немедленно вызвать начальника участка.

Явился начальник и окинул нас подозрительным взглядом. Мама выпрямилась во весь рост и стала кричать на него (я никогда в жизни больше не слышал, чтобы она так кричала). «Я – баронесса Ясласки! – гремел ее голос до самого Дуная. – Какое право вы имеете меня задерживать?! Как только я выйду отсюда, немедленно позвоню немецкому послу, доктору Готтлибу фон Ягову, своему близкому другу, и подам на всех вас жалобу! Так вы поступаете с венгерской баронессой?! Поместили в загон со всеми этими евреями! Да как вы смеете!» Начальник глубоко вздохнул и

мгновенно принял решение. Он бросился на охранника, который нас задержал, и заорал: «Идиот! Простите, баронесса! Болван! Простите, ваша светлость! Ты куда смотрел?! Ты не видел, что перед тобой ее светлость? Я тебе покажу!» Затем он низко поклонился, поцеловал маме руку и проводил нас на улицу, продолжая кланяться и бормотать бесконечные извинения.

За давностью лет Катастрофа превратилась в глазах большинства людей в одну историю, где евреи идут по снегу навстречу смерти, постепенно пропадая из виду, пока не исчезают все за воротами концлагерей. Однако для большинства переживших ее Катастрофа выглядела иначе. Она тянулась годами. Люди влюблялись, женились, переезжали с места на место, обустраивались, растили детей, голодали, воровали еду, обманывали, подделывали документы, притворялись и выживали (если выживали) не однажды, а раз за разом, и каждый раз – благодаря какому-то новому чуду.

Мы склонны забывать об этом, но в те же годы происходила большая разборка под названием Вторая мировая война. Тем, кто спасся от немцев, венгров и осведомителей, грозила еще одна опасность – союзники. В то время англичане и американцы уже начали атаковать город с воздуха. Они бомбили ночь за ночью, сотни самолетов сбрасывали бомбы одновременно, и дом дрожал как осиновый лист, а подвал, в котором мы укрывались, наполнялся угольной пылью от сотрясений. Я снова жил зигзаговой жизнью.

Однажды утром мы вышли на улицу из нашего дома номер 5 и увидели, что третьего и седьмого домов нет, а под развалинами погребены сотни людей. Мы стояли, и нас трясло от ужаса и холода. Не было ни пожарных, ни «скорой помощи», похоже, никому до этого не было дела. Вдруг в конце улицы появился почтальон. Он шел как обычно, с большой сумкой через плечо. Подойдя к дому номер 3, он достал пачку конвертов, уставился на развалины, на минуту задумался и вернул их в сумку. Потом подошел к нашему дому номер 5, разложил письма по ящикам и, сопровождаемый нашими взглядами, продолжил свой путь, – то раскладывая конверты, то возвращая их в сумку, когда некому было вручать.

Тогда-то и началась моя журналистская карьера. Скитаясь по квартире, я наткнулся на портативную пишущую машинку дяди Ирвина. Я стоял и долго смотрел на черные клавиши. Пишущая машинка напоминала мне об отце.

У меня появилась оригинальная идея: издавать домашнюю газету. Я собрал всех детей в доме и сделал их

корреспондентами. Дети со всех этажей несли мне самые последние сплетни, я печатал их на дядиной машинке с копиркой, а вечером разносил газету по квартирам. Это была местная желтая пресса, которая не брезговала никакими «сенсациями». «Дядя Шварц угрожал побить тетю Грин с 5-го этажа», – гласил один из заголовков, или: «Семья Гросс перестала разговаривать с семьей Фойерштейн». Иногда появлялись более серьезные сообщения от главного – двенадцатилетнего – редактора: «Еще один жилец дома покончил с собой от отчаяния. Он уже третий по счету, прыгнувший с крыши за последний месяц».

Много лет спустя, в 1986 году, мы с Яиром приехали в Будапешт.

Я вернулся в город впервые после войны и, конечно же, не на шутку волновался. В Венгрии все еще правили коммунисты. Через два дня после приезда мы обратили внимание на забавное явление: каждый раз, как только я начинал говорить, все пугались. Венгры смотрели на меня и видели во мне влиятельного субъекта, толстого, одетого в пальто фирмы Brooks Brothers из верблюжьей шерсти и ботинки фирмы Bally, за которым следовал крепкий молодой человек, похожий на телохранителя. Вначале они думали, что я турист, но, как только я открывал рот, понимали, что я свой, местный. Естественно, все приходили к одному и тому же ошибочному выводу – что я крупный партийный чиновник.

Должен признаться, я наслаждался этим. У меня длинный исторический и личный счет к венграм, и как только я понял, в чем дело, то начал гонять их в хвост и в гриву бесконечными распоряжениями, порой дурацкими.

Это была возможность хоть немного отомстить им за то зло, что они нам причинили, и заодно продемонстрировать Яиру, что представляет собой жизнь в тоталитарном государстве, где не принято задавать вопросы.

Однажды утром я повел его в наш дом по улице Геза, 5. Мы поднялись на третий этаж и постучали в дверь. Нам открыл мужчина лет сорока. За ним стояли жена и двое детей. «Всем выйти!» – приказал я, ничего не объясняя. Все четверо беспрекословно вышли и испуганно ждали на площадке, пока мы рассматривали квартиру. Все было знакомо и незнакомо. Конечно, поменялась мебель и бытовые мелочи, создающие уют: обои, ковры, картины на стенах. «Единственное, что осталось прежним, – сказал я Яиру, – это запах». Лишь вернувшись в отель, я понял: это был запах страха.

Глава 9

Как-то, в бытность мою министром юстиции, я выступал в Академии правосудия в Будапеште. В таких случаях от почетного гостя ожидают, что он побубнит в течение некоторого времени что-то вежливое и освободит трибуну. Вместо этого я, появившись у микрофона, произнес: «Добрый вечер! Очень рад, что нахожусь здесь сегодня, потому что в последний раз, когда я стоял напротив этого здания, на нем висел плакат с надписью: ЕВРЕЯМ И СОБАКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». В зале воцарилась тяжелая тишина, и по лицам хозяев я понял, что они уже пожалели, что пригласили меня. Ну и пусть. Кто-то должен был им это высказать!

В сентябре 1944 года нам на какой-то момент показалось, что конец кошмара близок. Русские уже окружали Будапешт, а венгерские власти пытались договориться с ними и потребовали у Эйхмана покинуть город. Только вот наши надежды как пришли, так и ушли. «15 октября, – сообщал я в своей маленькой газете, – власть захватила пронацистская партия “Скрещенные стрелы”». А через два дня вернулся Эйхман. Он был полон энергии, как никогда. 20 октября пятьдесят тысяч мужчин забрали рыть траншеи, чтобы остановить советскую армию. 23 октября увели уже женщин и детей. Тех из них, кто чудом выжил после работы на морозе, в снегу и под непрерывной бомбежкой русских, немцы отправили на уничтожение.

В нашем доме скрывался от такой мобилизации Альфред Плайс, пожилой мужчина. Никто его не знал, и никто, кроме меня, с ним не разговаривал. «Я не понимаю, что им от меня нужно», – повторял он каждый раз с отчаянием. Плайсу, как и многим ему подобным, еврейство было чуждо. Он был предан Венгрии и даже в такой момент отказывался расстаться с предметом своей гордости – золотой нагрудной медалью за участие в Первой мировой войне. Я не отвечал ему. Я тоже не знал, что им нужно от меня.

За несколько недель Эйхман собрал всех евреев в два больших гетто. Первое располагалось за синагогой на улице Дохани (она и по сей день остается второй в мире по величине после синагоги Бейт-Эммануэль в Нью-Йорке) – там находился еврейский квартал Будапешта: тесный район с извилистыми улочками, кошерными ресторанами, магазинчиками иудаики и религиозной литературы. Нацисты обнесли квартал забором, вывели нескольких остававшихся там неевреев и втиснули в квартал семьдесят тысяч евреев.

Кстати, основатель политического сионизма Теодор Герцль вырос в соседнем с синагогой на Дохани доме. В 50-х, еще до того, как коммунистическая Венгрия разорвала отношения с Израилем, после долгих уговоров израильскому послу удалось добиться разрешения повесить медную табличку с надписью: «В этом доме родился провозвестник еврейского государства». Посла звали Давид Гилади, он был моим тестем, отцом Шулы. Скончался он через год после меня, в возрасте 101 года.

Нас перевели в другое гетто – интернациональное. Это было не совсем гетто, а квартал из пятидесяти трех больших домов, над каждым из которых развевался флаг нейтральной страны: Швеции, Испании, Португалии или Швейцарии. Мы попали в шведский дом, по улице Пожони, 14. Нас, триста человек, согнали в подвал. Над нами люди спали в коридорах, на лестничных площадках, во всех углах. Мужчины исчезли, оставались только старики, женщины и дети. Время от времени нацисты приходили и уводили евреев на «марш смерти». Их заставляли делать проруби во льду на Дунае, затем расстреливали и сталкивали тела в воду. Никто из уходивших не возвращался. Все мы были измучены голодом, страхом, вшами, а еще – непрерывным стоном раненых лошадей. Росло число самоубийств.

Не знаю почему, но самое яркое мое воспоминание о той поре – это не трупы, которые мы складывали один на другой на крыше, чтобы заморозить, и даже не безвкусный талый снег, которым утоляли жажду, а то, что я постоянно испытывал потребность сходить по малой нужде. Туалетов было мало, из-за непрерывных залпов русских «катюш» мы боялись выходить и все время стояли в очереди. Десятки людей стоят один за другим, переминаясь с ноги на ногу, с искаженными лицами. Я не верю в существование рая, но в аду я побывал. Туалета там нет.

Однажды утром забрали маму. Они пришли и увели всех женщин, которые еще могли ходить. Нам дали только несколько минут на прощание, и это было очень похоже на расставание с отцом. Она не произнесла никаких слов, просто обняла, поцеловала меня и ушла, а я остался совершенно один. Ни отца, ни бабушки, ни мамы, один под обстрелом в доме среди сотен голодных людей, для которых я был их самой последней проблемой. Но к вечеру мама неожиданно вернулась. Она сказала: «Он нас спас».

И незачем было объяснять. Она не сказала, кто это «он». В те дни в Будапеште был только один «он» – Рауль Валленберг.

На углу улицы Валленберг и улицы Барзель в Тель-Авиве стоит бронзовый памятник Раулю Валленбергу. Изваял его венгерский скульптор Имре Варга. Высота памятника – два метра,

весит он больше тонны. Высокий худой человек стоит меж двух каменных глыб с протянутой вперед рукой, как бы останавливая что-то. Я знаю этот памятник очень хорошо, поскольку это я задумал привезти его, я его оплатил, и я убедил городские власти установить его. Это то немногое, что я смог сделать, и это бесконечно мало.

Раулю Валленбергу было тогда всего 36 лет. Он был из семьи скучающих шведских аристократов-бизнесменов (а кто в Швеции не скучает?), изучал архитектуру, волочился за красивыми женщинами и был совладельцем успешной торговой фирмы. Ничто из его прошлого не предвещало, что он станет одним из праведников мира – пожалуй, одним из величайших. Для меня он был и остался доказательством того, что совесть человеческая – точно так же, как и подлость, – проявляется в самых неожиданных местах.

С самого начала Катастрофы Валленберг решил в одиночку спасать венгерских евреев. Будучи первым секретарем посольства Швеции, он выдал шведские охранные свидетельства десяткам тысяч евреев. Среди них оказались и мы с мамой. Наши документы были абсолютной липой, но Валленберг позаботился о том, чтобы скрепить их печатями, украсить кучей впечатляющих подписей, витиеватыми знаками и шикарной обложкой. На нацистов это производило впечатление.

Но Валленберг делал больше. Он противостоял всей нацистской чиновничьей верхушке, спорил, убеждал, подкупал и спасал все больше и больше евреев. Он угрожал Герхарду Шмидхуберу, командующему немецкими войсками в Венгрии, что лично позаботится о том, чтобы его судили как военного преступника, если он не сорвет планов Эйхмана по уничтожению остатков гетто. Чаще всего это срабатывало. В других случаях – как с мамой – он не довольствовался разговорами, а выходил на улицы, чтобы спасти еще хоть несколько тех, кого называл «мои евреи».

Когда мама немного пришла в себя, она рассказала, как все произошло.

Немцы собрали очень много женщин, целая колонна из сотен молодых женщин шла по пустым улицам. Одна из них осмелилась спросить: «Куда мы идем?» и получила странный ответ: «В Вену».

Валленбергу стало известно об этой процессии. Он появился внезапно – в длинном черном автомобиле с дипломатическим номером – вышел и заявил полковнику, сопровождавшему процессию: «Я посол Швеции, здесь находятся женщины с моими паспортами, я требую освободить их». Наверное, сегодня трудно

объяснить, насколько это было нереально: зима, снег, конец войны, резня на улицах, бомбежки, полная анархия, и вдруг из черного автомобиля возникает элегантно одетый шведский дипломат и предъявляет требования командующему колонной. Если бы нацист застрелил Валленберга прямо на месте, об этом не узнала бы ни одна живая душа, и никто не смог бы вмешаться.

Но все произошло иначе. Нацист вздрогнул, что-то пробормотал и приказал освободить всех, у кого был шведский паспорт. Валленберг – ангел-хранитель – проводил их обратно в гетто и удалился.

Судьба самого Валленберга была не менее трагичной. Когда русские вошли в Будапешт, военная разведка схватила его и доставила «на допрос» в Москву. Его навсегда поглотила система советского ГУЛАГа. Многие заключенные утверждали, что видели его в пятидесятые и даже позже, но российские власти утверждали, что он умер в 1947-м, и по сей день не изменили этой версии.

Угрожали нам не только нацисты. Иногда появлялись бандиты-венгры, которые пытались отобрать у нас то малое, что оставалось. У входа всегда дежурили двое-трое наших с дубинками, чтобы остановить их. Мы – дети – были «бегунами». Нашей задачей было вовремя сообщить о появлении грабителей, чтобы взрослые закрыли двери, или бежать на улицу, чтобы успеть в очередь за продуктами. Меня назначили старшим одной из групп бегунов. 25 декабря дети из моей группы попросили у меня разрешения выйти на улицу, чтобы добыть елку. «Почему вдруг елку?» – спросил я. Они удивленно посмотрели на меня. «Рождество, – сказали они, – сегодня Рождество».

До меня не сразу дошло: это были дети христиан, живших с нами, – людей, которые крестились ради карьеры или потому что женились на христианках. Но это им не помогло. Расистские законы нацистов не признавали их, и они отправились в гетто вместе с нами.

«В этом доме, – сказал я, – не будет никакой елки и никакого Рождества».

Много лет спустя я выступал в кибуце на севере страны. В конце ко мне подошла женщина и спросила: «Ты, случайно, не Томи Лампель?» – «Да, – сказал я, – я Томи Лампель». И она заплакала. «Почему ты плачешь?» – спросил я. Она ответила: «Потому что ты не дал мне поставить елку».

Через два дня после Рождества, 27 декабря, у меня была бармицва. Мы сидели в подвале, в тесноте, среди сотен людей.

Мама открыла свою сумку и достала флакончик духов «Шанель» – она сохранила его с лучших времен. «Мой мальчик, – сказала она, – сегодня у тебя бар-мицва. Я не могу испечь торт, ты не можешь позвать своих друзей, и с нами не будет отца… Но пахнуть на твоей бар-мицве будет хорошо!» – с этими словами она разбила флакон об пол, и нас на мгновение (только на мгновение!) окутал прекрасный аромат. Я, конечно, светский еврей, но бар-мицва у меня была, по-моему, самая еврейская, какую только можно себе представить.

Глава 10

Они пришли за нами на рассвете. Венгры, члены партии «Скрещенные стрелы», в сопровождении нескольких эсэсовцев. Окружили дом, нас всех согнали во двор и повели по заснеженным улицам опустевшего города. Люди молча провожали нас взглядами, но никто не сказал ни слова.

Нас погнали по улице Пожони в сторону моста Маргит, и мы поняли, что они ведут нас на берег Дуная, чтобы расстрелять на льду. Эти «марши смерти» уходили каждый день, и только в одну сторону.

Когда мы дошли до моста, над нами появился советский самолет-разведчик. На какой-то момент колонна замерла в беспорядке. Охранники-нацисты заметались в поисках укрытия, стреляя вверх из своих шмайсеров. Мы с мамой находились недалеко от уличного туалета. Мама толкнула меня внутрь. «Сделай вид, что писаешь», – сказала она.

Я стоял там, застыв от страха и холода, и не мог. Когда тебе тринадцать и ты охвачен ужасом, ты не можешь писать. Тем временем советский самолет улетел, и колонна пошла дальше. Никто не заметил, что мы с мамой остались в зеленом туалете. Полчаса спустя никого из шедших в той колонне не было в живых.

Это ключевой момент в моей жизни. Он оказал на мое формирование большее влияние, чем любое другое происшествие, чем все уголки на земле, в которых я побывал, чем все, что я совершил, и все люди, которых я повстречал. И не потому, что я выжил, – у каждого выжившего было свое собственное чудо. А потому, что мне некуда было идти.

В Австралии, от Сиднея до Перта, были бесконечные километры засушливой земли, по которой не ступала нога человека. На Среднем Западе в Америке раскинулись бескрайние открытые просторы с множеством рек и обилием диких животных. Уже освободили Париж, Рим и даже Нови-Сад. А мне некуда было идти. В целом мире не было места, куда мог бы пойти тринадцатилетний еврейский мальчик, которого все хотят убить.

И мы вернулись в гетто.

Много лет спустя мы гуляли с Яиром по Будапешту и оказались у моста Маргит. Мы непринужденно болтали, как вдруг я остановился как вкопанный, и меня затрясло. Яир не сразу понял, на что я показываю, но это был он – маленький уличный туалет стоял на том же месте. Мы, два взрослых человека,

обнимались, и плакали, и гладили зеленые стены туалета, спасшего мне жизнь, а венгры обходили нас стороной, принимая за сумасшедших.

– Мальчик мой, – сказал я, когда успокоился, – вот здесь, на этом месте, я стал сионистом, еще не осознавая этого. В Израиле полно проблем, у нас всегда будут к нему претензии и требования. Но главное, для чего было создано Государство Израиль: чтобы любому еврейскому ребенку всегда было куда пойти. В этом и заключается идея сионизма.

Надеюсь, что Яир понял. И уверен, что он никогда не забудет.

Прежде чем вернуться в гетто, мы сделали еще одну неудачную попытку поверить в людей. Мама сняла с нас желтые звезды и сказала: «Когда мы жили на улице Геза, там были два привратника, оба дружили с нами. Кто-нибудь из них наверняка укроет нас до прихода русских». Мы пришли к одному из них, словаку по имени Элидиод. Но, увидев нас, он запаниковал и запричитал, чтобы мы убирались, потому что он не собирается рисковать своей семьей. Второй привратник, Винцер, отреагировал примерно так же, – правда, дал немного еды, прежде чем захлопнул перед нами дверь. Порой мы забываем, что, хотя и устроили Катастрофу негодяи, именно трусы допустили ее.

Минут через сорок мы вернулись в дом на улице Пожони, но он был пуст. Всех евреев уже забрали. В этом было что-то сюрреалистическое: приговоренные опоздали на казнь, и оказалось, что палачи уже ушли. Мы слонялись из угла в угол, слыша только собственные шаги да еще раскатистый грохот русской тяжелой артиллерии и «катюш». Я сказал маме: «В четвертом доме на улице Татра, недалеко от почты, живет мой одноклассник Лаци Анчел. Они евреи, но все еще живут в своей квартире. Давай попробуем».

Мама была слишком измучена, чтобы спорить, и пошла со мной. Анчел открыл дверь с опаской, но, увидев меня, обрадовался и впустил нас. Поначалу мы очень испугались: дом был полон венгров-полицейских. Выяснилось, что это было целое отделение – двадцать пять полицейских из местного участка, которые договорились с жильцами дома, что будут оберегать их от нацистов, а когда придут русские, тогда евреи защитят их. Они переоделись в гражданское и, проходя мимо нас по коридору, опускали глаза. Это было комично: сколько раз я спасался, выдавая себя за венгра, с тех пор как покинул Нови-Сад, а теперь вдруг венгры решили прикинуться евреями.

На ночлег мы постелили себе на кухне пустые мешки. Еды не было, единственным источником воды служил еле капающий

кран в подвале, у которого мы выстаивали долгие часы, чтобы наполнить водой кружки и кастрюли. Бои вокруг нас не прекращались, становясь все ближе и ближе. «Превратить Будапешт в советское кладбище, в дунайский Сталинград! – командовал Гитлер в декабрьской телеграмме. – Я приказываю сражаться за каждый дом».

Мы знали, что русские обычно появлялись из-под земли: под Будапештом есть целый подземный город. Дома соединены между собой как паутиной системой тоннелей и пещер под узкими улочками города. Венгры, опасаясь вторжения, подготовили город к длительной траншейной войне. Они разрушили стены между подвалами домов, вместо них построили тонкие перегородки, которые рушились от удара кулаком. Поэтому, когда бомбежка разрушала один дом, можно было под землей выбраться наружу через соседний. Русские же, будучи виртуозами подземных боев, прекрасно использовали эту извилистую систему и имели привычку вдруг возникать из-под земли, как кроты, в своей форме цвета хаки, стрелять во все стороны и снова исчезать.

Однажды рано утром я проснулся, услышав голоса. Разбудил маму: «Кто-то говорит по-сербски». Она лежала неподвижно, прислушиваясь. «Это не сербский, – наконец сказала она, – это русский». (Русский и сербский – родственные славянские языки и звучат довольно похоже.) И спросила меня: «Ты сможешь поговорить с ними?» Я сказал, что знаю несколько слов. Она встала, нашла кусок красно-бело-синей ткани (цветов югославского флага), обмотала ею мою руку и послала меня попросить у них еды. Я спустился в подвал и увидел там нескольких солдат, покрытых пылью и копотью. Они посмотрели на меня с удивлением и подозрением. Я показал на повязку на руке. «Югославия, – сказал я, – маршал Тито, югославский». Они растаяли, показывая в улыбке металлические зубы. Маршал Тито, командующий антифашистским Сопротивлением в Сербии, был самым известным партизаном Европы. Один из солдат порылся в сумке и дал мне буханку хлеба и несколько луковиц. Я поел впервые за несколько дней. Это был самый вкусный лук в моей жизни.

Нас освободили. Моя война закончилась.

Глава 11

До Катастрофы в Венгрии проживали 825 тысяч евреев. Меньше чем за год были уничтожены около 596 тысяч. Всего за восемь недель в Аушвиц были отправлены почти полмиллиона венгерских евреев. Мы склонны обвинять в этом только немцев, но в одиночку они бы не справились. Есть народы, которые активно сопротивлялись уничтожению евреев, как датчане или болгары, а есть те, которые пальцем не пошевелили, как бельгийцы. Венгры же помогали машине уничтожения, зачастую с энтузиазмом. До последнего момента пронацистское правительство Ференца Салаши продолжало отправлять евреев в лагеря десятками тысяч. Я люблю культуру Венгрии, ее поэзию и ее колбасы, но венгров не прощу никогда.

Между прочим, после войны Салаши бежал в Германию, был там схвачен полковником – американским евреем, возвращен в Будапешт и повешен. Имя полковника было – не поверите! – Гиммлер.

Покинув Лаци и его семью, мы отправились по единственному знакомому нам в Будапеште адресу – улица Геза, 5, – и нашли там бабушку, дедушку и тетю Эдит. Дяди Ирвина не было.

Дядя Ирвин был высоким, красивым, очень тихим человеком. Всю жизнь он проработал в швейцарской фирме, которая устанавливала трансформаторы на радиостанциях. Два месяца назад его забрали, и с одной из колонн смерти он попал в концлагерь Дахау. Там он чудом дожил до конца апреля, когда пришли 45-я и 47-я американские дивизии. Потрясенные видом ходячих скелетов солдаты отдали освобожденным узникам все запасы пищи, которые у них были. Но не сообразили предупредить несчастных, что долго голодавший организм может не справиться с большим количеством пищи. Дядя Ирвин ел, ел и ел, пока не умер.

Наверное, это прозвучит странно, но то, что случилось с телом дяди Ирвина, произошло с моей душой. Сначала мне было трудно привыкнуть к тому, что я выжил. Долгие месяцы днем и ночью я пребывал в постоянном страхе перед смертью. И вдруг в одночасье тебе сообщают, что нацистов больше нет, нет войны и никто не собирается тебя убивать. Помню это странное, неестественное чувство – когда просыпаешься утром, и тебе больше никто не угрожает.

Осознанию этого не способствовало и то, что неподалеку, в нескольких сотнях метров от нас, война шла полным ходом. На

противоположном берегу реки, в Буде – старинной части города, – до последнего сопротивлялись части Отто Скорцени, одного из фаворитов Гитлера. Русские стояли на нашем берегу, немцы – на противоположном, а все мосты были разрушены. Можно было спокойно пройтись по улице, параллельной Дунаю, зайти в магазин, остановиться поболтать с приятелем, но, свернув за угол, надо было бежать бегом, потому что немцы стреляли по всему, что двигалось.

Как только прошел один страх, на смену ему пришел другой. Надеюсь, это не будет выглядеть как неблагодарность, но мы боялись русских. Они были лучшими воинами на свете, но при этом мерзавцами. Первые слова, которые все венгры запомнили по-русски, были: «давай часы». Некоторые из них носили по нескольку часов на каждой руке.

Еще они насиловали женщин. Мы знали это до того, как они пришли. Это было у них что-то вроде национального спорта. Молва гласила, что, когда русские брали город, их командиры давали солдатам один день на то, чтобы пить водку и делать все, что заблагорассудится. Как правило, они насиловали. Мама была страшно напугана. Она загримировалась под сморщенную старуху, насобирала по всему дому тряпок и, запихав их под одежду, превратилась в горбатую и бесформенную бабку. Красавица мама, которая даже в самые тяжелые дни в гетто умудрялась выглядеть и держаться как Грета Гарбо, превратилась в уродину.

Однажды к нам постучался русский солдат. Мы ужасно испугались, а мама сказала: «Не отвечайте, не отвечайте», но он продолжал колотить в дверь и кричать, и тогда бабушка не выдержала и открыла ему. Нам потребовалась секунда, чтобы узнать его под формой и толстым слоем грязи – это оказался дядя Лаци. Мой любимый дядя, живой и энергичный, младший брат отца. Он помнил, что Като жила в Будапеште, и отправился искать ее.

Когда мы успокоились и перестали рыдать, он рассказал, что с ним произошло: когда немцы оккупировали Нови-Сад, дядя, как и все молодые мужчины, был отправлен в трудовой лагерь. Через несколько недель он сбежал, пересек линию фронта и примкнул к русским, у которых стал переводчиком. С боями они двигались к Будапешту, где дядя твердо намеревался отыскать выживших родственников. «Теперь, когда я вас нашел, – сказал он, – закончилась и моя война».

Признаюсь, в глубине души я был по-детски разочарован. Мой дядя-охотник, с автоматом через плечо, представлялся мне тем самым человеком, которому подобает сейчас мчаться в

Берлин во главе Красной армии и громить Гитлера. А он вместо этого пошел мыться и вышел из душа одетый в старый дедушкин костюм и шляпу дяди Ирвина. «Уже несколько недель, как маршал Тито занял Югославию, – сказал он, – пришло время возвращаться домой».

Мама взглянула на своих родителей. Они были старые и больные, мы понимали, что жить им осталось немного. «Возьми с собой Томи, – сказала она ему, – я останусь на какое-то время».

Под утро мы с дядей Лаци отправились на будапештский вокзал.

Там не было ни билетеров, ни охранников, но грузовые поезда приходили и отправлялись. Мы забрались в один из вагонов, где люди сидели на полу, как бродяги в американских фильмах. Так начался наш путь домой. Вместе с нами в вагоне ехали люди, которые выглядели так же, как мы, – голодными и измотанными. Мы разговаривали с ними. Почти все они были евреями, выжившими в концлагерях, и ехали в надежде найти уцелевших близких.

Когда поезд остановился в Суботице, дядя решил выйти. В этом городе жили друзья отца со времен его работы журналистом, и дядя решил одолжить у них немного денег. Потом мы пошли погулять по центру. Народу было много, в кафе сидели мужчины и женщины, большая часть зданий не была разрушена, и даже русские солдаты вели себя вежливо по отношению к сербам – ведь те были лидерами антифашистского Сопротивления. Контраст с голодным и разрушенным Будапештом был разительным. Пока я наблюдал и раздумывал, дядя Лаци заказал нам в ресторане завтрак. Передо мной появилось меню. Меню! Я не видел меню уже два года.

Я ел, пока у меня не разболелось все тело. Одна корзинка с булочками закончилась, вместо нее появилась другая, я ел яйца и сосиски, торты и пирожные, густо намазывая на все масло, проглотил сметану и заказал еще мясной паштет с солеными огурцами и голубцы. Думаю, я не упустил в том меню ни одного блюда. Голод мой, наверное, начался в Будапеште, но мой прославленный аппетит родился в Суботице.

Через час мы сидели в поезде – на сей раз пассажирском, – направлявшемся в Нови-Сад. Рядом с нами в вагоне была пара пожилых евреев – господин и госпожа Буксенбаум. У Буксенбаума до войны была фабрика по производству бакелита (предшественника пластмассы) и большая вилла (которую, они полагали, им немедленно вернут). Они предложили нам поехать с ними и разместиться у них в гостевой комнате, пока не найдем себе жилье. Мы сошли с поезда и отправились на виллу.

Буксенбаум с гордостью открыл высокую деревянную дверь, и первое, что мы увидели, – двое русских солдат – он и она – занимались сексом на ковре. Взрослые застыли в смущении, а я не мог отвести глаз. Солдат натянул штаны и повернулся к нам. «Этот дом конфискован, – сказал он спокойно, – уходите отсюда».

Такова же была и судьба нашего дома. Коммунисты заняли его и объявили городской собственностью. Мы не могли это оспаривать. Мы были беженцами без документов, дядя – дезертиром, а они – новой властью. В этот дом я вернулся снова только один раз в своей жизни. В конце семидесятых я посетил Нови-Сад с группой израильских журналистов. Мы остановились около нашего дома, и я показал им место, где вырос. Из дома вышла старая женщина в черном и подошла к нам.

– Откуда вы? – спросила она.

– Из Израиля, – ответил я.

– Из Израиля? Может, вы знаете израильского журналиста по имени Томи Лампель? – спросила она.

Я ответил:

– Это я.

Она схватила меня за руки.

– Подожди секунду, – сказала она, скрылась в доме и быстро вернулась с небольшим свертком фотографий. – Тридцать лет я хранила их на случай, если ты вернешься. Это единственные семейные фотографии моего детства, которые сохранились.

В итоге незанятым оказался только дом дяди Лаци, в него мы и вернулись. В доме неподалеку от нас жил человек по имени Руди Гутман, который через несколько месяцев стал моим отчимом.

Мама приехала в Нови-Сад через пару месяцев, тихая и задумчивая, красивая как никогда. Как-то вечером мы сидели в теплой кухне, взрослые разговаривали. Кто-то упомянул об отце. Я насторожился. «Ну вы же знаете, – сказал дядя Лаци, – что он умер». Я выбежал из комнаты. Я до сих пор не знаю, забыл ли он, что я сидел вместе с ними, или таким образом хотел сказать мне то, что все уже знали.

Мне нечем было заняться той весной. Я болтался по улицам, искал одноклассников, наблюдал за непрерывным потоком беженцев, прибывающих в город. Все они были похожи: тихие, худые, двигались как во сне. Однажды вечером дядя Лаци вернулся домой и сказал, что портной Хиршенхаузер сошел с ума. Мама спросила, что он имеет в виду. «Он был в каком-то Аушвице, – сказал дядя, – и говорит, что там сожгли всех евреев». Мама не ответила, только недоверчиво пожала плечами.

Сегодня люди не понимают, как мы могли этого не знать.

Дело, очевидно, в том, что человеческому мозгу присуще во всем искать логику, а здесь не было никакой логики. Уничтожение евреев началось, когда Германия находилась на пике своего могущества, но в 1944-м всем уже было ясно, что Третий рейх проигрывает войну. В Берлине мобилизовали пятнадцатилетних детей и посылали рыть траншеи; немецкая промышленность развалилась; воздушные бомбежки превратили в руины такие города, как Гамбург, Майнц, Дрезден; союзники рвались к бункеру Гитлера с востока и запада… И в то же время до последнего момента десятки тысяч немцев вместе с сотнями тысяч сотрудничавших с ними местных жителей пытались уничтожить как можно больше евреев. Они ненавидели нас настолько, что предпочли продолжать уничтожение даже тогда, когда уже понимали, что это ускоряет приближение их конца.

Я – человек образованный и, как все просвещенные люди, пытался понять своих врагов. Я читал «Майн кампф» и «Протоколы сионских мудрецов», антисемитские письма Вольтера и даже речи Карла Люгера, мэра Вены и основоположника современного антисемитизма, но по-прежнему не в состоянии понять: чем я им мешал? Почему была построена эта адская машина, призванная меня убить? Что они от этого выиграли? Что они могли бы от этого выиграть, если бы их не остановили?

Глава 12

Однажды в рубрике писем еженедельника британских интеллектуалов «Нью стейтсмен» я прочитал такое письмо: «Я поэт и пишу свою биографию. Если у кого-нибудь есть представление о том, чем я занимался последние три года, прошу сообщить мне об этом». И указал имя и адрес.

Я прожил в Нови-Саде после войны три с половиной года. Если кто-нибудь знает, что я делал в это время, – пожалуйста, сообщите мне.

Это был мой город и уже не мой. То, что внешне он не изменился, только усугубляло ощущение опустошенности. Бронзовый памятник Светозару Милетичу, борцу за свободу Сербии XIX века, по-прежнему возвышался на Ратушной площади. Милетич стоял, протянув руку к толпе, как будто собирался держать речь, только вот толпы там уже не было. Восемьдесят тысяч евреев жили в Югославии до войны. А после нее осталось меньше десяти тысяч. Повсюду царило безмолвие.

Мне снова пришлось играть чужую роль, роль какого-то другого подростка, но на сей раз этим подростком был я сам. Кроме сошедшего с ума Хиршенхаузера никто не говорил о том, что произошло «там». Я не знал, что стало с отцом, куда пропала бабушка. Семнадцать моих одноклассников были убиты, но никто не удосужился рассказать мне, как это произошло. Я не прошел ни одной из пяти «стадий принятия утраты», описанных психиатром Кюблер-Росс – ни отрицания, ни гнева, ни попытки заключить сделку, ни депрессии, ни смирения. А все, что со мной произошло, я держал в себе, как содержимое банки с консервами из кладовки нашего старого дома (которого уже тоже не было). Теперь я должен был изображать нормального подростка из нормального мира – двигаться как подросток, разговаривать как подросток, думать как подросток… и надеяться, что придет день, когда я и подросток, которого я изображаю, снова станут одной личностью.

От мамы особой помощи ожидать не приходилось. Война закончилась, и она вернулась в мир своих привычек, как будто надела с приходом зимы привычную шубку: апатичная, замкнутая в себе, она кружила головы всем мужчинам вокруг. Мы почти не разговаривали, будто опасаясь, что, если вспомнить прошлое, фашисты могут появиться снова.

Надеюсь, читатель не подумает, что я злюсь на нее. По-моему, это слишком патетично со стороны взрослых людей – продолжать сердиться на своих родителей за пережитую в детстве

несправедливость, настоящую или вымышленную. Начиная с определенного возраста каждый человек ответствен за свою судьбу, а иногда и виновен в ней. «В дни бури и натиска», как называл это Гёте, мама спасала меня не раз, и я был благодарен ей до конца своей жизни. Но это отняло у нее столько сил, что я и представить себе не мог. Она сама нуждалась в поддержке.

Через три месяца после ее возвращения в нашей жизни появился Руди.

Руди Гутман, полный и улыбчивый, смуглый как креол, был известен своим добрым нравом. Красавцем он не был (мама считала, что красивым людям свойственна самовлюбленность), но умел радоваться обществу друзей и всегда старался, чтобы они были рядом. Одно из моих первых воспоминаний о нем – как поздним вечером он сидит со своей старушкой-мамой Маргарет, склонив к ней голову, и они часами рассказывают друг другу пикантные анекдоты и заливаются смехом.

Их с мамой скоропалительный брак был обычным явлением в те дни – тогда целое поколение старалось поскорее склеить свои разбитые жизни. Руди был из тех же слоев общества, что и Лампели, и до войны, подобно моему отцу, был женат на еврейке из Будапешта. Когда фашисты оккупировали Югославию, его отправили в лагерь, откуда он бежал и присоединился к партизанам Тито. Его жена бежала к своим родителям вместе с Маргарет и их маленьким сыном Петером. В 1943 году она скончалась от опухоли мозга. Страшную зиму сорок четвертого Петер пережил, прячась у бабушки и дедушки, а по окончании войны вернулся в Нови-Сад. Ему было семь лет. В мои четырнадцать у меня вдруг появился маленький брат. Не могу сказать, что был рад этому.

Петер был тихим мальчиком, избалованным тремя женщинами, которые его воспитывали. Он почти сразу привязался ко мне. Идя с друзьями на реку, я оборачивался и обнаруживал, что он тащится за мной; играя в футбол, замечал его около футбольного поля; после уроков он ждал меня у выхода из школы.

Мне стыдно признаться, но меня это просто бесило. Меня никто не спрашивал, хочу я брата или нет, да еще такого, который решил превратиться в мою тень! В моей жизни было и так достаточно теней. Мама вызвала меня на разговор. Возможно, самый серьезный разговор, который мы когда-либо с ней вели. «Теперь это твоя семья, – решительно сказала она, – и, хочешь ты этого или нет, ты будешь вести себя с Петером как следует».

Наверное, я был несправедлив к обоим – и к отцу, и к сыну. Руди мне нравился, и я не мог не замечать его попыток

сблизиться со мной. Но я оставался верен отцу. Ведь не прошло еще и двух лет с тех пор, как его забрали, и все это время без конца происходили разнообразные чудеса: люди, считавшиеся погибшими, внезапно возвращались; от других окольными путями приходили письма из сталинской Сибири; с грохотом опустившийся «железный занавес» отгородил нас от Западной Европы, но весь континент был полон беженцев, ищущих дорогу домой (никому не удалось описать это лучше Примо Леви в его книге «Передышка»). Поди знай – вдруг отец сидит сейчас в белом костюме в кафе Цюриха или Рима и ждет возможности послать мне весточку о том, что жив. Внутренний голос подсказывал, что это напрасная надежда, но я продолжал ждать его годами. Как бы ни был Руди добр ко мне, он каждую ночь спал в одной с моей мамой постели, на месте отца. Я никак не мог простить это им обоим.

В отличие от большинства наших знакомых и соседей мы не голодали. До войны Руди был способным предпринимателем и владел небольшой верфью, строившей баржи для перевозки грузов. Вернувшись, он понял, что новая власть скоро национализирует частные предприятия, и взял в компаньоны одного из своих друзей-партизан – местного партийного чиновника. Под прикрытием нового компаньона ему удалось переправить часть своего капитала в Англию, а что еще существеннее – сохранить свое дело. Мы с Петером довольно часто болтались среди длинных, сваленных в кучу досок и желтых подъемных кранов, с помощью которых баржи спускались на воду.

Руди удалось сохранить и свой дом. Это был просторный угловой дом белого цвета на улице Водина-Бригада, с круглым фронтальным балконом, напоминавшим башню замка крестоносцев с прорезями для лучников, и большим внутренним двором. С нами жили и две бабушки Петера, которые большую часть времени носились за ним по всему дому с конфетами и печеньем в руках. Поначалу они пытались было вовлечь в эти игры и меня, но моя отчужденность быстро их успокоила. Мы сосуществовали рядом молча и деликатно, как пассажиры поезда, оказавшиеся ночью в одном вагоне.

Весна пришла и ушла, пролетело лето, и однажды утром мама разбудила меня и сказала, что пришло время идти в школу. Так началось мое второе детство.

Глава 13

Большую часть жизни я провел в условиях шумной, буйной демократии, в которой каждый считает своим долгом вставить свое слово. Иногда, когда бардак в Израиле переходит в анархию, я замечаю, что у людей появляется тоска по «сильной руке», которая освободит их от смятения и сомнений, порожденных свободой. Я никогда не испытывал подобной тоски, я ее глубоко презираю, ибо в четырнадцать лет оказался в центре самого грандиозного социального эксперимента – коммунизма. Годы, прожитые мною при коммунистическом режиме, породили во мне резкий, почти жестокий внутренний протест против тех, кто выступает от имени справедливости. В истории человечества преступлений во имя справедливости совершалось больше, чем во имя чего-либо другого. Идея божественного правосудия послужила маслом для костров инквизиции. Идея расовой справедливости стала маслом для костра фашизма. Идея социальной справедливости разожгла огонь коммунизма. Справедливость – это величайший преступник в истории человечества, потому что во имя справедливости можно совершать все то, чего нельзя во имя милосердия, сострадания, любви к ближнему.

Свой первый урок социальной справедливости я получил через два месяца после начала учебы в гимназии. У нас была учительница-еврейка по имени Кишна, фанатичная коммунистка. Она объясняла нам устройство семьи согласно трудам Фридриха Энгельса, друга и соратника Карла Маркса. Когда мы дошли до полигамии, я вспомнил о том, что читал в одной из увлекательных книжек турецкого писателя Эссад-Бея (который оказался евреем, настоящее имя которого было Лев Нуссимбаум).

Я поднял руку и сказал, что на Востоке существует обратное явление, называемое полиандрией, – когда у одной женщины несколько мужей. Учительница холодно взглянула на меня и сказала строго:

– Энгельс такого не писал.

В тот же день, когда я выходил из школы, ко мне подошел сторож и сказал:

– Тебя вызывает директор Адамович.

Я перепугался. Чего он от меня хочет? Я зашел в кабинет директора. Он усадил меня напротив себя и сказал:

– Послушай, у меня была Кишна, она требует выгнать тебя из школы.

– Почему? Что я такого сделал? – спросил я.

– Она утверждает, что ты настраиваешь одноклассников против учения Маркса и Энгельса.

На мое счастье, директор Адамович был порядочным человеком.

– Я не выгоню тебя, – сказал он, – ведь я знаю, что ты пережил при немцах, но прошу тебя – впредь будь осторожен.

С тех пор я был осторожен. В день рождения маршала Тито я вместе со всеми детьми на школьном дворе пел с притворным восхищением марш, написанный в его честь, – «Белая фиалка», изо всех сил сдерживаясь, чтобы не встретиться взглядом ни с кем из ребят. Мы все понимали, насколько нелепо сравнивать нашего обожаемого вождя – весом сто двадцать килограммов, с тремя подбородками и глазами сонного морского льва – с таким нежным цветком, как белая фиалка. Но если бы мы только посмели расхохотаться, нас немедленно увели бы на допрос в тайную югославскую полицию ОЗНА. Моя знакомая, историк Дженни Лебель, была сослана на два года в трудовой лагерь только потому, что рассказала кому-то анекдот о грозном маршале. Раз коммунисты решили, что Тито – нежный цветочек, значит, так оно и есть.

Конечно, не один я чувствовал эту фальшь. Наш класс разделился на два лагеря – коммунистов и антикоммунистов, – между которыми шла ожесточенная борьба. Старшеклассники по ночам писали на стенах «Да здравствует король!». А полиция являлась поутру, чтобы допросить нас всех и стереть надписи. У нас, ребят помладше, был свой способ оказывать сопротивление режиму: летом мы разгуливали в шортах, подворачивая края и подшивая их грубой ниткой. Не помню точно, в чем, собственно, был протест, но из-за подшитых отворотов мы ощущали себя отчаянными подпольщиками. Однажды коммунисты подкараулили нас после уроков за забором. Они напали на нас, придавили к земле и ножами отрезали отвороты. Бунт был подавлен.

Мама ненавидела коммунистов еще больше, чем я. Она была не в состоянии воспринять идеологию, которая запрещает ей вечером накраситься и пойти со своим новым мужем танцевать под вальс Штрауса «На голубом Дунае». Все, что составляло ее жизнь, – от бриджа до фарфоровых чашечек, из которых она имела обыкновение пить кофе, – превратилось в контрреволюцию, стало признаком «буржуазного мещанства». Бедная мама, она ведь именно этого всю жизнь и хотела – быть буржуазной мещанкой.

Но не идеологическое противостояние с коммунистами занимало в те дни мои мысли. Я был влюблен.

Полагаю, тому, кто помнит меня по телепередачам как человека толстого и малоподвижного, будет трудно поверить, что в те дни я был не только тощим, но и отличным танцором. Наша школа вместе со школой для девочек организовала ансамбль сербских народных танцев, и меня, в совершенстве постигшего тайны двойного шага, приняли в его ряды.

Меца Ковчевич была солисткой, примой нашей танцевальной студии. Маленькая пленительная блондинка, она большую часть времени проводила на репетициях и, несмотря на свою молодость, уже работала танцовщицей в оперном театре Нови-Сада. Я превратился в страстного поклонника оперы. На «Риголетто» я был восемь раз, а на «Волшебной флейте» – двенадцать.

Только все это было напрасно, ибо, как в «Риголетто», на моем пути встал наш распутный герцог Мантуанский – гитарист Жужу. Это был высокий смуглый серб, с длинными, как у цыгана, ресницами, носивший вышитые рубашки, плотно облегавшие его мускулистый торс. Меца, как и все девушки нашего ансамбля, попала под его обаяние. Я сильно страдал от того, что Шекспир назвал «зеленоглазым чудовищем», но поклялся не сдаваться. Два года я страстно ухаживал за Мецей и в конце концов добился поцелуя украдкой. Это все, что мне досталось, но этот поцелуй я хранил в своем сердце очень долго.

Через несколько лет Меца оставила гитариста. Она вышла замуж за сербского футболиста, уехала с ним в Австралию, там развелась и работала в маленькой парикмахерской в Сиднее. В начале шестидесятых в ее мастерскую совершенно случайно зашла одна пожилая еврейка родом из Нови-Сада. «Может, вам известно, – укладывая ее волосы, спросила Меца, – что стало с маленьким Томи Лампелем?» Клиентка как раз знала. «Маленький Томи стал большим журналистом в Лондоне, – ответила она, – я узнаю для тебя его адрес». Через несколько недель я получил от нее письмо. Моя жена Шула, мудрая женщина, посоветовала мне ответить. Мы переписывались несколько лет, и в 1982 году, когда я был в Австралии как генеральный директор израильского телерадиовещания, я пригласил ее пообедать. Она по-прежнему хорошо выглядела, но все же годы отразились на нас обоих. Видимо, есть вещи, которые лучше оставить в воспоминаниях.

На следующий год моя жизнь в гимназии наконец-то пришла в норму. Я был лучшим учеником в классе, но, что было гораздо важнее, я стал вратарем и капитаном сборной моего возраста по футболу. Позднее Югославия превратилась в баскетбольную державу, особенно благодаря Дражену Петровичу, ставшему

звездой НБА, но в те годы нас интересовал только футбол.

Однажды утром учитель вошел в класс в сопровождении худого мальчика. «Знакомьтесь, – сказал он, – это Вуядин Бошков, он переехал сюда на этой неделе, его папа работает на железной дороге, прошу любить и жаловать».

У коммунистов железнодорожники были на особом счету, и все мы старались хорошо относиться к новичку. Через несколько дней Вуядин подошел ко мне на одной из перемен и попросил взять его на наши футбольные тренировки. Я с удовольствием согласился. Вуядин начал играть, я наблюдал за ним со своей позиции вратаря и сразу понял, что он лишен всяких способностей. Я промолчал. На следующий день он снова пришел и играл еще хуже. Я отвел его в сторону – поговорить. «Вуядин, – сказал я, – мы оба прекрасно понимаем, что футболист ты никудышный, может, тебе что-то другое попробовать? У нас есть теннисный корт, я думаю, у тебя получится». Вуядин опустил глаза – он был очень расстроен. «Ты выгоняешь меня из сборной?» – спросил он. Пришлось признаться, что так оно и есть. «Жаль твоего времени, – утешал я его, как умел, – все равно футболиста из тебя не выйдет».

Вуядин Бошков долгие годы был капитаном и непревзойденной звездой местной команды «Воеводина», провел пятьдесят семь матчей за национальную сборную, в составе которой участвовал в Олимпиаде в Хельсинки, играл за итальянскую «Сампдорию», а после ухода из большого спорта стал отличным тренером. В 1979–1982 годах он тренировал легендарный «Реал» и довел сборную Югославии до четвертьфинала на чемпионате Европы 2000 года.

В моей жизни бывали прогнозы и поточнее.

Был ли я счастлив в те дни? Не знаю. Как писал немецкий поэт Рихард Демель, горе переживается в одиночестве, а счастье разделяют с другими. У жизни своя динамика. Главные движущие силы человеческой природы – секс, любовь, честолюбие, жажда познания – в те дни правили мной и, вероятно, были сильнее чувства утраты. Я по-прежнему пытался выяснить, что случилось с отцом, но прикладывал не меньше усилий, чтобы разузнать подробности об игроках английской команды «Астон Вилла», за которую болел. Два раза в неделю я играл в теннис, танцевал, по-рыцарски ухаживал за Мецей и (с гораздо менее рыцарскими намерениями) – за своими соседками-блондинками, без устали читал, и, пока в школе нас учили русскому (отдавая дань суровому соседу-медведю), я с большим трудом освоил еще и английский – по старым журналам «Тайм», которые нашел на верфи Руди.

Что же касается самого главного события тех дней, то оно не относилось к разряду интеллектуальных.

Обычно по воскресеньям я ходил к дяде Лаци на ужин. Его служанка, сербская девушка лет двадцати пяти, имела обыкновение открывать мне дверь только наполовину, что вынуждало меня, входя, прижиматься к ней. Прошло несколько недель, пока до меня дошло. И тогда процедура входа в дом превратилась в самую длинную часть визита к дяде. После нескольких таких недель я дождался, пока дядя отправится спать, и попытался поцеловать ее. Она расхохоталась, схватила меня за руку и потащила в свою маленькую спальню, где я довольно драматично потерял девственность.

Наш роман длился несколько недель, пока дядя однажды не заметил, как я выбираюсь из ее комнаты. Он провел меня в свой кабинет, усадил напротив и с самым серьезным выражением лица (только много лет спустя он признался, что с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться) сказал: «Есть одно важное правило: этим не занимаются с чужой служанкой. Я этого не сделаю с твоей служанкой, а ты – с моей». Я покраснел, извинился и только по пути домой вспомнил, что у меня, собственно, нет служанки.

Глава 14

Известный английский драматург сэр Арнольд Уэскер как-то прислал мне открытку такого содержания:

Дорогой Томи.
В Лондоне говорят, что израильтяне подвергают пыткам палестинских заключенных. Это правда?
Искренне твой,

Арнольд

Я ответил:

Дорогой Арнольд.
Не знаю, правда ли это, но надеюсь, что да.
Всегда твой,

Томи

Уэскер – мудрый еврей, понял, конечно, что я не одобряю пытки заключенных, но возмущен тем, что такой человек, как он, живя в беззаботном Лондоне, позволяет себе критиковать эту раздираемую террором страну, не имея никакого представления о ее реальной жизни.

Больше он не беспокоил меня вопросами.

Как не смог объяснить сэру Арнольду про Израиль, так же я не в состоянии передать человеку, всю жизнь прожившему в демократической стране, ощущение медленного, непрекращающегося удушья, которое испытывает человек в условиях полицейского режима. В Белграде, столице страны, в те дни проходили инсценированные показательные процессы над сторонниками короля в изгнании. Одновременно тайная полиция задерживала – а зачастую и убивала – сторонников Сталина, стремившихся к тому, чтобы Югославия подчинилась Советскому Союзу. Воцарилась тяжелая атмосфера недоверия и всеобщей подозрительности. Свободная пресса исчезла, по ночам ходили военные патрули, кругом были осведомители.

Мы жили очень бедно.

Может показаться странным, но я не осознавал этого. Бедность, как и богатство, – вещь относительная, и все вокруг были бедны не меньше нас. Хотели мы этого или нет, мы претворили коммунистические идеалы в жизнь: у всех нас в равной степени ничего не было.

Я понял, как был беден, только шестьдесят лет спустя, когда мой двоюродный брат Сади (профессор Саадия Туваль) был приглашен в качестве научного сотрудника в Вашингтон. Распаковываясь в новой квартире, он обнаружил в одном из ящиков пачку писем, которые я посылал ему из Нови-Сада в Израиль.

«Дорогой Сади, – писал я ему весной сорок шестого, – может, у тебя случайно найдется пара обуви и носков, которые ты собираешься выбросить. Буду благодарен, если пришлешь их мне. У меня есть только одна пара носков, которые я каждый вечер стираю, а это не всегда удобно, а ботинки прохудились, и я был бы рад иметь еще одну пару обуви, пусть даже ношеной. С трусами положение не лучше».

Вскоре после того, как мне исполнилось шестнадцать, Руди получил на работе подержанный чешский мотоцикл и, когда бывал в настроении, давал мне на нем покататься. Конечно, прав у меня не было, и я прихожу в ужас, вспоминая, сколько раз я был на волосок от смерти или мог убить кого-нибудь. Почти всегда за моей спиной сидел мой лучший друг Саша Ивони, еще один еврей из нашего класса. Мы отправлялись на Дунай и, сидя на берегу, мечтали о той жизни, которую построим когда-нибудь где-нибудь далеко, в Америке или в Англии.

Я вынужден признаться, что об Израиле мы тогда не думали. Несмотря на частые письма Сади, эта страна, кишевшая комарами и враждебными арабами, к которой Би-би-си относилась (уже тогда!) с высокомерным пренебрежением, не производила на меня впечатления. У меня были другие планы. Я хотел вернуться в культурный мир – подобный тому, в котором вырос, бежать из мрачной и серой Югославии, построить новую жизнь: стать юристом или журналистом, который сидит целый день за столом из красного дерева, а по вечерам возвращается в свой просторный дом, где его ждут красавица жена и румяные дети.

Как и все евреи мира, я, конечно, прильнул к радиоприемнику 29 ноября 1947 года, чтобы услышать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского государства, но всем нам верилось в это с трудом. Я не представлял себе, что бледные торговцы и клерки, среди которых я вырос, способны взяться за оружие и сражаться за свою жизнь. Кроме того, было понятно, что никто не выпустит нас из Югославии. Она была наглухо закрыта – и на въезд и на выезд.

Конечно же, я с тревогой следил за сообщениями в югославской прессе о столкновениях между арабами и евреями.

В связи с одним из них я даже опубликовал в школьной газете полное патетики стихотворение в поддержку «наших

братьев в Палестине». Оно было встречено с вежливым недоумением, но осталось без последствий – никто меня за него не преследовал. Югославия, которая воздержалась во время этого голосования, была равнодушна к конфликту на Ближнем Востоке, и мое стихотворение расценили просто как еще одну причуду несколько эксцентричного и слишком много рассуждающего юноши.

Несмотря на это безразличие, а может, и благодаря ему в какой-то момент власти позволили открыть отделение «Ха-Шомер ха-Цаир» – молодежной сионистской организации левого толка – в старом здании общины. Один мой приятель, Барран, тоже еврей, таскал меня на эти мероприятия, но, когда их руководители начали в своих речах воспевать социализм, я поднялся и ушел. С меня хватало этого в школе. (Барран остался и, видимо, внимательно слушал, поскольку, репатриировавшись в Израиль, стал членом кибуца и прожил в нем всю жизнь.)

Весной 1948 года мое неприятие режима достигло апогея. В то время в Югославии строили железную дорогу между двумя богом забытыми городишками. Коммунисты решили превратить укладку дороги в демонстрацию преданности югославской молодежи. «Молодежь – наше будущее!» – кричали плакаты, расклеенные на стенах. «Они строят новую Родину!» А затем нам тихо сообщили, что тот, кто на время летних каникул не подпишется на эту стройку добровольно, не будет допущен к экзаменам на аттестат зрелости.

Однажды утром Саша позвал меня записываться на стройку.

– Не пойду, – ответил я.

– Они же не дадут тебе поступать в университет, – сказал ошарашенный Саша.

– Наплевать! – ответил я. – Это не моя страна, и я не коммунист. Не пойду!

Он пытался уговорить меня, но я стоял на своем. Одним махом я раз и навсегда лишил себя шанса построить будущее на своей старой родине.

Где искать новую? На этот вопрос у меня не было ответа.

Буквально через считаные месяцы мое будущее, как водится, решила за меня судьба, принявшая образ усатого человека с массивным подбородком, которого раньше я никогда не встречал.

Моше Пьяде был «евреем Тито». Пламенный коммунист, он перевел «Капитал» Маркса на сербский, был посажен монархистами в тюрьму, сидел вместе с Тито и стал его лучшим другом. Во время войны они сражались вместе в партизанских отрядах, после разгрома фашистов Моше получил медаль «Герой

югославского народа» и был назначен председателем Федерального собрания. Он был крупным суровым человеком, похожим на андалузского крестьянина, но негласно считался в партии интеллектуалом, и Тито – человек примитивный – полагался на него во всем.

Через три месяца после провозглашения независимости Израиля Пьяде попросил своего старого друга о встрече с глазу на глаз.

– Товарищ Тито, – сказал он, – сколько лет мы воевали вместе, и я никогда тебя ни о чем не просил. Но сегодня прошу.

– Чего ты хочешь? – спросил Тито.

– Дай евреям уехать, – ответил Пьяде.

Через несколько недель мы получили сообщение: нам было разрешено выехать и даже взять с собой тот скудный скарб, который у нас был, но решать мы должны были немедленно: отплывали два судна, и только те, кто отправится на них, смогут уехать. Оставшиеся второго шанса не получат. Были в общине такие, кто предпочел остаться. Молодой Израиль казался им опасным и ненадежным. Нет смысла, считали они, выжить в одной катастрофе, чтобы потом погибнуть в другой.

Мы же не имели никаких сомнений. Нас охватила лихорадка. Мои дяди Лаци и Пали (который тем временем тоже вернулся) все свое имущество обратили на черном рынке в золотые монеты. Потом засели на верфи Руди и смастерили небольшой деревянный контейнер, в потайное отделение которого спрятали деньги (сегодня я понимаю, что это было совершеннейшее безумие – если бы их поймали, то вместо Израиля они оказались бы в тюрьме).

Мама суетливо металась туда-сюда, упаковывая и распаковывая чемоданы; кричала на нас с Петером без всякой видимой причины, распекала веселого Руди по-венгерски, отдавала мне указания по-немецки; то вдруг ударялась в слезы, то строила грандиозные планы на будущее. Я закрылся в своей комнате с ивритско-венгерским словарем, который раздобыл в общине, но очень быстро понял, что никогда не смогу выучить этот невозможный язык.

За четыре дня до отъезда у меня вдруг начались жуткие боли в животе. В больнице меня осмотрел врач, молодой и на вид опытный. «У него вот-вот будет разрыв аппендикса, – заявил он, – нужно срочно оперировать». Со своей койки я наблюдал выражения облегчения и разочарования на лицах окружавших меня родственников. Если меня прооперируют, мы не сможем выехать. Я встал, достал из тумбочки свои вещи и оделся. «Мне лучше, – сказал я. – Пошли отсюда». С тех пор и до самой смерти

аппендикс ни разу не беспокоил меня.

Утром в день отъезда я собрал свою единственную сумку с бельем. На сей раз в ней не было даже коллекции шариков.

В декабре 1948-го мы отправились на поезде в город Бакар, расположенный на берегу Адриатического моря. Местный порт кишел тысячами рабочих – пленных немцев, которых Тито отказывался возвращать на родину, и мы прошли под конвоем весь путь до причала, где нас, раскачиваясь на воде, ожидало такое неуклюжее суденышко, каких я в жизни своей не видывал.

«Кефал» – старое грузовое судно, капитан которого, известный преступник, в прошлом занимался контрабандой оружия из Южной Америки. Израильские власти обратились к нему с просьбой доставить в Израиль полторы тысячи репатриантов, и он за очень солидную сумму согласился переоборудовать свое судно в пассажирское. В то утро он стоял на палубе и, к своему изумлению, обнаружил, что на самом деле число репатриантов приближалось к трем тысячам. Люди все продолжали подниматься на палубу, набивались как сардины в банку, сидели друг у друга на коленях, многие испытывали тошноту еще до того, как судно снялось с якоря. Я не видел такого столпотворения со времен гетто.

Только через несколько лет, учась в университете и читая «Государство» Платона, я узнал, что его друг Кефал утверждал: справедливость состоит в том, чтобы каждому воздавать по заслугам и говорить правду, даже когда она нелицеприятна. Я думаю, что в своей общественной деятельности я довольно успешно реализовал учение человека, чьим именем было названо судно, доставившее меня в Израиль.

Прежде чем мы отправились в путь, представители зарождающегося израильского флота собрали всех молодых людей. Нам объяснили, что в море по-прежнему полно мин, оставшихся со времен войны. Нашей задачей было сидеть на носу корабля и предупреждать моряков, если мы что-то заметим. Я устроился на носу вместе с Сашей, свесив ноги через перила. Моя израильская карьера началась с высматривания мин.

Глава 15

Ручаюсь, что он не потонет, хотя бы корабль был не крепче скорлупы ореха и протекал, как незаткнутая девка». Это у Шекспира в «Буре». Со времени того исторического плавания этот образ всегда вызывал у меня улыбку.

В день отплытия синоптики предупредили, что в Адриатическом море ожидается штормовая погода, однако мы не могли задерживаться. Указ Тито яснее ясного: кто не выедет до полуночи, останется в Югославии. К вечеру мы отправились в путь. Море определенно решило не допустить нашего переезда в Израиль. Три дня кряду огромные валы хлестали наше хлипкое суденышко, чьи уставшие двигатели понапрасну пытались противостоять ветрам. Всех тошнило, люди из последних сил держались за деревянные поручни, дрожали, промокнув до мозга костей. Около меня сидела темноволосая красавица, Тамар Фридман, младше меня на два года. Мы прижались друг к другу, чтобы согреться, и постепенно дрожь от холода перешла в дрожь иного характера. К концу второго дня я был единственным человеком на судне, который желал продолжения шторма. На четвертый день море успокоилось, и я начал общаться с окружающими. Меня потрясло, как мало я знал о других. Впервые в жизни я столкнулся с евреями из Хорватии, Боснии, Черногории, из южной части Югославии, из маленьких городков и деревень, с ортодоксами и традиционными, со смуглыми сефардами из Восточной Сербии и выходцами из местечек, выглядевшими так, как будто в жизни не видели солнца. На нижней палубе люди разговаривали между собой на ломаном немецком, в котором проскальзывали слова на иврите со странным акцентом. Я спросил их, на каком языке они разговаривают.

– На идиш, – ответил один из них.

– Что значит идиш? – спросил я.

Они с подозрением посмотрели на меня и отошли. Как можно было им объяснить, что я не только не знал идиш, но и не подозревал о существовании этого языка?

А другой стороной своего невежества я даже горжусь. Один из молодых людей на носу корабля спросил меня, сефард я или ашкенази. Я сказал, что не знаю. Он удивился:

– Как ты можешь этого не знать?

Я нашел маму и спросил у нее.

– Я не уверена, – сказала она, – кажется, мы ашкенази.

Много лет спустя, во время человеконенавистнической

кампании ультрарелигиозной израильской партии ШАС меня неоднократно упрекали в расизме по отношению к сефардам. Из всей разнообразной клеветы, зачастую просто развлекавшей меня, эта, пожалуй, действительно была обидной. Расизм, как всякое предубеждение, усваивается человеком с детства. Мне было семнадцать, когда я впервые услышал, что евреи бывают разными. Мне уже тогда это казалось глупым, бессмысленным и очень огорчительным. А самое важное – Гитлер научил меня, что у всех евреев одна судьба. В этом вопросе я был и до последних своих дней оставался абсолютным дальтоником.

Через одиннадцать кошмарных дней плавания, 26 декабря 1948 года, на рассвете «Кефал» прибыл в какой-то порт. Солнце взошло из-за незнакомой нам горы (мы еще не знали, что она называется Кармель), лучи его осветили неизвестный нам город (мы еще не знали, что он называется Хайфа), и кто-то водрузил на мачте израильский флаг. Все мы – тысячи измотанных, голодных и немного испуганных людей – посмотрели на него и неуверенно, потому что не знали всех слов, запели «Ха-Тикву», гимн Израиля. Это было наивно и прекрасно – как в рекламном ролике Израильского национального фонда.

Наш корабль издал несколько мучительных звуков и бросил якорь у причала.

Я прибыл в Израиль за день до моего семнадцатилетия.

Как только мы сошли с трапа, нас сразу же выстроили рядами и опрыскали ДДТ. Конечно, я знаю, что есть тысячи людей, особенно выходцев из стран Северной Африки, которые восприняли бы это как травму и унижение. «Вот, эти высокомерные «белые» дезинфицируют нас – как будто мы какие-то вшивые и больные инородцы, а не гордые евреи, отпрыски аристократических общин, достигшие Земли обетованной…» Я их не осуждаю, но у меня были другие ощущения: я почувствовал гордость. Все мои опасения, что я попал в отсталую страну, рассеялись: вот, не успел я ступить на берег, а обо мне уже заботится медицина моей новой родины! Здесь беспокоятся о моей и общей гигиене, как и положено в современном обществе!

Пожилой служащий «Сохнута», говорящий по-немецки, установил на причале столик и начал записывать нас по очереди.

– Имя? – спросил он меня.

– Томислав Лампель.

Он посмотрел на меня в замешательстве:

– Есть у тебя еврейское имя?

Я вспомнил, что отец рассказывал, что при рождении мне дали еще одно имя, в честь деда.

– Йосеф, – сказал я.

Когда регистрация закончилась, всех собрали в одном месте, и перед нами появился один из служащих. «Все, кому от восемнадцати до двадцати пяти лет, – сказал он, – должны записаться в армию. Все, кто старше двадцати пяти или младше семнадцати лет, отправятся в лагерь для репатриантов в Беэр-Яаков».

– А если мне семнадцать? – спросил кто-то.

– Тот, кому семнадцать, может решить сам, идти ему в армию или нет, – последовал ответ.

Решение, как почти все главные решения в моей жизни, было принято в одно мгновение. Внутренний голос подсказывал мне, что именно так я должен начать новую жизнь, иначе никогда не стану настоящим израильтянином. Я повернулся к маме и Руди и сказал:

– Я иду в армию.

С мамой случилась истерика.

– Для чего я спасала тебя от фашистов?! – кричала она. – Для чего я спасала тебя от коммунистов?! Чтобы теперь ты погиб в чужой стране?!

Я обнял ее изо всех сил, хотя она сопротивлялась.

– Я пошел, – сказал я, – приеду проведать вас, как только смогу.

Через несколько часов они уже были на пути в лагерь репатриантов, а я прощался с Тамар, которая уезжала с родителями в Нагарию. Мы встречались еще несколько месяцев, но потом она влюбилась в другого парня. Сорок лет спустя Яир познакомил меня со своей будущей первой женой – потрясающая блондинка протянула мне руку и представилась:

– Меня зовут Тамар Фридман.

К их общему удивлению, я расхохотался.

– Что тут смешного? – спросил Яир.

– Ничего, – сказал я, – просто я кое-что вспомнил.

Оказывается, когда история повторяется, она повторяется в виде блондинки.

Армейские грузовики привезли нас на базу в Бейт-Лид. Наступило время ужина. Войдя в столовую, я замер как громом пораженный: на стене висел портрет Ленина. И для этого я приехал в Израиль? Для этого бежал от коммунистов из Югославии? Чтобы на израильской военной базе увидеть портрет Ленина на стене?

– Не волнуйся, – успокоил меня кто-то, – это не Ленин. Это

президент страны Хаим Вейцман.

Каждый из нас получил алюминиевый котелок, а в нем – первая трапеза в Израиле: вареное яйцо, творог, помидор и еще какие-то незнакомые мне зеленые штуки. Я попробовал одну из них и едва не лишился зуба. Это была моя первая встреча с оливками.

Утром нас вывели на принятие присяги – сборище новых репатриантов, одетых во что придется (в чем сошли с трапа корабля), и разделили по странам исхода. Офицер торжественно зачитал текст, из которого мы ни слова не поняли, затем положил руку на Танах и громко сказал: «Клянусь!» После некоторой заминки мы поняли, что от нас требовалось повторить сказанное. И мы прокричали: «Клянусь!»

На следующий день нас послали на базу в Црифин. Нам выдали форму, обувь, экипировку, вещмешок и странный головной убор со шторкой, прикрывающей затылок, как у солдат французского Иностранного легиона. Внутри был вышит ярлык, который радостно сообщал, что этот головной убор подарен Армии обороны Израиля «Идише Гительмахер» – Союзом еврейских модисток Нью-Йорка.

Мне выдали служебный блокнот под номером 137566, а затем нас, семнадцатилетних, отделили от остальных новобранцев. Много лет спустя я узнал, что Бен-Гурион пообещал делегации испуганных родителей, что семнадцатилетних не пошлют на линию фронта. Нас, двенадцать молодых югославов, снова посадили в грузовик и отвезли в 80-й базовый тренировочный лагерь в Пардес-Хана. Там нас разместили в большом палаточном лагере для новобранцев. Справа от нас была палатка румын, слева – марокканцев, далее палатка немцев, болгарская, испанская, тунисская – невероятная смесь языков, звуков, цветов и обычаев, которые нам были неизвестны и непонятны.

Через пару дней начались драки, воровство, очередь в столовую превратилась в арену боевых столкновений. Командир нашего отряда младший сержант Фишер тоже был недавним репатриантом из Будапешта и, похоже, сам не знал, что с нами делать. Царил хаос. Командир роты отдавал приказы командиру взвода на иврите, командир взвода переводил их на немецкий Фишеру, который переводил их мне на венгерский, чтобы я перевел на сербский для остальных солдат, и в итоге, понятное дело, никто ничего не выполнял.

Я гордился военной формой, но это был не совсем я. Всего лишь три недели назад я учился в одиннадцатом классе, корпел над заданиями по математике – это был один я. А второй сейчас играл солдата в каком-то странном фильме. Мир вокруг меня

оставался прежним, но меня стало два. Я впервые в жизни остался один – новобранец воюющей армии, гражданин страны, в которой на ужин едят оливки и разговаривают на языке, который я никогда не смогу понять. Ночами, в темноте, я плакал, пока не засыпал.

Глава 16

Джордже сошел с ума среди ночи. Он был единственным из нас, кто прошел Аушвиц. В тринадцать лет его отправили в лагерь смерти вместе с родителями, а вернулся он один, пятнадцатилетним стариком.

Мы спали рядом в палатке для новобранцев. Однажды ночью Джордже вскочил в кровати и начал кричать по-сербски: «Меня хотят убить! Меня привезли сюда, чтобы убить!»

Он так разошелся, что опрокинул кровать, разбросал свои вещи; он кричал и плакал, пытался бить – то ли нас, то ли самого себя (даже трудно было понять). Фишер, командир отряда, в панике примчался в нашу палатку и спросил меня по-венгерски: «Что тут происходит?»

– У него кошмары, – объяснил я, – он был в концлагере.

– Успокойте его, – сказал Фишер и повернулся к выходу. И тут Джордже набросился на него сзади и врезал по шее.

– Фашист! – кричал он. – Ты фашист! У нас тут фашист!

Фишер убежал и вернулся с врачом. Тот велел нам держать Джордже и вколол ему успокоительное. Когда Джордже затих, врач сказал, что оставит его переночевать в медпункте, а утром увезет в больницу. Джордже попросил, чтобы я пришел охранять его с оружием. Врач согласился. Я сидел возле его койки с тяжелым чешским ружьем в руках, оберегая его от воображаемых врагов. Еще до того, как Джордже стал засыпать под воздействием укола, он успел объяснить мне, что он был одним из немногих детей, выживших в Аушвице, и фашистам известно, что он был свидетелем их зверств, поэтому сейчас они разыскивают его, чтобы убить. «Здесь полно офицеров СС, которые прикидываются израильтянами, – шепнул он мне, – тебе тоже надо быть осторожнее: если они узнают, что ты еврей, то и тебя убьют».

Утром его на «скорой» отвезли в больницу, а вещи забыли на базе.

– Куда его повезли? – спросил я Фишера.

– В Беэр-Яаков, – ответил он.

Я вспомнил, что, когда мы прощались на причале Хайфского порта, моя рыдающая мама повторяла снова и снова: «Запомни, меня везут в Беэр-Яаков. Лагерь репатриантов в Беэр-Яаков».

Я сказал Фишеру, что вещи Джордже остались в палатке, и я должен отвезти их ему.

Фишер удивился.

– Ты всего неделю в Израиле, – сказал он, – как ты найдешь Беэр-Яаков?

Я объяснил ему, что хочу найти мать. Фишер окинул меня взглядом. Мне показалось, что в какой-то момент он разглядел, что за солдатской формой скрывается всего лишь ребенок.

– Ладно, – сказал он, – отвези ему его вещмешок, но учти – тебе придется ехать на попутках.

Даже на венгерском я не знал, что такое «вещмешок» и что такое «попутки», но согласился. До Хадеры меня подбросил наш грузовик. Высадив меня, водитель объяснил, в каком направлении находится Тель-Авив, показал, как нужно останавливать машины, и уехал. Название места было написано у меня на клочке бумаги – на иврите и на венгерском, с нарисованной Фишером картой в придачу: военный госпиталь для душевнобольных, Беэр-Яаков.

Наверное, даже оставшись посреди пустыни Сахара, я не чувствовал бы себя таким потерянным. Однако я всего за несколько часов добрался до госпиталя в Беэр-Яакове – и только благодаря тому, что в то время солдат подвозили почти все водители, и, когда я показывал им записку с адресом, они, понимая, что я не знаю иврит, изо всех сил старались мне помочь (и не только на словах).

Девушка-солдат в приемном покое госпиталя указала мне на барак, где находился рядовой Джордже, и я направился туда с вещмешком на плече. По дороге меня остановил доктор в белом халате.

– Как поживаешь? – мягко спросил он меня.

– Нормально, – ответил я по-немецки, – спасибо.

Врач не отставал:

– Как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

– Ты уверен?

Я вдруг понял.

– Герр доктор, их бин нихт феррюкт, – сказал я, – я не сумасшедший.

– Зишер, зишер, – улыбнулся он с пониманием, похлопывая меня по плечу, – конечно нет. Может, все-таки поговорим об этом?

Тут я почувствовал, как меня потихоньку охватывает паника. Ведь ни один сумасшедший не понимает, что он сумасшедший. Может, я и правда сошел с ума? Может, Фишер и меня послал сюда по указанию врача? За последние несколько недель со мной столько всего произошло, что немудрено было свихнуться. Как мне доказать, что я нормальный? Как на самом деле ведут себя нормальные люди?

Выручила меня девушка-солдат из приемного покоя, которая

сообразила, что происходит, и объяснила все доктору. Он проводил меня, снова похлопав по спине. Пока я стремительно удалялся, то спиной продолжал чувствовать его подозрительный взгляд.

Я пришел к Джордже, который сидел в бараке еще с тремя пациентами. Он показал кивком на коридор и, когда мы вышли, прошептал мне на ухо: «Эти трое сумасшедшие. Я – единственный нормальный в палате», – и пошел за чаем. Я вернулся, и один из этих троих сказал мне: «Бедняга, он же сумасшедший. Но ты не волнуйся, мы за ним присмотрим».

С тех пор я больше никогда не видел Джордже, не слышал о нем и не знаю, что с ним произошло.

Маму, Руди и Петера я нашел лежащими на сохнутовских кроватях в жалком заброшенном бараке британской военной базы, на которой разместили около пятисот репатриантов. Вместе с ними в бараке жили еще около пятидесяти человек, которые развесили между кроватями одеяла на веревках, создавая хоть какое-то подобие комнатушек.

Когда я вошел, мама лишилась дара речи: ее маленький Томи был в военной форме. Она обняла меня и заплакала. Потом заметила мою нелепую фуражку французского Иностранного легиона и расхохоталась. Все это казалось ей какой-то ошибкой. Что мы делаем в этом жалком бараке, на этой заброшенной базе, в этом забытом богом месте, в этой непонятной стране? Как нам выбраться отсюда? Как вернуться домой, в квартиру, которую мы оставили, за школьные парты, на верфь на Дунае, к друзьям, к долгим партиям в бридж, к языку, на котором писали и говорили, к нормальной жизни людей нашего круга? Что нам здесь нужно? Этот гортанный язык невозможно понять, эту пищу нельзя проглотить; чтобы помыться, надо стоять в очереди; по ночам всюду слышны плач и ругань; днем все болтаются без дела, и непонятно, что нас ждет. Зачем нам это?

По прошествии лет, из глубины своей ухоженной могилы на кладбище Кирьят-Шауль, над которой склонилась лиловая бугенвиллея, я смотрю на того парня, каким я был, и поражаюсь тому, насколько ясно он осознавал свое предназначение. Я прожил в Израиле шестьдесят лет, и единение мое с этой страной было абсолютным, это всегда был самый большой (кроме семьи) мой источник силы – осознание того, что я нахожусь в единственном месте на Земле, где может жить еврей, и в единственном месте, где мог жить я сам. Патриотизм мой был бурным, иногда громогласным, по той же причине, по которой новообращенные всегда святее папы римского: я знал, что могло быть по-другому. Гетто убедило меня в том, что мне необходимо

место, куда я могу пойти, но никто не может представить себе чувств, которые я испытывал, когда наконец обрел такое место.

Не страна была обязана мне, а я – ей. В отличие от мамы мне Израиль не казался чужим, чужаком здесь был я. У меня была цель: стать израильтянином. Через несколько лет, когда я закончил службу в армии, мне попалась на глаза брошюра для поступающих в Еврейский университет в Иерусалиме. У меня тогда не было даже аттестата зрелости, и я не понял девяноста процентов из того, что было написано в проспекте, но на первой странице я нацарапал одно предложение: «КЛИНУСЬ, ЧТО ПАСТУПЛЮ ТУДА».

Я обнял маму и вернулся в армию.

После двухнедельных курсов молодого бойца нас, парней из Югославии, отправили на неделю в кибуц Ягур, чтобы мы познакомились с тамошней жизнью. Я знал о существовании кибуцев, но не совсем представлял себе, о чем идет речь, и отправился туда с радостью, в предвкушении настоящего израильского приключения. Но кибуцники сделали все, чтобы оправдать мое сложившееся мнение о жизни в социалистическом обществе. А точнее, они не сделали ничего. Выделили нам две комнаты, назначили ответственного за нас и дали нам работу – на кухне, в поле, на уборке.

Когда мы вошли в столовую, никто даже не взглянул на нас. На вечере песни мы сидели в стороне – никто и не подумал привлечь нас. Там было немало молодых людей нашего возраста, которые нас просто игнорировали. Парни не пригласили нас поиграть в футбол на траве, девушки вообще нас не заметили. В какой-то момент мы поняли, что, хотя армия и привезла нас, чтобы мы познакомились с жизнью в кибуце, кибуцники не были заинтересованы в знакомстве с нами, их интересовала только бесплатная рабочая сила.

После того как Джордже оставили в больнице и еще одного югослава выгнали с базы-80 за воровство, нас, выходцев из Югославии, осталось десять. Армия в своей бесконечной мудрости решила, что мы – компания избалованных буржуа – очень подходим для авторемонтных работ. «Когда вы демобилизуетесь, у вас уже будет специальность», – подбодрил нас офицер на распределении. Так мы попали в армейскую автомастерскую в районе города Афула.

На следующий день после прибытия нас распределили по разным участкам: меня сделали автоэлектриком, Рожи отправили на ремонт радиаторов, остальных – Альберта, Браче, Мирко, Мато-большого и Мато-маленького, Златко, Баррана и Оскара –

назначили автомеханиками.

Командиром автомастерской был немецкий еврей-очкарик капитан Давид Шехнер, который казался нам пожилым человеком. Сегодня-то я знаю, что ему было всего двадцать семь. Шехнер узнал, что я говорю по-немецки, и подразделение поменяло язык: вместо венгерского мы – группа переживших Катастрофу – стали получать приказы по-немецки.

Через несколько недель от имени «югославов» я обратился к капитану Шехнеру с просьбой разрешить нам учить иврит. Он отправился в Афулу и нашел учительницу иврита по имени Рахель. Дважды в неделю она приезжала в часть в шесть часов вечера, чтобы обучать нас ивриту. Это была молодая, приятная и очень добросовестная девушка. Она была настолько преданной делу и добросовестной, что через несколько недель интенсивного обучения мы обнаружили, что после урока она остается в комнате командира до рассвета. Через несколько месяцев они поженились и продолжали жить счастливо и после того, как Давид Шехнер демобилизовался.

Несколько лет назад мне позвонила Рахель Шехнер и сообщила, что Давид скончался. «Ты поженил нас сорок пять лет назад, – сказала она, – и я должна была тебе сообщить, что его не стало».

Наша мастерская была настоящим сумасшедшим домом, в котором круглосуточно работали около ста человек, поскольку состояние транспорта в армии после войны оставляло желать лучшего. Единственное, что волновало Шехнера, – чтобы мы отремонтировали как можно больше машин за как можно более короткий срок. И к черту дисциплину. Был у нас на базе Ахмад, араб из Акко, попавший в плен во время Войны за независимость, – он занимался чисткой картошки и уборкой кухни. Капитан Шехнер решил, что жаль тратить время механиков на охрану въезда на базу, и поставил Ахмада на постоянную охрану ворот. Я думаю, это была единственная база за всю историю Армии обороны Израиля, на которой вооруженный пленный араб охранял сто израильских солдат. Этой удобной расстановке сил был положен конец, когда офицер службы безопасности Северного округа приехал из Назарета ремонтировать свой джип. Взволнованные объяснения Шехнера по поводу того, что он старается экономить рабочую силу, не возымели действия, и Ахмад вернулся на кухню.

Никто не обучал нас этой работе. Все делали методом проб и ошибок, как ученики средневековых гильдий. Но со временем я научился чинить стартер, настраивать регулятор, заменять прерыватель-распределитель, не говоря уже о таких простых

операциях, как установка и замена фар. Мои пальцы были постоянно черны от машинного масла и изоляционной ленты, но через год я сдал экзамен в центральном армейском гараже в Бат-Галим и получил диплом автоэлектрика.

Из всех полученных за мою жизнь дипломов именно этим я гордился больше всех. С тех пор и до конца своей жизни я был абсолютно убежден в том, что на свете не существует электроприбора, с которым я не справился бы. Мои домашние, наученные горьким опытом, обычно прятали сломанные электроприборы до прихода мастера, чтобы меня в очередной раз не одолело безудержное желание разобрать что-нибудь на части и собрать снова.

Я с улыбкой вспоминаю многочисленные смешные истории из своей жизни, пытаясь понять, какие из них сделали меня тем, кем я стал. Я всегда любил читать биографии. Лежа в кровати в час ночи, разложив на своем могучем животе биографию Сталина или Рузвельта, я наблюдал с изумлением, как молодой человек, которого прочили в священники, стал одним из самых чудовищных убийц в истории, или как избалованный единственный наследник одного из богатейших семейств Нью-Йорка вырос человеком, выведшим Америку из Великой депрессии. Я, конечно, не претендую на сравнение с ними, но одно сходство есть: желание аутсайдера пробиться наверх.

И дело не в том, что Наполеон был корсиканцем, Гитлер – австрийцем, Сталин – грузином, Рузвельт болел полиомиелитом и был прикован к инвалидному креслу, а Черчилль прослыл политическим прокаженным, игнорируемым своими современниками. Им всем было что доказывать. И они доказали. Каждый по-своему. Мои устремления были много скромнее. Но каждый отремонтированный генератор еще на сантиметр приближал меня к поставленной цели: стать израильтянином.

Мое окружение оставалось прежним. Руди удалось вызволить свои деньги из британского банка, и они с мамой перебрались из лагеря для репатриантов в крохотную квартирку на улице Царя Соломона в Тель-Авиве. Петера они отправили в кибуц Кфар-Сольд и навещали его только раз в полгода. По сегодняшним понятиям это ужасное отношение к одиннадцатилетнему ребенку, но в те времена нужды и повсеместной экономии это было вполне обычное явление. Мне было жаль Петера, но я ничего не мог поделать.

Однажды субботним утром я обнаружил, что в нашей мастерской на выходные оставили штабной автомобиль. Я «позаимствовал» его и отправился навестить Петера. Увидев

меня, он заплакал. И потом еще долгие годы вспоминал, как поднялся его авторитет среди мальчишек, когда в ворота кибуца въехал штабной автомобиль, и из него вышел его брат в военной форме.

Глава 17

Яеду на машине из Цюриха в Санкт-Галлен. Воздух абсолютно прозрачен, вершины Альп все еще покрыты снегом, звон колокольчика возвещает о приближении стада коров. Так выглядит мир сквозь дырку швейцарского сыра.

Впереди трактор тащит на буксире какую-то сельскохозяйственную машину. Меня что-то тревожит, что-то мешает наслаждаться кристальной тишиной и умиротворяющими пейзажами. Бросаю взгляд на приборную панель – абсолютно все в порядке, но что-то не дает мне покоя.

И тут жена говорит: «Посмотри, что написано на этом комбайне!»

Я читаю и понимаю, что встревожило меня. На комбайне написано огромными буквами – «Менгеле».

И я вспомнил, что в сообщениях о чудовище из Аушвица действительно говорилось, что семейство Менгеле производит сельскохозяйственную технику. Они могли бы назвать свою компанию как угодно, но, видимо, очень гордятся этой фамилией и поэтому пишут ее большими буквами.

Я еду следом за «Менгеле» и хочу домой.

Эмигранты всегда хотят домой. Это часть эмигрантской мифологии. В каждом городе мира есть обшитый деревом ирландский паб, где у стойки сидят Пэдди и Кэтлин, принявшие изрядную дозу виски и тоскующие по зеленым холмам своей старой родины. Американцев проще всего встретить в «Макдоналдсе», китайцы толкутся в Чайна-тауне, итальянцы ходят в ресторан Луиджи (потому что в любом городе мира есть итальянский ресторан, а в любом итальянском ресторане есть шеф-повар, а всех итальянских шеф-поваров зовут Луиджи), поедают спагетти на скатертях в красно-белую клетку, а под конец запевают «Санта Лючию».

И лишь я тосковал по дому, которого еще не было.

Я не знаю, возможно ли с это точки зрения психологии – тосковать по будущему, но именно это чувство я испытывал. По уютному креслу, которое еще не приобрел, по карьере, которая еще не состоялась, по семье, которую я еще не создал. Но главным образом по ощущению причастности, по тому абсолютному пониманию, сопровождавшему меня все мое детство, когда ты являешься неотъемлемой частью происходящего вокруг тебя, а оно – частью тебя.

Я не первый человек, которого от одиночества спасла Ева.

С Хавой (Евой) Горовиц я познакомился на вечеринке, которую устроил капитан Шехнер. В одну из суббот он задержался на базе допоздна и обнаружил, что, когда все солдаты разъезжаются по домам, десяти его югославам некуда податься. У большинства из нас не было родителей, к которым можно было бы поехать, а мне у мамы и Руди просто негде было разместиться. Я предпочитал оставаться с друзьями.

Шехнер сделал несколько звонков и уговорил медсестер из находившейся неподалеку больницы провести с нами субботний вечер. Они пришли прямо с работы, некоторые были в больничной униформе (почти как в романе Хемингуэя «Прощай, оружие!»). Мать Хавы заведовала прачечной больницы. Она заставила Хаву тоже пойти «провести время с этими бедными солдатиками».

А бедный солдатик, стоявший у стены, с первой минуты не мог отвести от нее глаз. Она тогда училась в одиннадцатом классе – хрупкая блондинка, красивая и немного испуганная, она покорила меня, как только вошла. Я подошел и заговорил с ней на ломаном иврите, но вскоре выяснилось, что она говорит на немецком с легким венским акцентом. Ее мама, репатриантка из Австрии, поболтав со мной пару минут, поняла, что я – «мальчик из хорошей семьи», и разрешила дочери пойти со мной погулять.

Это был невинный роман двух детей, длившийся более двух лет. Она ждала меня по вечерам у входа на базу, и мы отправлялись гулять, держась за руки, до шоссе и обратно. Или забирались на водонапорную башню и усаживались на ее бетонный край, наблюдая за раскинувшимся перед нами городом. Сверху Афула выглядела почти красивой.

Самое большое наше приключение произошло после того, как пришло письмо от моего дяди Пали, в котором он сообщил, что на провезенные в контейнере деньги взял в аренду небольшую гостиницу в Тверии, и приглашал меня приехать в ближайший свободный вечер. В ту же субботу Хаве удалось достать два велосипеда, и мы отправились в Тверию. Мы провели там выходные, изображая Грету Гарбо и Джона Берримора в фильме «Гранд-отель».

Но самой привлекательной чертой Хавы (которая позже стала известна как профессор социологии Хава Этциони-Халеви) было то, что она была абсолютной израильтянкой. Как и любая другая девушка, Хава стремилась познакомить своего друга-солдата с завидующими подружками, и я оказался в окружении девушек, бросавших на меня смущенные взгляды, болтавших и хихикающих, в то время как я безуспешно пытался понять их быстрое щебетание на иврите. Благодаря Хаве я узнал, что такое

«святая троица»: фалафель, салат и газировка, от нее я впервые услышал о политике и высшем образовании, она переводила для меня с иврита книги, которые я не мог одолеть сам, читала вслух заголовки статей в газетах и впервые дала мне послушать песню молодой израильской певицы Шошаны Дамари под названием «Анемоны». Я не знал, что такое анемоны, но песня мне понравилась, и певица тоже.

Она говорила, а я слушал (признаюсь, это был последний случай таких взаимоотношений в моей жизни) и не мог наслушаться. Мои югославские друзья все еще томились в языковой клетке, а я уже вырвался на свободу, в мир настоящих израильтян.

* * *

Капитан Шехнер, который по-отцовски наблюдал за нашим романом, усмотрел возможность, которую сам же и реализовал, – когда подошел срок моей демобилизации (в то время срочная служба длилась два с половиной года), он уговорил меня остаться еще на полгода сверхсрочно, чтобы скопить немного денег. Я подписал контракт и сделал большой шаг вверх по лестнице армейской иерархии, получив звание младшего сержанта.

Мои югославы расставались со мной со слезами на глазах. Каждый пошел своей дорогой. Барран уехал в кибуц и женился на красавице-еврейке из Йемена. У них родились пятеро детей, а потом тринадцать внуков, Мато-большой стал сутенером во Франкфурте, Мато-маленький уехал в Аргентину и разбогател, Оскар работал на сахарном заводе, остальные тоже как-то устроились. Общались мы довольно редко, но один раз в году, в праздник Суккот, обязательно собирались в лесу Бен-Шемен вместе со всеми, кто приплыл на «Кефале», с их детьми и внуками. Кто-то доставал аккордеон, и начинались головокружительные танцы, на мангале жарились толстые колбаски, по рукам ходили бутылки золотистой сливовицы. В течение всего года я был венгром – после писателя-юмориста Эфраима Кишона, пожалуй, самым известным в Израиле, – но раз в году, во второй половине дня, становился настоящим югославом.

Месяцы сверхсрочной службы пришли и ушли – несмотря на все уговоры Шехнера, я отказался продлить контракт. За несколько дней до моего двадцатилетия мы со слезами попрощались с Хавой, клянясь друг другу в вечной любви, и я

уехал в Тель-Авив.

Весь следующий год мы еще продолжали встречаться раз в неделю, по четвергам, но чем дальше, тем более отдалялись друг от друга. Я с головой окунулся в новую жизнь, а она пошла служить в армию, в разведку. В конце концов мы расстались, как писал Т. С. Элиот: «не со взрывом, а со всхлипом». Мы оба понимали – и не решались высказать это вслух, – что если бы встретились несколькими годами позже, то у нашей истории, возможно, был бы другой конец.

Пятьдесят три года спустя Хава читала лекции за рубежом. И однажды ночью никак не могла уснуть. Она встала, включила компьютер и зашла в интернет, где главной израильской новостью было сообщение о моей смерти. Хава поднялась, включила все освещение в номере и просидела в кресле всю ночь, глядя в окно, пока не забрезжил сероватый рассвет.

Меня тогда занимало не будущее, а вопрос, есть ли оно у меня вообще. Несколько месяцев я болтался без дела, потерянный и запутавшийся, пытаясь решить, что же мне делать в жизни. По ночам встречался в Яффо с друзьями по армии и играл в покер до самого утра. У одного из моих хороших друзей из Нови-Сада, Томи Ягоды, была небольшая квартира в Рамат-Гане. Мы проводили там немало времени. Ягода обладал неисчерпаемым обаянием, и вереницы молодых и любопытных тель-авивских девушек проникали в эту квартиру каждый вечер, чтобы новые репатрианты не страдали от трудностей абсорбции.

В это время Руди открыл вместе с двумя компаньонами ферму по выращиванию шампиньонов. Это было время жесткой экономии, норма потребления мяса составляла семьдесят пять граммов в месяц, поэтому они решили, что на грибы будет спрос. Ферма располагалась в большом заброшенном здании на окраине Тель-Авива, и им не хватило денег, чтобы покрасить стены. Руди освободил для меня чулан, в котором по стенам текла вода. Я притащил туда матрас и письменный стол и превратил этот чулан в свой первый дом. Когда через несколько месяцев наступила зима, обнаружилось, что здание находится над руслом реки Аялон: я не раз просыпался почти полностью в воде, а мои немногочисленные пожитки плавали вокруг, как бумажные кораблики.

В основе работы фермы была система кондиционирования воздуха. В разных камерах была разная температура, что позволяло контролировать скорость прорастания грибов (их рост имеет сезонный характер, они реагируют на тепло и холод). Ферма была заполнена до отказа деревянными ящиками

величиной метр на метр, в которых в красноватом песке были посеяны споры грибов. Каждый раз, получив заказ от фирмы-покупателя, мы поднимали температуру в одной из камер, и на следующий день там вырастали грибы.

Через несколько недель после моего приезда испортилась система кондиционирования, и все грибы выросли за одну ночь. Тысячи грибов росли с головокружительной скоростью, прямо на наших глазах. Целый лес шампиньонов, белые ковры, белые простыни влажных мясистых грибов, прилипающих к рукам. У всех трех компаньонов – истерика. Целую ночь мы выскребали грибы из ящиков, укладывая их в большие емкости.

Вынимаем два гриба, а на их месте вырастают три, освобождаем один ящик и обнаруживаем, что в другом уже прорастают новые грибы. Утром мы носились от магазина к магазину, пытаясь продать сотни килограммов грибов, которые никому не были нужны. «Нам конец», – простонал Руди. Ему никто не ответил. С того дня я терпеть не могу грибы.

Работы у меня не было. Все считали, что я стану автоэлектриком в одной из мастерских, которых много открывалось тогда в южной части Тель-Авива, но я был не в восторге от этой идеи. Смазки под ногтями я накопил уже на всю оставшуюся жизнь. Мама, обеспокоенная тем, что я превратился в бездельника, уговорила доктора Вальдмана, двоюродного брата отца, взять меня курьером в его адвокатскую контору – улица Ротшильда, дом 4. Через две-три недели он, вручив мне конверт, попросил съездить к господину Мецкину, который держал большой магазин одежды на улице Алленби, и подписать у него несколько документов. Я отправился туда на велосипеде. Когда я поднялся по ступенькам, дверь мне открыла служанка, на голове у которой был шавис – традиционный головной убор религиозных евреек.

– Давай мне, я передам, – сказала она.

– Прошу прощения, – ответил я, – меня просили передать конверт лично в руки.

Она подняла брови и провела меня внутрь. У господина Мецкина были гости. Человек пятнадцать сидели за маленькими столиками, уставленными всякой снедью. Там были яства, которых я не видел с довоенных времен: копченый лосось, маленькие розетки с черной икрой, творожный крем, корзиночки с выпечкой, голландское масло, разное варенье, швейцарский шоколад, французский бренди.

Господин Мецкин смутился, когда я вошел. Везде жесткая экономия, люди довольствуются пятьюдесятью граммами муки и

пятью печеньями в день, вся страна живет аскетично, а эти – жируют! Я не сказал ни слова, молча подождал, пока он подписал документы, и вышел, но запах еды продолжал меня преследовать. Я должен был испытывать возмущение, но почувствовал нечто противоположное: если есть люди, которые так живут, – сказал я себе, – я хочу быть одним из них.

В тот же вечер я сообщил Томи Ягоде, что хочу стать адвокатом. Он рассмеялся. «У тебя даже аттестата зрелости нет», – сказал он. Через пару дней я записался на подготовительные курсы для сдачи экзаменов на аттестат зрелости.

Из всех интеллектуальных вызовов, на которые мне когда-либо пришлось отвечать, этот был самым трудным. Я уже мог разговаривать на ломаном солдатском иврите, но чтение и письмо еще как следует не освоил. Огласовки, расставленные над буквами и под ними, казались мне древними египетскими иероглифами, я не мог понять разницы между некоторыми буквами, которые произносятся практически одинаково. А сейчас я должен, закопавшись в толстенные брошюры и учебники, не понимая, о чем в них идет речь, учить историю, географию, литературу. Совершенно невозможным для понимания казался Танах. Каким образом молодой человек, для которого иврит не был родным языком, может понять фразу: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня»?

Днем я работал, а по ночам, сгорбившись над учебниками, занимался. Рядом со мной маленький масляный обогреватель, а ноги – в воде, покрывающей пол. Это была печально памятная зима 1952-го, когда страшные наводнения обрушились на всю страну, и особенно – на мою жалкую кладовку. Однажды ночью я заснул над книгами, а проснулся оттого, что одежда на мне горела. Видимо, я съехал со стола на обогреватель, и пламя охватило мою куртку. Я бросился в воду и барахтался, пока огонь не погас. Слегка потрясенный, я сел на велосипед и поехал к маме. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты остаешься здесь». Руди Гутман, как всегда, только улыбнулся. Оглядываясь назад, я испытываю к нему огромную благодарность. В их маленькой квартире были одна спальня, чуланчик со стиральной машиной и крошечная кухня. Своего единственного сына он отправил в кибуц, а мне выделил постирочную.

Через несколько месяцев наступило время моего первого экзамена. Это было сочинение. Я открыл экзаменационный билет, и у меня потемнело в глазах. «Напишите сочинение на тему “Израиль как демократия”». Я понимал, что моего иврита недостаточно, чтобы написать такое сочинение (и, честно говоря,

любое другое), но мне пришло в голову, что мой единственный шанс – это показать незнакомому экзаменатору, что я не какой-то невежда, а человек образованный. Может, он проявит сострадание. Я написал слабое сочинение, полное ошибок, но напичкал его всеми иностранными выражениями, какие только смог припомнить. Я вспомнил формулировку Авраама Линкольна: «Правительство, созданное народом, из народа и для народа»; процитировал последние слова Гёте: «Больше света»; выражение Дюма: «Ищите женщину»; итальянское «блаженное ничегонеделание» и завершил сентенцией Юлия Цезаря «Жребий брошен» (на латыни, между прочим!).

И я прошел. Не Рубикон, но, по крайней мере, экзамен. Этот незнакомый мне экзаменатор, видимо, внял моим мольбам, читавшимся между строк, и, несмотря на многочисленные ошибки, решил поставить мне проходной балл.

Глава 18

Наши родители – это генеральная репетиция нас самих, а мы – генеральная репетиция наших детей. Впервые я подумал об этом в ту ночь, когда сопровождал мать в тяжелом состоянии в больницу в машине «скорой помощи».

Второй раз эта мысль пришла ко мне, когда я открыл глаза в больнице (после того, как потерял сознание дома), – не зная, что рак уже распространился по всему моему телу, – и увидел Мерав, сидевшую возле моей постели в тревоге и страхе. Сквозь пелену, созданную лекарствами, я спросил себя: понимает ли она, что ее отец – генеральная репетиция ее жизни, того спектакля, который еще предстоит сыграть ей, – комедии, трагедии, драмы и мелодрамы?

Однажды я танцевал с женой на вечеринке, где вино разливали в хрустальные бокалы, а на женских шеях красовался натуральный жемчуг. Оркестр играл английский вальс, и сквозь знакомую, далекую мелодию на серебристом экране воспоминаний детства перед моими глазами появились родители: уверенные в себе и улыбающиеся, они танцуют на террасе отеля на берегу Адриатического моря, а я – маленький мальчик – сижу в плетеном кресле и пью фруктовый сок, глядя на мать – блистательную принцессу и на отца – мужественного рыцаря, парящих над сверкающим паркетом. Это мои родители участвуют в генеральной репетиции того танца, который я потом танцевал с женой – под ту же мелодию английского вальса.

Отец раз в неделю ездил на поезде в Суботицу работать в газете. Я приехал к своей карьере журналиста на 4-м автобусе, который ходил от начала до конца улицы Бен-Иегуды в Иерусалиме. Как однажды я отказался выйти на работу на железной дороге в Югославии, как пошел в армию вместо лагеря для репатриантов, так и это решение – стать журналистом – я принял мгновенно, не представляя себе, что меня ожидает. Было ли это действительно моим решением или предощущением пути, проложенного для меня предыдущими поколениями?

Благодаря этому решению я встретил свою жену, определил свой жизненный путь, стал политиком, с помощью телевидения вошел в каждый израильский дом и разделил страну на тех, кто меня любил, и тех, кто ненавидел. Но когда я садился в автобус на углу улицы Фришмана, то все еще думал, что еду в другом направлении.

Это случилось на втором году подготовки к получению

аттестата зрелости. Я сдал уже большую часть экзаменов на аттестат зрелости, и мне оставалось учиться считаные месяцы. Я все еще работал посыльным на велосипеде, когда однажды мать вызвала меня на разговор и торжественно сообщила, что добыла мне работу, о которой можно только мечтать: диспетчером в таксопарке.

Я чуть со стула не свалился. Как? Где?

В соседней квартире, объяснила она, живет господин Френкель, один из владельцев таксомоторной компании «Авив».

Мать встретилась в магазине с его женой и рассказала ей, как тяжело сыну зарабатывать на жизнь посыльным. В тот же вечер госпожа Френкель сказала господину Френкелю, что это сионистская задача первостепенной важности – помочь двадцатиоднолетнему репатрианту, демобилизовавшемуся из армии и с трудом зарабатывающему себе на жизнь. Господин Френкель согласился. «Пусть приходит завтра утром, – сказал он, – я возьму его на работу с испытательным сроком».

В ту ночь я почти не спал. В начале 50-х получить работу в таксопарке – это как сегодня устроиться в перспективный высокотехнологичный стартап. Утром я встал рано, принял душ и сел в автобус. Он ехал медленно, и я рассматривал прохожих через окно. Почему-то они казались мне более мрачными, чем обычно, – как будто были окончательно подавлены жизнью.

Автобус остановился на бульваре Ротшильда, двери с тяжелым вздохом открылись, но я остался сидеть. Конечной остановкой автобуса № 4 была центральная станция. Я знал, что рядом с ней, в одном из маленьких переулочков, находится редакция венгерской газеты «Уйкелет». Кто-то показал мне, как пройти, я поднялся на второй этаж и зашел в одну из комнат. Мужчина в костюме вопросительно поднял глаза.

– Меня зовут Томи Лампель, – сказал я.

– Да?

– Я умею писать.

– Ну и?..

Я пытался сообразить, успею ли я выскочить на улицу, запрыгнуть в автобус в обратном направлении и вовремя приехать на встречу с Френкелем?

– Я ищу работу, – сказал я, – любую!

Дежё Шен, заместитель редактора, пристально посмотрел на меня.

– Ты можешь покрутиться здесь, – сказал он, – платить тебе мы пока не будем – сначала посмотрим, что ты умеешь.

Я не был уверен в том, что понял его правильно, но сделал так, как он сказал, и стал расхаживать по редакции, заглядывая

во все комнаты подряд. В те времена газета «Уйкелет» была довольно серьезной – ее ежедневный тираж составлял целых 35 тысяч экземпляров. В одной из комнат сидел тощий фельетонист, которого звали Эфраим Кишон, – он писал и стирал, стирал и писал. Человек, который должен был стать самым моим близким другом на последующие пятьдесят лет, едва поднял голову, когда я представился. В другом кабинете сидели два карикатуриста – Дош и Зеев, один высокий и грустный, другой низкого роста и улыбчивый, они тепло пожали мне руку и пожелали удачи. В следующем кабинете я увидел человека, лицо которого было мне знакомо: артист театра «Абима» Авраам Ронаи, положив ноги на стол и прихлебывая коньяк прямо из бутылки (в 9 утра!), звучным голосом рассказывал о своем последнем спектакле. Несколько лет спустя меня вместе со всеми этими людьми будут называть венгерской мафией, но в тот день они казались мне полубогами.

Особое впечатление на меня произвел ночной редактор – смуглый элегантный человек, который имел обыкновение делать то, чего я больше никогда за все годы своей журналистской деятельности не видел: по средам он вставал в центре комнаты и одновременно диктовал две разные статьи: статью на четверг – одной машинистке, а статью на пятницу – другой. Это был Исраэль (Рудольф) Кастнер, впоследствии герой и жертва печально известного «процесса Кастнера».

В течение четырех дней я ничего не делал, но однажды Кастнер подозвал меня.

– Я так понял, ты хочешь быть журналистом, – сказал он.

– Да, – ответил я сдавленным голосом.

– Отлично, – сказал он, – тогда сгоняй купи мне сигареты. Он достал из кармана деньги, я побежал вниз и вернулся с двумя пачками и сдачей. Он взял их у меня и сказал: «Ты принят».

Кастнер свое слово сдержал, поскольку на следующий день меня вызвал Шен.

– В Ашкелоне будет пресс-конференция, – сообщил он, – созывает ее председатель местного совета, человек по имени Элиэзер Милрод, который утверждает, что собирается превратить Ашкелон в центр туризма и археологических изысканий. Поезжай туда и привези статью.

За первой в своей жизни статьей я поехал на автобусе с пересадкой. Когда водитель объявил «Ашкелон», я выглянул в окно и увидел кругом песок и только несколько домов вдалеке. Я вышел из автобуса и пошел в направлении моря, пока не дошел до здания местного совета. Глава местного совета стоял на небольшом возвышении и, жестикулируя, о чем-то возбужденно говорил. Я не понял почти ни одного слова, но записал несколько

предложений в записную книжку, которую мне дала одна из секретарш. Все журналисты побежали на обратный автобус в Тель-Авив, а я решил остаться. Прогуливаясь между домами, я поговорил с несколькими местными жителями, добрался до археологических раскопок, понаблюдал за археологами с загорелыми торсами, которые копались в руинах.

Ночью я вернулся на попутках и написал первую в своей жизни статью. Шен прочитал ее, посмотрел на меня, улыбнулся и повторил то, что сказал Кастнер: «Ты принят».

Я стал журналистом.

Глава 19

На официальном обеде в Шанхае, за порцией супа из акульих плавников (сомнительный деликатес, который китайцы подают особо важным гостям, над которыми хотят поиздеваться), я спросил заместителя мэра Чжань Чана, сидевшего напротив меня в украшенном золотыми драконами красном кресле, как он борется с растущей преступностью.

По смущенному взгляду переводчика я понял, что задал вопрос неуместный, но тем не менее он его перевел. Чан уставился в окно на небоскребы самого суетливого города в мире и после долгого раздумья ответил: «Вы приехали к нам в сезон дождей, но сегодня, на ваше счастье, небо ясное».

Я испытывал подобное ощущение не раз за четыре года работы в «Уйкелет». Снаружи шла настоящая жизнь, в которой Израиль противостоял войнам и бедности, трудностям абсорбции и преступности, жесткой экономии и нападениям первых террористов на гражданское население. А у нас в офисе сохранился маленький Будапешт, где люди приходили на работу в костюмах и галстуках, слегка флиртовали с секретаршами, а затем пили послеполуденный чай с пирожными перед тем, как сесть за перевод еще одной заумной статьи с немецкого.

Редакционный коллектив делился на две категории. Многие из нас с удовольствием оставались на спокойном венгерском островке, оторванном от напряженной и трудной жизни молодого Израиля. Остальные – и я в их числе – видели в «Уйкелет» всего лишь перевалочный пункт на пути в главный пункт назначения. Я считал: мы не для того проделали весь этот нелегкий путь в еврейское государство, чтобы теперь жить как небольшая община, замкнутая в себе и в своем уникальном языке и старающаяся свести к минимуму контакты с внешним миром.

Нашим признанным кумиром был Эфраим Кишон. Он был старше меня на семь лет и вскоре превратился в старшего брата, которого в моей жизни никогда не было. Многие опасались его мизантропии, но я понимал, откуда она появилась: пережив Катастрофу, бежав с поезда, шедшего в лагерь смерти Собибор, он решил, что мир так мрачен, что нет иного выхода, кроме как стать юмористом. Но молодой писатель задыхался в стране коммунизма. Издание его первой книги было запрещено. Кишон решил оставить все позади и уехать в молодое государство.

Свою трудовую деятельность в Израиле он начал с мытья туалетов, а иврит освоил весьма оригинальным способом: раздобыл подержанный словарь и выучил его весь наизусть, пока

драил унитазы.

Благодаря этому крайне истрепанному словарю были созданы одни из лучших комедий, когда-либо написанных. В 1952 году, все еще работая в «Уйкелет», Эфраим получил предложение от Азриэля Карлебаха, легендарного редактора газеты «Маарив», вести в ней ежедневную сатирическую колонку. Эта колонка, которая называлась «Хад Гадья», завоевала огромную популярность, Эфраим вел ее на протяжении тридцати лет. В мире вышло более сорока двух миллионов экземпляров книг Кишона на десятках языков. Он трижды был лауреатом «Золотого глобуса» и дважды номинировался на «Оскар». Созданные им образы – прежде всего Салах Шабати и констебль Азулай – стали частью не только израильской, но и мировой культуры.

Меня часто спрашивали, в чем секрет его таланта, и я всегда приводил один и тот же пример: во время Второй мировой войны англичане использовали в качестве наблюдателей дальтоников, которых нельзя обмануть цветомаскировкой. Кишон был эмоциональным дальтоником. Сквозь камуфляжные сети общественного лицемерия он видел жестокую правду и разоблачал ее безжалостно. Это было страшно смешно, но сделало его пессимистом: он не имел иллюзий в отношении своих собратьев.

Через несколько месяцев после первой зарплаты я закончил сдавать экзамены на аттестат зрелости и сразу подал документы в Высшую школу экономики и права (которая впоследствии стала юридическим факультетом Тель-Авивского университета). В то же время я покинул каморку в квартире мамы и Руди и снял комнату у двоюродного брата отца, доктора Вальдмана.

На этот раз учиться мне понравилось. После того как я в прошлом году освоил Танах, законы о правонарушениях казались мне очень легкими, а от дискуссий на занятиях по философии права я просто получал удовольствие.

– Без суда, – кричал лектор, профессор Шаки, – демократия превращается в режим, при котором шестьдесят один член Кнессета могут решить повесить остальных пятьдесят девять!

– Видно, что вы никогда не жили при диктатуре, – выпалил я.

– Как раз жил, – ответил он, – я в последний момент сбежал из Италии Муссолини.

Я замолчал. А тот опыт дискутирования очень помог мне в будущем.

Все заметнее становилась двойственность моего существования. Израильтяне считали меня всего лишь молодым студентом с иностранным акцентом, который в аудитории всегда

сидел на первых рядах и задавал слишком много вопросов, а в венгерской общине я уже успел прославиться своими рассказами и короткими фельетонами, написанными под влиянием и присмотром Эфраима.

Даже мама, которая до сих пор не простила мне, что я упустил блестящую карьеру диспетчера в таксопарке, – не могла скрыть, как ей было приятно, что ее подружки часто цитировали мои рассказы.

Однажды я сдал Шену интервью, которое взял у молодого человека, на моих глазах с наслаждением курившего гашиш в парке Независимости. В те дни – начале пятидесятых – это было все равно, как если бы я взял интервью у инопланетянина, приземлившегося в центре Тель-Авива. Шен прочитал статью и расхохотался. «Ну что же, молодой Лампель, – заявил он, – эта статья могла бы появиться даже в “Маариве”».

Вместо того чтобы обрадоваться, я помрачнел. Если этой статье место в «Маариве», то почему же она там не напечатана? В тот же вечер я пожаловался Эфраиму. «Спокойно, Томи, – сказал он, – ты еще не готов».

Через два года после начала моей работы Авраам Ронаи пригласил меня и Доша в кафе «Роваль» и предложил нам всем вместе с Кишоном создать шоу для выходцев из Венгрии. Он произнесет пару шекспировских монологов, мы с Кишоном почитаем наши юморески, Дош выставит на сцене большой мольберт и будет рисовать шаржи на присутствующих, а потом разделим доходы на четверых. Идея нас увлекла, и мы сразу отправились в Бицарон, где Кишон жил тогда со своей первой женой и ее престарелыми родителями.

Единственное, чего мы не учли, – это ни с чем не сравнимой скупости Эфраима (когда кто-нибудь из его детей звонил и спрашивал: «Папа, как ты поживаешь?» – Кишон обычно отвечал: «Сколько нужно?»).

– Нет проблем, – ответил он, – я хочу восемьдесят процентов, а вы разделите оставшиеся двадцать.

– Но, Фройке, – запротестовал я, – мы же все будем работать одинаково.

– Да, – сказал Кишон, – только разница в том, что я могу сделать это и без вас, а вы без меня не можете ничего.

Этот простой урок практического капитализма заставил нас замолчать. Конечно, Эфраим был прав – он был знаменитостью, а мы были еще только в начале пути. Немного посовещавшись, мы договорились, что он получит шестьдесят процентов, а мы поделим остаток. После сделки нас с Дошем охватила жажда мести, и той же ночью мы наполнили почтовый ящик Эфраима

спагетти и томатным соусом.

Когда наша программа стартовала, я несколько неожиданно для себя обнаружил, что мне доставляет удовольствие находиться в свете прожекторов. Другие страдали от страха сцены, даже Ронаи, самый опытный из нас, не мог подняться на сцену, не хлебнув коньяка из бутылки. И только я чувствовал себя в своей тарелке: отвечал на вопросы, рассказывал анекдоты, позволял себе время от времени вспылить в отношении зануд-завсегдатаев, которые посещали такого рода вечера. Мы выступили всего несколько десятков раз, но я усвоил для себя то, что пригодилось мне на всю жизнь: каждый, кто попадает на сцену, становится артистом, даже если играет самого себя.

Через год я закончил юридический факультет и в числе трехсот студентов, облаченных в черные мантии, получил диплом с ленточкой. Взволнованные мама и Руди находились в зале. В какой-то момент наши с ней взгляды встретились, и мы оба подумали об одном: как жаль, что здесь нет отца, что он не видит, как его сын становится юристом, как он, и журналистом, как он. Кроме того, в районе талии у меня начала появляться некоторая складка, которая заставляла думать, что я стану еще и таким же толстым, как он. Я боролся с этой тенденцией всю свою дальнейшую жизнь и вынужден признаться: это сражение я проиграл.

Через несколько недель мама пригласила меня в кафе – ей нужно было поговорить со мной. Она была грустной и бледной. «Руди болен, – тихо сказала она, – у него обнаружили рак горла». Я смотрел на нее и не мог поверить. Женщина сорока семи лет, на которую до сих пор оборачивались мужчины на улице, яркая блондинка, которая выглядела так, будто у нее нет никаких проблем, и вот пожалуйста! – она снова теряет мужа. Мы поехали к ним, и я обнял Руди. Оптимизм не покидал его и сейчас. «Мы справимся, Томи, – ободряюще сказал он мне, – не волнуйся, мы справимся».

Но он не справился. Болезнь победила его за два месяца. Мы сидели у его постели в больнице и видели, что он угасает. Единственное, что осталось от него, была его неизменная улыбка. Когда я шел за гробом, положив руку на плечо Петера, то не мог отделаться от мысли, что оборвалась еще одна ниточка, соединявшая меня с прошлым. Нови-Сад растворялся в памяти, уходя все дальше и дальше.

Однажды дождливым зимним днем 1955 года Кишон оставил записку в моем почтовом ящике в редакции «Уйкелет»: «Томи, я договорился для тебя о встрече с Азриэлем Карлебахом. Он ищет

личного помощника. Веди себя скромно».

Глава 20

Так ли уж удивительно, что я постоянно искал себе отца? Казалось бы, по мне этого было не сказать: красноватое лицо, преждевременная седина, заметное брюшко, бурная жестикуляция. Но я всегда тянулся к авторитетным людям старше меня. В большинстве случаев это происходило неосознанно, и я понимал это только постфактум, что, возможно, и хорошо, поскольку большинство на эту роль не подходили: Кишон был меланхоликом с непростым характером, Роберт Максвелл безответственным эксцентриком, а Рудольф Кастнер – высокомерным и презираемым. Единственным, кто эту мою потребность распознал – и даже воспользовался ею, – был Ариэль Шарон. После прекращения нашего с ним политического партнерства я освободился от этой потребности и перестал искать отцовскую фигуру, а вместо этого нашел себе двух младших братьев, в которых никогда не разочаровался, – Эхуда Ольмерта и Амнона Данкнера.

Но на протяжении целого года – одного только года – у меня был идеальный отец.

Он этого, конечно, не знал, да и откуда ему было знать? Все, что он сделал, – взял молодого и очень честолюбивого репатрианта на работу в качестве своего личного помощника. Видел ли он во мне свое отражение? Не думаю. Представлял ли, как это может повлиять на мое душевное состояние? Исключено.

За глаза его все называли «индийским принцем», потому что передвигался он с пугающей легкостью благородного хищника, обладал смуглой кожей и экзотической внешностью, и олицетворял для нас что-то далекое и романтичное.

Человек Возрождения, посвященный в раввины в иешиве, умница Азриэль Карлебах покинул родную Германию, где он выступал против нацистов в прессе, отправился в Москву изучать коммунизм, убедился в его неминуемом провале и переехал в 1937 году в Израиль. После девяти лет работы главным редактором газеты «Едиот ахронот» он основал «Маарив», которая быстро стала самым крупным изданием в стране.

Его без конца обхаживали президенты и министры (среди которых было немало женщин), а он возвеличивал и низвергал их с нескрываемым удовольствием. Каждую пятницу сотни тысяч людей покупали газету только для того, чтобы прочитать его еженедельную колонку. «Если вы хотите знать, что население подумает завтра, – сказал как-то начальник Генштаба Игаль Ядин, – прочитайте, что Карлебах пишет сегодня».

Впервые войдя в его кабинет, я понял, что совет Кишона был излишним: я ужасно смутился. Он смерил меня беглым взглядом и метнул на стол три фотографии. «Сделай к ним подписи», – сказал он. Мне удалось сымпровизировать, несмотря на то что я не всех узнал. Тень улыбки скользнула по его лицу. «Завтра утром приступай», – сказал он. Работа моя была не особенно сложной. Газету, которая состояла тогда всего из восьми полос, готовили ночью и присылали ему домой на правку. Он проверял каждое слово, исправлял, а утром я приходил к нему и забирал материал в типографию. Помимо материалов, он передавал со мной авторам статей короткие записки, как правило, острые как нож.

Эти записки очень нравились мне, но из-за них я приобрел много врагов. Все знали, что только я знал их содержание, и боялись – вдруг я его разглашу. Впервые в жизни я работал с настоящим лидером – человеком, характер которого побуждал всех вокруг работать круглосуточно, без передышки. Когда он кого-то отчитывал, человек будто съеживался, а те, кого он изредка все-таки хвалил, еще несколько дней после этого чувствовали себя на седьмом небе.

Карлебах учил меня деликатности в обращении с людьми, тому, что им обязательно надо быть выслушанными, показал мне разницу между важным и обыденным, а главное – продемонстрировал, какая сила кроется в человеке, который всегда говорит правду. Иногда это доставляет сиюминутные неудобства, но в перспективе (а работать надо только на перспективу) это всегда единственно правильная политика.

Однажды он увидел, как я взъярился на одну из машинисток, помрачнел и вызвал меня к себе в кабинет.

– В чем было дело? – потребовал он ответа.

– Я погорячился, – признался я.

– Если ты такой нервный, – сказал он, – вымещай это на мне. По делу раздраженные люди должны кричать на своих начальников, а не на подчиненных.

Этот урок я не забыл и старался следовать ему всю жизнь.

А еще он научил меня писать. Возможно, кабинетные интриги его развлекали, но к печатному слову – вероятно, в силу своего раввинского образования – он относился с благоговением. С несвойственным ему терпением он раскрывал передо мной многочисленные тайны мастерства. Как-то я спросил его, что делает человека хорошим журналистом. «Мастерство ремесленника, – сказал он. – Глаз снайпера. Чутье охотника. И душа любопытного ребенка».

На втором месяце моей работы мы сидели в его кабинете, и

он, диктуя мне что-то, вдруг посмотрел на меня.

– Что значит слово «Лампель»? – спросил он.

– Это «лампа» по-венгерски, – ответил я.

– Ты должен поменять фамилию, – сказал он, – ты пишешь на иврите, тебе нужно имя на иврите.

– Я – последний Лампель, – сказал я, – у моих дядьев нет сыновей.

Он как будто не услышал меня.

– Лапид, – сказал он, – тебе надо поменять фамилию на Лапид. Означает – факел. Довольно близко по смыслу, так что они не будут на тебя сердиться.

Его влияние на меня было настолько велико, что через два дня я отправился в Министерство внутренних дел, отстоял два часа в очереди и поменял фамилию. Карлебах был прав насчет фамилии – она была легко запоминающейся, но по поводу дядьев он ошибся – они не разговаривали со мной несколько месяцев.

Поступил бы я так же сегодня? Думаю, да, но чувствую себя немного виноватым перед предками, что прервал династию Лампелей. В этом было что-то жестокое, чему в молодости я не придал значения. С XVIII века – когда в габсбургской империи евреям было приказано иметь фамилии – Лампели рождались и Лампели умирали, а я вдруг самовольно решил стать последним Лампелем.

Довольно скоро Карлебах стал настолько доверять мне, что вручил пачку чистых листов бумаги с нацарапанной внизу своей подписью. «Нет у меня терпения отвечать на письма читателей, – сказал он, – отвечай от моего имени». Поручение развеселило меня, пока я не вспомнил многочисленные издевки, которые мне пришлось вынести от редакторов из-за моих грамматических ошибок. Ну ладно, я – новый репатриант, но разве допустимо, чтобы Карлебах отвечал своим почитателям с ошибками. Чтобы скрыть от него свои затруднения, я ночи напролет сидел дома со словарем и с огромным трудом писал эти письма, чтобы утром небрежно положить их ему на стол, будто они были написаны в считаные минуты.

Однажды он отправил меня в архив за подборкой каких-то материалов. В мрачном холодном помещении за столом сидела черноглазая красавица лет двадцати. Она взглянула на меня и улыбнулась, но не успел я отреагировать, как она снова погрузилась в свои бумаги. Выйдя, я спросил кого-то, кто это такая. «Это дочь Давида Гилади, – сказали мне, – у нее каникулы в университете, и она пришла поработать». Давид Гилади был одним из основателей газеты, участником «великолепной семерки», покинувшей «Едиот ахронот» вместе с Карлебахом. Я

хотел вернуться и поболтать с ней, но не решился. Я вырос в классовом обществе, где господа с прислугой не общались на равных, и я понимал, что шансов у меня нет.

В феврале 1956 года я зашел днем в редакцию и увидел, что секретарши плачут, а редакторы с красными глазами носятся туда-сюда как напуганные курицы. Карлебах умер. Он проводил время в постели одной из своих многочисленных любовниц, жены известного в Тель-Авиве врача, когда его сразил сердечный приступ. Даже сейчас мне трудно поверить, что Карлебаху было всего сорок восемь.

В конце концов решили – абсолютно вразрез с жизненными принципами покойного, – что нет иного выхода, кроме как обмануть общественность: один из старейших сотрудников газеты напишет трогательную историю о том, как сердце Карлебаха остановилось в то время, когда он, сидя в кресле, слушал Девятую симфонию Бетховена. Затем всех молодых сотрудников попросили покинуть помещение, и «старики» выбрали нового главного редактора – Арье Дисенчика, которого все звали просто «Чик».

Через два дня Чик вызвал меня к себе и, не глядя в глаза, объявил, что отправлет корреспондентом в Беэр-Шеву. Мы оба понимали, что это ссылка. В те дни население Беэр-Шевы составляло около двадцати тысяч человек, в основном новых репатриантов. Там еще не было больницы, университета и театра, а только песок, многоязычие и изнуряющая жара. Это была месть старожилов редакции за симпатии Карлебаха и за то, что я слишком много знал.

– А что с моей учебой? – спросил я его. – На каком-то этапе я хотел бы пройти стажировку.

– Когда надумаешь учиться, – сказал он, – сможешь вернуться.

Выйдя из его кабинета, я почувствовал смесь облегчения и злости. Я не хотел уезжать в Беэр-Шеву, но был рад, что меня не уволили и что закончилась моя работа помощником. С этого момента я буду полноценным журналистом.

Глава 21

Явыехал из Тель-Авива зимой, а через два часа попал в лето. Казалось, что беэр-шевское солнце не собирается заходить за горизонт. Из трещин в асфальте поднимался пар. Среди песков, как игрушечные кубики, были разбросаны малоэтажные дома с плоскими крышами. Жизнь текла медленно, как неповоротливые верблюды, на которых бедуины отправлялись по четвергам на рынок.

Чувство, которое я испытывал, выйдя из автобуса, можно передать словами греческого писателя Никоса Казандзакиса (которые высечены на его надгробном камне): «Ни на что не надеюсь. Ничего не боюсь. Я свободен!»

Корреспондент большой газеты в маленьком городе в чем-то похож на местного шерифа. Газета сняла для меня номер в единственном отеле города, и через два дня я уже сидел в приемной мэра, Давида Товиягу, праздно потягивая на пару с ним сладкий кофе по-турецки, сваренный в медном финджане. «Похоже, здесь ничего не происходит», – заметил я. Мэр надолго задумался. «Происходит, – сказал он наконец, – но в другом темпе».

Чтобы развеять напавшую на нас обоих дремоту, я встал и потянулся.

– Куда ты идешь? – удивленно спросил он.

– В «Кассит», – ответил я.

В Беэр-Шеве, старавшейся казаться большим городом, как раз открылось кафе под названием «Кассит», в котором был установлен один из первых телефонов-автоматов. По нему я обычно диктовал сообщения для своей газеты.

У Товиягу были чаплинские усики (маленькие, щеточкой), за которыми ему почти удалось скрыть мелькнувшую на его губах улыбку.

– Как придешь в «Кассит», – сказал он, – спроси Бетти.

Я медленно шагал вдоль по улице в прилипшей к спине рубашке, пока с облегчением не уселся под вентилятором в «Кассите». «Есть здесь кто-нибудь по имени Бетти?» – спросил я официанта. Он улыбнулся той же хитроватой улыбкой, как Товиягу. Через пару минут напротив меня оказалась худенькая женщина с короткой стрижкой. Выглядела она старше меня, но ее движения были молодыми и резкими, она вся лучилась энергией.

– Ты журналист? – спросила она с приятным французским акцентом.

Я ответил утвердительно.

– Сейчас мне некогда, – сказала она, – приходи ко мне в четыре.

Записала адрес на салфетке и упорхнула.

После обеда я пришел на просторную ухоженную виллу, настолько нетипичную для тех мест, что было ясно: обитатели – люди состоятельные. Ворота были распахнуты, и входная дверь тоже. Я постучался и вошел.

– Есть кто-нибудь?! – крикнул я.

– Я на заднем дворе, – отозвалась она, – иди сюда.

Я прошел весь дом насквозь, оказался у большого окна и остановился как вкопанный: через окно я увидел, что Бетти в чем мать родила стояла на четвереньках посреди небольшой запруды, напряженно-выжидающе застыв, как собака-ищейка.

Увидев мое замешательство, она поманила меня к себе.

– Ш-ш-ш, – прошептала она, – я охочусь на лягушек.

Я продолжал стоять, совершенно ошарашенный. Мне было двадцать четыре, и я полагал, что обладаю довольно большим сексуальным опытом, но в тот момент я понял, что впервые вижу голую женщину при дневном свете. У нее была белая гладкая кожа, маленькая грудь, и мой взгляд против воли устремился к темному треугольнику между ног. Бетти еще с минуту стояла неподвижно, затем вдруг рванулась, исчезла под водой и выскочила вся мокрая, улыбаясь и держа в руке зеленую лягушку.

– Мон шери, – приветствовала она то ли меня, то ли лягушку, – я тебя поймала.

Затем вышла из воды и запахнулась в цветное шелковое кимоно.

– Так откуда ты? – спросила она.

– Из Тель-Авива, – промямлил я, – но до того из Будапешта. Это длинная история.

– Отлично, – сказала она по-французски, – я люблю длинные истории.

Никогда в жизни я не встречал женщины, подобной Бетти Кнут, – ни до, ни после.

Она родилась в Париже в 1928 году, в дворянской семье белоэмигрантов. Ее мать была племянницей Молотова, советского министра иностранных дел, и внучкой известного композитора Александра Скрябина (с Девятой сонатой которого я был знаком и терпеть ее не мог). После оккупации Франции четырнадцатилетняя Бетти стала активной участницей антифашистского подполья, а позднее – военным корреспондентом газеты «Комба», и даже получила ранение. После войны опубликовала свою первую книгу «Мушиный

хоровод», которая стала бестселлером. Восемнадцатилетняя писательница стала модной в интеллектуальных кругах Франции, но покой был ей чужд, она стала пламенной сионисткой и вступила в подпольную организацию борцов за свободу Израиля «Лехи».

В апреле 1947 года Бетти приехала в Лондон, облачилась в роскошную шубу и, лучезарно улыбаясь, вошла в здание британского Министерства по делам колоний, где спрятала в туалете взрывное устройство. Оно не взорвалось по техническим причинам, а Бетти удалось бежать из Британии. Через несколько месяцев ее задержали в Бельгии при подготовке взрыва на борту одного из британских военных кораблей, препятствовавших иммиграции в Палестину. Полиция обнаружила при ней девять килограммов взрывчатки, фальшивые документы, чемодан с двойным дном. Бетти провела год в женской тюрьме Брюсселя. «Как там было?» – полюбопытствовал я. «Как в Дантовом аду, – ответила она, – только темнее».

После освобождения она ненадолго вернулась в Париж и сразу после Войны за независимость уехала жить в Израиль. После убийства графа Бернадота ее ненадолго задержали, но за отсутствием улик освободили. Бетти переехала в Беэр-Шеву в 1951 году вместе с мужем, американским евреем, владельцем строительной фирмы, выполнявшей работы в пустыне Негев.

– Муж? – удивился я. – У тебя есть муж?

– Конечно, у меня есть муж, мон шери, у каждой женщины должен быть муж.

Мы занимались любовью, а потом лежали в кровати, затягиваясь одной на двоих сигаретой. За окном опускалось яркое оранжевое солнце, и Бетти лениво произнесла: «Вообще-то он должен скоро прийти, – пожалуй, надо одеться».

Я вскочил и схватил брюки. Спустя четверть часа мы сидели в гостиной за чашкой кофе, и ее муж, краснощекий улыбчивый американец, вошел и поцеловал ее в обе щеки. Если он и догадывался, чем мы занимались до его прихода, не было заметно, чтобы ему это мешало. «Друзья Бетти – мои друзья», – сказал он, восторженно тряся мою руку.

Если Хава открыла мне, что значит быть израильтянином, то Бетти познакомила с богемной культурой парижского левого берега. Из патефона у нее дома я впервые услышал хрипловато-чувственный голос Жюльет Греко, она перевела мне отрывки из эротических книг Гийома Аполлинера, демонстрировала (в обнаженном виде) свою версию балета Дягилева, показала на восьмимиллиметровом кинопроекторе фильмы Жана Кокто и заставила прочитать «Ужасные дети» – роман, который он

написал, когда пытался избавиться от пристрастия к опиуму. «Ты только посмотри, каким Модильяни его изобразил, – сказала она, кладя на стол репродукцию мрачного портрета Кокто, – он ведь совсем не такой!» Я смеялся. Я понятия не имел, как на самом деле выглядит Кокто, но ее страстность была заразительной.

Во время этого романа я неожиданно преуспел на профессиональном поприще.

Годом раньше, в 1955-м, в ходе операции «Черная стрела» в Газу вошли подразделения десантников под командованием Ариэля Шарона и уничтожили несколько десятков египетских солдат. Когда Насер пришел к власти, он решил отомстить: банды фидаинов свирепствовали по всему югу, убивали, грабили, закладывали мины. Мое вынужденное пребывание в Беэр-Шеве превратилось в неожиданное везение. Вместо бесцветных историй на последних страницах («…бедуинский шейх предлагает двадцать верблюдов за дочь хозяина обувного магазина») я стал поставлять главные материалы для первой полосы. Почти ежедневно я мотался по всему Негеву на военных джипах, сидел в засадах и брал интервью у офицеров, вернувшихся из ночных погонь.

Как-то вечером я попал в семью человека, убитого террористами на нефтяной скважине в Негеве. В результате какой-то ошибки семье о трагедии еще не сообщили. «Приношу вам свои соболезнования в связи с гибелью вашего сына», – сказал я пожилой женщине, открывшей мне дверь, – и она потеряла сознание.

За исключением этого случая я наслаждался каждой минутой моей работы. Это была настоящая журналистика, жесткая и справедливая, такая, о которой я только читал в книгах Бена Хекта: журналист валится на кровать не раздеваясь и засыпает, просыпается от стука в дверь, хватает блокнот и отправляется на место происшествия, чтобы добыть информацию. Через два часа он уже сидит за пишущей машинкой, все еще в шляпе, рядом бутылка виски, сигарета во рту, и печатает сенсационный текст, оставляя позади своих неудачливых конкурентов.

Как и все молодые журналисты того времени, я преклонялся перед Беном Хектом, который начинал свою карьеру как корреспондент с уникальным нюхом на сенсации, а позднее написал сценарии «Мошенника» и «Главной новости», дважды удостоивался «Оскара». Он был таким поборником сионизма, что во времена британского мандата его фильмы были запрещены на том основании, что он «поддерживает еврейских террористов». Я никогда не думал, что через каких-то несколько месяцев буду

сидеть с ним рядом, освещая процесс Кастнера.

29 октября 1956 года вспыхнул Суэцкий кризис. В течение шести дней длинные колонны войск тянулись в южном направлении. В боях участвовали сто семьдесят пять тысяч израильских солдат и около ста тысяч англичан и французов. Иногда мне казалось, что я взял интервью у каждого из них. Я мотался в нелепой английской каске времен Первой мировой по всем направлениям, спал по два часа в сутки и без устали писал. «Маарив» послал на место событий своих самых опытных корреспондентов, а мне было дано указание им помогать. Которое проигнорировал: это была моя территория, и я не собирался быть здесь ничьим подмастерьем. Возможно, мне стоило вспомнить изречение Джозефа Кеннона, которым он подытожил сорок шесть лет своей работы в конгрессе США: «Маятник всегда возвращается».

Глава 22

Через несколько недель после окончания войны мама попросила меня приехать в Тель-Авив – познакомиться с ее новым мужем.

Мататияху Нахуми был первым ребенком, родившимся в Хадере. В детстве он переболел полиомиелитом и всю жизнь передвигался на костылях. Окончив среднюю школу, уехал в Германию изучать медицину, стал хирургом. Когда нацисты пришли к власти, уехал в Соединенные Штаты и женился на американке. Через несколько лет ее стали мучить галлюцинации, был поставлен диагноз «шизофрения». Нахуми оставил хирургию, освоил вторую специализацию – психиатрию – и ухаживал за ней до ее последних дней.

В то же время он начал работать психиатром в престижной клинике в Нью-Йорке и стал состоятельным человеком. Психиатрия в те дни не была так популярна, как сегодня, и однажды я спросил его, как так получилось, что из всех врачей именно он так разбогател. «Благодаря японцам», – последовал неожиданный ответ. Оказывается, в больнице его фамилию было принято писать Накуми, что для японского уха почти как для нас Коэн или Леви. Японцы, приезжая в больницу, обнаруживали, что там есть доктор-японец, и сразу же записывались к нему на прием. Когда ошибка вскрывалась, им уже было неудобно переходить к другому врачу, и Нахуми из Хадеры стал самым популярным японским психиатром в Нью-Йорке.

После смерти супруги Нахуми вернулся в Израиль и купил там замечательный пентхаус на престижной улице Дубнов в Тель-Авиве. Общие знакомые представили его маме и, после непродолжительных ухаживаний, они решили пожениться. Для меня это было несколько неожиданно, но я не сказал ни слова. Петер был в кибуце, я – в Беэр-Шеве. Пусть они скрасят друг другу одиночество.

Прежде чем мы расстались, мама вручила мне самый большой подарок, который я когда-либо получал, – связку ключей.

– Я переписала на тебя квартиру на улице Царя Соломона, – сказала мама, – она мне больше не нужна. Надеюсь, это поможет твоему возвращению в Тель-Авив и ты начнешь стажироваться, чтобы стать юристом.

Я не поверил своим ушам. Ни у кого из моих знакомых не было своей квартиры, да еще в центре Тель-Авива. Следуя

маминому совету, я поехал в «Маарив» и попросил о срочной встрече с Чиком, главным редактором.

– Хочу вернуться в Тель-Авив, – сказал я. – Вы обещали мне, что я смогу вернуться для учебы.

– Никуда ты не вернешься, – ответил Чик.

– Я уволюсь! – пригрозил я.

– Не утруждай себя, – холодно ответил он, – ты уже уволен.

Три дня я слонялся как лунатик, растерянный и утративший надежду. Потом поехал в Беэр-Шеву, чтобы собрать свои немногочисленные пожитки. Пошел попрощаться с Бетти и в саду за чашкой кофе рассказал ей о своих проблемах.

– Не волнуйся, мон шери, – сказала она, – ты талантливый мальчик, они еще позовут тебя.

Я поцеловал ее в последний раз, и мы расстались. Через год они с мужем открыли ночной клуб под названием «Последний шанс», который стал центром притяжения для всех чокнутых со всего юга. Бетти, которая всегда во всем всех опережала, и на этот раз была первой, начав в Израиле революцию шестидесятых. Впоследствии она пристрастилась к тяжелым наркотикам и умерла в возрасте тридцати семи лет.

Вернувшись в Тель-Авив, я долго таращился на пустые стены своей новой квартиры. Потом вдруг понял, что я не подавлен – мне просто скучно. Я всегда считал, что депрессия – это не следствие обстоятельств, она заложена в наших генах. В гетто я встречал людей, которые потеряли все, что у них было, и оставались полными оптимизма и жизнестойкости. Я знал немало людей, у которых было все – деньги, карьера, успешная семья, но им так и не удалось избавиться от постоянного чувства подавленности. К счастью, я относился к первым. Однажды утром я встал пораньше и на хорошо знакомом мне четвертом автобусе отправился на центральную автобусную станцию.

В «Уйкелет» меня приняли с особым удовольствием: во-первых, я был им нужен, во-вторых, они радовались моей неудачной вылазке в мир израильтян. Я начал работать на полную ставку и параллельно искать адвокатскую контору, готовую принять меня на стажировку. Но через две недели мне позвонил Шмуэль Шницер, заместитель главного редактора «Маарива», и пригласил зайти.

Шницер был в редакции белой вороной. Потрясающе образованный самоучка, высокий и грустный, в толстых очках, которые придавали ему сходство с филином. Голландское происхождение и некоторая замкнутость дали основания для прозвища Летучий Голландец. Кроме Карлебаха, он был единственным в руководстве «Маарива», кто мне симпатизировал.

– Мы хотим, чтобы ты вернулся, – сказал он.

– Что вдруг? – поинтересовался я.

– Начинается рассмотрение апелляции Кастнера, и я хочу, чтобы ты освещал процесс.

Я следил за судом над Кастнером издалека, охваченный гневом и отвращением. И не только потому, что был с ним знаком. Я понимал, насколько эта история отражает полное отсутствие у израильтян понимания того, что с нами произошло во время Катастрофы.

В наши дни, после десятилетий обнародования ужасающих свидетельств, понимание того, что законы существования в Европе во время Катастрофы отличались от всех известных человечеству, стало общим. А тогда, в пятидесятые-шестидесятые, коренные израильтяне относились к нам почти презрительно. «Почему вы не сопротивлялись? – спрашивали они обычно. – Почему шли как овцы на убой?» Они были евреями первого сорта, которые взялись за оружие и сражались, а мы были еврейчиками второго сорта, позволившими немцам уничтожать себя, не оказывая сопротивления.

В столовой «Маарива» в те годы работал прошедший через Аушвиц повар, у которого был вытатуирован синий номер на руке. Ветераны редакции называли его «мылом», намекая на известный план нацистов использовать жир евреев для производства мыла. «Эй, Мыло! – обращались к нему. – Что у нас сегодня: курица или жаркое?» Мыло неловко улыбался и наполнял их тарелки.

В эту атмосферу дело Кастнера вонзилось как отравленная стрела.

Рудольф Исраэль Режё Кастнер был главой Комитета по спасению венгерских евреев. В начале 1944 года, когда Адольф Эйхман приступил к реализации своего плана по уничтожению венгерского еврейства, Кастнеру удалось связаться с ним и предложить сделку: евреи заплатят грузовиками и деньгами, а немцы за это дадут им выехать. После сложных переговоров поезд, заполненный евреями, выехал в Швейцарию. Но власти остановили его в Берген-Бельзене. Кастнер не сдавался. Он снова начал переговоры – с посланником Гиммлера Куртом Бехером – и убедил его пропустить поезд. Тысяча шестьсот восемьдесят четыре еврея были спасены.

Однако израильтяне скривились. С какой стати заключать сделки с нацистами? Чиновник из Иерусалима по имени Малхиэль Гринвальд опубликовал обращение, в котором обвинил Кастнера в содействии немцам. «Мои дорогие друзья, – писал

он, – я слышу запах падали. Доктор Рудольф Кастнер должен быть уничтожен».

Потрясенный Кастнер подал на него в суд. Это должен был быть короткий и быстрый суд по делу о клевете, но за какие-то несколько недель все усложнилось. Гринвальд нанял Шмуэля Тамира, одного из самых известных в стране адвокатов, впоследствии ставшего министром юстиции.

Не в пользу Кастнера было и то, что он выполнил обещание, данное нацистской верхушке, – что окажет им помощь после войны, если они помогут ему спасти евреев. Он выехал в Германию на Нюрнбергский процесс и свидетельствовал в пользу Курта Бехера и других нацистов. Даже я, чьи симпатии были на его стороне, затруднялся объяснить этот странный поступок. Я не раз пытался поговорить с ним об этом, но он каждый раз уклонялся. Единственно возможным объяснением мне представляется то, что Кастнер в собственных глазах был европейским джентльменом, а европейские джентльмены выполняют свои обещания. Я не могу этого принять: именно «европейские джентльмены» убили моего отца и большинство евреев Европы.

Процесс превратился в цирк. Истец превратился в ответчика.

В какой-то момент Тамир использовал известную историю отправки десантников в помощь евреям Венгрии – чтобы показать, что можно было противостоять нацистам и другими путями. Он вызвал Катарину Сенеш, мать десантницы Ханы Сенеш, казненной нацистами. «Почему ты не спас мою дочь? – обрушилась Катарина на побледневшего Кастнера. – Ты должен был попытаться освободить ее». Кастнер промолчал. Что он мог ответить? Что если бы он вошел в кабинет Эйхмана и потребовал освободить Хану, то, скорее всего, оберштурмбаннфюрер просто достал бы пистолет и выстрелил ему в голову?

Это был ужасный, безнадежный диалог, в котором стороны отказывались слышать друг друга. Чем дальше продвигался судебный процесс, тем больше меня охватывало чувство злости и разочарования. Мне так и не удалось понять, как позволили себе те, кто прожили здесь всю войну, не имея ни малейшего представления о том, какой ад свирепствовал в Европе, учинить над нами суд за то, что мы стремились выжить любым путем.

В июне 1955-го судья Биньямин Халеви вынес приговор. «Кастнер продал душу дьяволу», – сказал он. Суд оправдал Гринвальда по всем пунктам обвинения, кроме одного, по которому обязал его заплатить штраф размером в одну израильскую лиру.

Рассмотрение апелляции было назначено на январь 1957 года, а я приступил к работе двумя месяцами ранее. На протяжении всего судебного процесса «Маарив» придерживался откровенно антикастнеровской линии, но хотел сохранить доступ и к противной стороне. Шницер даже просил меня не оставлять работу в «Уйкелет», цитадели Кастнера, чтобы я мог оставаться как можно ближе к трагическому герою этой истории. Когда я рассказал об этом Кастнеру, он рассмеялся. «Пусть ты будешь двойным агентом, – сказал он, – так хоть кто-нибудь услышит и мою версию».

Однако смех Кастнера был редким явлением в те мрачные дни. Он слабел, лицо его было серого цвета. Днем он проводил время в суде или со своими адвокатами, а потом работал в «Уйкелет» ночным редактором. Никто не видел, чтобы он спал; он терял вес, и его знаменитое высокомерие, которое позволило ему бесстрашно торговаться с худшими из убийц, исчезло.

Через несколько дней после начала судебного процесса мы с Кастнером обедали в арабском ресторанчике возле центральной автобусной станции. Мы сидели за столиком снаружи, и вдруг на один из мусорных баков запрыгнула кошка, столкнув с него металлическую крышку. Кастнер в ужасе вскочил со своего места. Когда он понял, что произошло, то потихоньку сел на место, на верхней губе проступила испарина.

– Они хотят убить меня, Томи, – сказал он. – Я получаю угрозы каждый день.

– Никто тебя не убьет, Режё, – сказал я, – они только болтают.

– Надеюсь, что ты прав.

4 марта 1957 года трое молодых людей, члены крайне правой подпольной организации, подкараулили Кастнера у подъезда его дома. Когда он вышел из машины, они выстрелили в него несколько раз и скрылись. Кастнера доставили в больницу, где он скончался от ран. Вскоре после убийства эти трое были задержаны и во всем сознались. Через пятьдесят два года один из них, Зеев Экштейн, намекнул в документальном фильме на то, что мы всегда подозревали: в этом деле была замешана израильская секретная служба – если не активным образом, то молчаливым согласием. Кастнер погиб, чтобы спасти руководство страны от позора.

Несмотря на смерть Кастнера, апелляционный суд продолжил свою работу и в январе 1958 года решил изменить приговор и снять с Кастнера все обвинения. Это было небольшим и очень запоздалым утешением. Пострадали все. Даже венгерская община разделилась на сторонников Кастнера и сторонников семьи

Сенеш. Я относился к числу первых, но сердце мое было переполнено сочувствием к бедной Катарине Сенеш, которая не понимала, что стала пешкой в игре сильных мира сего.

В 2003 году, во время официального визита в Будапешт, я попросил открыть для меня архив с протоколами суда и казни Ханы Сенеш. «Заключенная двадцати трех лет, – сухо, по-деловому писали ее убийцы, – состояние здоровья хорошее. Была подвергнута пыткам, но отказалась выдать своих товарищей или просить помилования. Из-за неточных выстрелов расстрельного взвода она мучилась довольно долго, прежде чем ее сердце не перестало биться».

Я сидел один в прохладном сумраке архива, читал и плакал.

Глава 23

Лорд Роберт Бутби, который был личным секретарем Черчилля, а затем в течение тридцати четырех лет членом парламента, рассказал мне однажды такую историю:

«В 1931 году я побывал у фюрера в Мюнхене. Когда я вошел в его канцелярию, он вскочил по стойке “смирно”, вскинул правую руку в нацистском салюте и крикнул: “Хайль Гитлер!” Мне ничего другого не оставалось, как тоже встать по стойке “смирно”, вскинуть правую руку и крикнуть: “Хайль Бутби!”»

Через несколько недель после гибели Кастнера до меня дошло, что пришло время мне выкрикивать свое имя.

Апелляционный процесс все еще тянулся, а интерес публики уже начал угасать, и я стал опасаться, что вскоре мне объявят, уже вторично, об окончании моей работы в «Маариве». Я решил, что стоит начать писать по-другому.

За исключением таких ярких звезд, как Карлебах и Кишон, журналистика в Израиле находилась по большей части под влиянием дотошной, скрупулезной немецкой прессы. В основном все придерживались известного правила пяти вопросов – кто, что, когда, где и почему, и чтобы знаки препинания стояли на месте. Это была очень профессиональная и тщательная работа, но скучная и сухая, как старая гренка.

В венгерской журналистике, на которой я был воспитан, существовал целый жанр, который никому в Израиле известен не был, – короткие, яркие и смешные заметки о людях. Не так был важен заголовок, как замаскированная булавка, скрепившая платье дамы из высшего общества, припрятанная бутылка джина у улыбчивого политика и цветастые наклейки авиакомпаний на футляре виолончели знаменитого музыканта.

Впервые в жизни я начал писать в собственном стиле.

У некоторых в «Маариве» это вызвало удивление, но мне было все равно. Если и уволят, я хоть буду знать, что попытался идти своим путем. Но довольно скоро стало понятно, что публике нравится этот новый стиль, и в моем скромном почтовом ящике начали скапливаться письма читателей.

Однажды утром я встретил в коридоре Шницера. Выходя из туалета, он вытирал руки бумажной салфеткой. Я кивнул ему и пошел дальше. Но он окликнул меня.

– Томи, – сказал он.

– Да? – обернулся я.

Видно было, что его занимает какая-то новая идея.

– Эти твои колонки, – сказал он неуверенно, – читателям, похоже, нравятся.

– Так говорят.

– Может, сделаешь такую колонку по пятницам? Бери у людей интервью и пиши про них веселые истории.

– Договорились. Когда начинать?

– На следующей неделе.

– Хорошо.

Я нарочито спокойно пошел дальше, спиной чувствуя, что он продолжает смотреть мне вслед, все еще сомневаясь, правильно ли поступил. Но как только я свернул за угол, то начал прыгать по ступенькам как сумасшедший. Своя колонка! Каждую неделю! Одна из секретарш, поднимавшаяся мне навстречу, остановилась, окинула меня обеспокоенным взглядом, развернулась и осторожно пошла в другую сторону.

Немного успокоившись, я спросил себя, что было бы, если бы Шницер не вышел по нужде тем утром. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, эта идея все равно пришла бы ему в голову, а возможно, что я на долгие годы остался бы в «Уйкелет» и закончил свою карьеру одним из ее руководителей. Жизнь складывается из очень многих «если», и лучше прыгать по ступенькам, чем разбираться во всем этом.

Моя колонка «Герои недели» стала популярной в одночасье.

Каждую неделю я брал интервью у трех-четырех человек и делал из них короткие эпизоды – по четыреста-пятьсот слов. Иногда мне казалось, что в Израиле нет человека, у которого я хотя бы пару раз не взял интервью. Шницер, лопаясь от гордости, написал: «Ты можешь быть выдающимся ученым, процветающим финансистом, многообещающим художником, молодым популярным поэтом или политическим интриганом – но если тебе еще не позвонили с приглашением на интервью к Лапиду, значит, ты еще не добрался до остановки под названием “Успех”».

Я не ограничивался израильтянами. Было много встреч с иностранцами. Молодое еврейское государство привлекало тогда всеобщее внимание, многие приезжали взглянуть на новое чудо собственными глазами. Они рассказывали миру о нас, а я рассказывал нашим о них.

За пять лет существования моей колонки я брал интервью у Ива Монтана и Симоны Синьоре, Рудольфа Нуриева и Коко Шанель, у Генри Киссинджера и Вилли Брандта, у Игоря Стравинского и Пабло Казальса, у Эллы Фицджеральд и Амалии Родригиш, Стэнли Мэтьюза и Артура Рубинштейна, Джона Гилгуда и Питера Селлерса и многих, многих других. Некоторые из них, как Харри Голден и Дэнни Кей, стали моими друзьями.

Больше всего им нравилось то, что я не задавал банальные вопросы, которыми журналисты терзали их повсеместно.

С музыкантами я говорил о политике, с политиками – о моде, а с законодателями моды – о военной истории. Луи Армстронг рассказал мне о днях, проведенных в тюрьме на юге Соединенных Штатов, Марсель Марсо – о своем детстве в глубоко религиозной еврейской семье в Страсбурге, а Елена Рубинштейн – о своей самой дорогой в мире коллекции миниатюрной мебели. Когда она после интервью встала, я понял, откуда взялось ее увлечение: легенда косметического рынка сама была миниатюрной, ростом не более ста пятидесяти сантиметров.

Глава 24

В 1999 году, вскоре после моего избрания в Кнессет, я ощутил, что в моей жизни чего-то не хватает. Вначале мне не удавалось понять, в чем дело, но потом я сообразил: мне хочется продолжать писать. Сорок пять лет я писал каждую неделю, иногда каждый день. Из трех главных муз греческой мифологии моей самой любимой была как раз Мелете – муза практики и повторения. Пианисты музицируют каждый день, художники каждое утро приходят в студию. Писатели должны писать постоянно или хотя бы регулярно. Я стал заниматься полузабытым ежемесячником, который издавала партия «Шинуй». Я писал статьи, редактировал, корректировал, придумывал заголовки и даже давал советы типографии. У меня было все, что мне было нужно. Кроме читателей.

Для одного из номеров я брал интервью у доктора Рут Кальдерон, основавшей курсы «Элуль» и колледж «Альма», основной задачей которых было изучение иудаизма нерелигиозными евреями. Естественно, зашел разговор о религии.

Я попытался поддеть Рут: «Фрейд считает, что религия – это невроз. Что-то вроде болезни».

Она улыбнулась:

– А разве он не то же самое говорит о любви?

В 1958 году любовь всей моей жизни была совсем рядом, но я об этом еще не знал.

А пока я бессовестно наслаждался своим новым статусом. Мне было всего двадцать семь, а со мной уже вовсю любезничали политики, министры обращались ко мне по имени, женщины, которые всего лишь год назад проносились мимо меня, не замечая, вдруг стали посматривать на меня пристально.

Однажды утром на улице я встретил очень красивую девушку – из тех, кого французы называют «петит», миниатюрная. Она застенчиво поздоровалась со мной, и тогда я узнал ее. Это была Шуламит, дочь Давида Гилади, которую я видел в архиве «Маарива» и не осмелился с ней заговорить. Я спросил, как у нее дела, и она рассказала, что отец получил назначение собкором в Париж и она уезжает туда вместе с родителями. Я пожелал ей успеха, и вдруг она сказала: «Может, напишешь мне?» – «С удовольствием», – ответил я.

Пока она жила в Париже, а позднее в Лондоне, мы пару раз обменялись письмами, но у меня было ощущение, что она не

воспринимает меня серьезно. Через два года редакция отправила меня делать репортаж о Международном конкурсе на лучшее знание Библии. Там я снова встретил Шуламит, которая была с отцом. За ней как тень следовал Аарон Долев, бывший тогда одним из лучших репортеров газеты. Долев был серьезным конкурентом: он был всем, чем не был я, – родившийся в Тель-Авиве, сдержанный и элегантный, знающий себе цену (несколько завышенную, если спросите меня). Карлебах нашел его в коридорах журнала «Этот мир» и сделал специальным корреспондентом, которому поручалось все, к чему стремился я: начиная с интервью с премьер-министром и кончая командировками за границу. На этот раз я решил не уступать.

И стал пылко ухаживать за Шуламит. А весь «Маарив» с ухмылкой наблюдал за нашим с Аароном соперничеством. Цветочные торговцы Тель-Авива стремительно обогащались. Каждый из нас пускал в ход свои приемы: Долев – подчеркнутую вежливость, я – свою обычную громогласность. Проблема была в том, что невозможно было понять, – ни тогда, ни в последующие пятьдесят лет, – что же Шула на самом деле думает. Она была тихая и сосредоточенная, хрупкая, как венецианское стекло, а мужчины пробудили в ней трогательную застенчивость. Я впервые встретил девушку, которой не доставляло удовольствия находиться в центре внимания.

Только в свой двадцать восьмой день рождения я получил знак, что, возможно, лидирую в соревновании за ее сердце. Мы собрались в «Кассите», и Шула преподнесла мне книгу в подарочной упаковке. Я отошел в сторону и разорвал обертку. Это был трактат «Поэтика» Аристотеля.

Через несколько недель я поехал в Иерусалим, чтобы взять интервью у Дэнни Кея. Перед выходом я позвонил Шуле и спросил, как она поживает. «Все в порядке, – сказала она, – у меня Долев».

На интервью я приехал несчастный и подавленный. Еврей Кей, будучи человеком теплым и чутким, заметил, что я рассеян, и спросил, в чем дело. Я рассказал ему, что встретил любовь своей жизни, но подозреваю, что ее сердце отдано другому.

До конца жизни я был благодарен ему за ответ. «Оставь ты это интервью, – сказал он, – я найду для тебя время завтра. Поезжай в Тель-Авив и сделай ей предложение».

Я выскочил на улицу и бросился к такси. «В Тель-Авив, – сказал я водителю. – И побыстрее».

Когда мы проезжали Иерусалимские холмы, я почувствовал, как во мне закипает гнев. При всем уважении к рассуждениям Аристотеля о поэтике, мне вспоминалось другое его изречение,

гораздо больше подходившее мне по состоянию души в этот длинный, как вечность, час: «Каждый может разозлиться – это легко; но разозлиться на того, на кого следует, и в той мере, на сколько это нужно, и в тот момент, когда это нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, – это дано не каждому».

Когда мы оказались в Тель-Авиве, я уже был зол не на шутку. Вбежал в дом и встал перед Шулой.

– Мне надоело, – заорал я, – мы женимся!

– Хорошо, – сказала Шула, – но зачем так кричать?

Глава 25

Вполдевятого утра зазвонил телефон. Приоткрыв один глаз, я с трудом разглядел тени предметов в незнакомом гостиничном номере. Голова трещала от выпитого, во рту пересохло. Я пошарил рукой и нашел трубку.

– Ну? – весело спросила мама. – Как все прошло?

– Что?

– Ну, ты сам знаешь.

Я посмотрел налево. Рядом над подушкой приподнялась темноволосая голова, и на меня смущенно уставилась пара черных глаз. Только тут до меня дошло, что я уже двенадцать часов как женат.

– Господи, мама, я перезвоню, когда проснусь.

Вешая трубку, я еще успел услышать, как она смеется.

За неделю до назначенного срока свадьба чуть не сорвалась. Мы отправились зарегистрировать брак в сопровождении двух свидетелей – Кишона и Доша, но, как только переступили порог запущенного и обшарпанного раввината, Шула перепугалась и заявила, что уходит домой. Я уставился на нее открыв рот, не в состоянии вымолвить ни слова, но на мое счастье Эфраим не растерялся. «Подожди здесь», – сказал он, взял Шулу под руку и повел прогуляться, объясняя ей, что все невесты испытывают страх в последний момент перед замужеством. «Идиот, – шепнул он мне, вернувшись, – ты что, не понимаешь, что она девственница?»

Я был потрясен. Всю жизнь меня окружали сексуально раскрепощенные женщины, а женюсь я на последней девственнице Тель-Авива.

Это незначительный эпизод, но он уже тогда обозначил в наших взаимоотношениях то, что сохранилось до последнего дня моей жизни: я всегда был бычком с колокольчиком на шее, шумным и жизнелюбивым, всегда в окружении друзей, скорым на смех и на гнев, а она была – и остается – погруженной в себя, чувствительной художественной натурой, сосредоточенной на своем внутреннем мире, поэтом, которого встречи с повседневностью наполняют тревогами.

Свадебная церемония проходила в Доме журналистов в Тель-Авиве 15 февраля 1959 года. Дату выбрали не случайно. «Маарив» был основан 15 февраля, и мы по традиции отметили годовщину, приурочив к ней свадьбу, чтобы сэкономить на расходах. Сама церемония бракосочетания состоялась тем же утром во дворе

дома новоиспеченных тестя и тещи на улице Мапу в Тель-Авиве. Шула была в белом, и тому, кто станет утверждать, что когда-нибудь была невеста красивее, придется предстать передо мной на небесном ринге. Возле нее стояла мать, Хелен, и бросала на меня подозрительные взгляды. У дочери торговца яйцами из Трансильвании не вызывал особого воодушевления честолюбивый эмигрант, которого выбрала ее дочь. Она считала, что я хочу продвинуться в «Маариве», женившись на дочери одного из главных в газете людей, и не утруждала себя тем, чтобы это скрывать. Я со своей стороны считал ее отношение снобизмом – учитывая, что она начинала свой трудовой путь в Израиле погонщицей ослов на плантациях Кфар-Сабы, и тоже не старался это скрыть. Не прошло и пяти минут, как я женился, а у меня уже была самая что ни на есть классическая теща.

Оглядываясь назад, я думаю, что был к ней несправедлив. Хелен Гилади была женщиной эмоциональной, с прекрасным чувством юмора, у нее была молочно-белая кожа и черные цыганские глаза. Она закончила всего шесть классов, но любила литературу и театр; говорила, писала и читала на иврите, английском, французском, немецком, венгерском и румынском; едва сводя концы с концами, она все же отправила дочь на уроки живописи и драмы и в течение двенадцати лет выплачивала деньги за рояль, купленный для нее в Иерусалиме в магазине «Король роялей Клейнман».

К ужасу ее молчаливого супруга, у Хелен была склонность к розыгрышам. Бывало, в шоколадных шариках гостям попадался жгучий перец, или к чаю подавали кубики соли вместо сахара. Ее шутки были язвительными и саркастичными, ее острого языка не избежал никто. Годами я был ее главной мишенью, и обычно не оставался в долгу. Только когда ее не стало, я понял, как сильно мне ее не хватает.

Во время церемонии бракосочетания я очень волновался и был страшно напряжен, пока не вспомнил историю, которую рассказал мне незадолго до того американский оперный певец Ричард Такер (настоящее имя которого было Реувен Тикер): однажды знаменитый Артуро Тосканини выбрал его на главную роль в «Аиде», которую ставили в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Во время репетиции последнего акта Тосканини вдруг остановил оркестр и спросил: «Господин Такер, почему вы так серьезны?» Такер продолжал петь с мрачным выражением лица, соответствующим образу Радамеса, которому в конце сцены выносят смертный приговор. Тосканини снова остановил оркестр. «Ты же идешь на смерть! – заорал он. – Так улыбайся!» И улыбка озарила мое лицо.

В день сорокапятилетия нашей свадьбы мы поехали с детьми в Галилею, а вечером ужинали в ресторане с удивительно подходящим названием «Усадьба Шуламит». После второй бутылки вина Мерав спросила меня: «В чем ваш секрет? Как оставаться вместе столько лет?»

– Есть три условия, – ответил я. – О первом дети – даже в вашем возрасте – не хотели бы слышать…

Зазвенели бокалы, смешки затихли.

– Второе условие, – продолжал я, – это общность интересов. Я знаю, что есть счастливые браки людей из разных культур, но нам было гораздо легче, поскольку мы оба вышли из одной среды. Мы оба любим Чехова и Моцарта, английскую культуру и американскую литературу, и мы оба посвятили свою жизнь слову. Мама – в литературе, а я – в журналистике.

Я на секунду остановился и огляделся вокруг. Мои зять и невестка переглянулись и улыбнулись. Подобно Яиру, его жена Лихи – писатель и автор колонки в газете. Подобно Мерав, ее супруг Дани – известный клинический психолог. Они прекрасно поняли, о чем я говорю.

– Ну а третье условие, – заключил я, – это нечто необъяснимое, называется «любовь». Она не имеет точного определения, но живет и пульсирует, как сердце. И если ее нет, то все остальное бесполезно. На протяжении всех сорока пяти лет я любил вашу маму всем сердцем, а в последние пару недель, кажется, и она начала испытывать ко мне некоторую симпатию.

Все захлопали, а я не смог удержаться от своей склонности к театральным жестам и добавил: «Сорок пять лет назад, сразу после брачной церемонии, я снял свое обручальное кольцо, потому что оно мне мешало. На следующий день оказалось, что я его потерял, и с тех пор я не носил обручальное кольцо. Сегодня я решил купить нам обручальные кольца». Я достал маленькую бархатную коробочку, и Шула сказала: «Ой, Томи» – как всегда, когда я приводил ее в смятение на людях, и мы надели друг другу кольца.

Почти пять лет спустя, через считаные минуты после того, как мое сердце перестало биться, Яир бережно снял кольцо с моего пальца и носит его по сей день. Надеюсь, оно принесет ему не меньше счастья, чем принесло мне.

Глава 26

Когда сенатор Губерт Хамфри хотел пошутить, он наклонялся вперед так, что вам оставался виден только его высокий лоб. «Право быть услышанным – священно, – сказал он мне, – но оно не означает автоматически права быть воспринятым всерьез».

Это было одно из любимых высказываний влиятельного сенатора из Миннесоты, и он поделился им со мной в том непринужденном стиле, который позволяет американцам становиться вашими хорошими друзьями уже через пять минут после знакомства. Через несколько дней после интервью выяснилось, что Хамфри, который впоследствии стал вице-президентом (и был близок к президентству, проиграв Никсону всего 0,7 процента голосов), воспринял меня всерьез.

Я был женат ровно три недели, когда мне позвонили из американского посольства.

– Вы произвели впечатление на сенатора, – произнес голос в трубке, – и он организовал для вас стипендию Госдепартамента, которая предназначается для перспективных молодых людей со всего мира. Мы предлагаем вам в течение двух месяцев поработать журналистом в местной американской газете в городе Линн в штате Массачусетс, а затем в течение месяца путешествовать по Америке за наш счет. Вас интересует такое предложение?

– Интересует?! Шутите?!

Свой медовый месяц мы провели в Эйлате, в гостиничном номере без кондиционера, а спустя три месяца нам предстояло отправиться в настоящее свадебное путешествие.

Первые десять дней мы провели в Нью-Йорке. Сегодня, когда молодежь попадает в Нью-Йорк, она прежде всего испытывает дежавю: все уже столько раз видели Мэдисон-авеню и Таймс-сквер в фильмах и сериалах, что, кажется, уже не раз побывали там. Но тогда, в конце пятидесятых, энергетика Америки потрясла меня как электрический разряд. Я приехал из страны, где лед продавали с телег с запряженными в них лошадьми, мясо и яйца были все еще в ограниченном доступе, а здесь каждая семья имела две машины и двухкамерный холодильник, а каждый мужчина – по костюму на каждый день недели. Это изобилие ошеломляло.

Однако Нью-Йорк, как будет рад объяснить вам любой американец, не живущий в нем, – это не Америка. Нью-Йорк – это Большое Яблоко, а Америка – страна маленьких городков. Нью-

Йорк – космополит, а Америка – провинциал. Нью-Йорк никогда не спит, а Америка гасит свет в полдесятого. Нью-Йорк расточительный, богемный и легкомысленный, а в глубоко пуританской Америке главные ценности – семья и работа. Короче говоря, Нью-Йорк – это Нью-Йорк, а Америка – это город Линн, штат Массачусетс.

Первые поселенцы прибыли в город Линн в 1629 году, и с тех пор там больше ничего особенного не происходило. Самой большой гордостью жителей Линна было то, что во время Войны за независимость солдаты континентальной армии были обуты в сапоги, сделанные в их городе. В XX веке обувную промышленность сменила электронная, но большая часть восьмидесятитысячного населения работала в соседнем Бостоне, а Линн был и остался типичным американским «спальным городом». Когда мы приехали туда, Шула, глядя в окно такси, заметила: «Смотри, Томи, на улицах есть машины, но совсем не видно людей».

Самым большим отелем в Линне был «Оушен-Хаус», но мы не могли в нем остановиться, поскольку всем было известно, что его владельцы не сдают номера евреям. Это, конечно, не произносилось вслух, но каждый раз, когда еврей пытался снять номер, ему с настойчивой вежливостью объясняли, что мест нет. Через десять лет один мой приятель, живущий в Линне, прислал открытку с таким текстом: «Томи, ты, наверное, будешь рад узнать, что “Оушен-Хаус” сгорел дотла».

Я работал в «Линн дейли таймс». Госдепартамент устроил нас на просторной вилле, принадлежавшей гостеприимному еврейскому семейству Тарни, которые ни за что не согласились принять от нас деньги за проживание и, более того, предоставили мне в пользование одну из своих машин – видавший виды «фольксваген» сороковых годов выпуска.

Однажды вечером (или, как любил называть это время Кишон, «одним вчеравечером») мы с Шулой поехали на автобусе в джазовый клуб в Бостоне. В два часа ночи мы обнаружили, что последний автобус уже ушел, и стали спрашивать в клубе, не едет ли кто-нибудь в Линн. Четверо черных парней, сидевших за соседним столиком, сказали, что они едут в ту сторону и будут рады нас подбросить. Мы все втиснулись в большой «шевроле» и всю дорогу весело болтали о концерте, на котором побывали. Утром госпожа Тарни сказала: «Вы вчера поздновато вернулись». Мы рассказали ей, как чуть не застряли в Бостоне на всю ночь, но, к счастью, нас подвезли. Она чуть не упала в обморок. «Вы сели в машину с четырьмя неграми в два часа ночи?! – переспросила она. – Вы сошли с ума?! Это чудо, что вас не убили!» Мы

растерянно уставились на нее. Почему? В чем, собственно, проблема?

Спустя много лет, сидя в ресторане «Рафаэль» в Тель-Авиве в компании с афроамериканцем, приятным и уверенным в себе человеком, я рассказал ему эту историю. Он искренне смеялся. Звали его Барак Обама.

Через два месяца мы попрощались с семейством Тарни и отправились в долгое путешествие. За месяц мы объездили Америку вдоль и поперек на маленьких самолетах и больших автомобилях, наблюдая вблизи, сами того не подозревая, ту Америку, которой предстояло вскоре исчезнуть. Америка до войны во Вьетнаме, до хиппи, до марша Мартина Лютера Кинга на Вашингтон, Америка наивная и консервативная, величайшая рок-звезда которой, Элвис Пресли, мог прервать свою карьеру для того, чтобы пойти служить в армию.

В каждом городе, в который мы приезжали, нас, согласно плану Госдепартамента, приветливо принимала какая-нибудь семья. Мы гостили у мормонов в Солт-Лейк-Сити, проводили время в Голливуде у бассейна в обществе легендарного венгерско-еврейского продюсера Джо Пастернака, а вокруг нас покачивали бедрами длинноногие девицы в бикини, пытавшиеся привлечь его внимание. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Сан-Франциско, Чикаго, Далласе, Сан-Антонио, Шарлотте, Гранд-каньоне. Я не могу точно объяснить почему, но у меня – европейца Старого Света – сразу возникло взаимопонимание с американцами. Я понимал их, а они меня – мы говорили на одном языке еще до того, как мой английский стал свободным.

В Лас-Вегасе нас принимал Эйб Гринспен, еврей, редактор местной газеты, имеющий связи с итальянской мафией. За все три дня нашего пребывания никто не согласился взять с нас ни цента. Мы пребывали в такой эйфории от неожиданной экономии, что спустили все деньги за рулеткой, пока у нас не остался всего один доллар. Шула в порыве отчаяния поставила его на зеро. Колесо крутилось и крутилось, а когда остановилось, то оказалось, что мы вернули все, что проиграли до того. Сидевшая рядом еврейская старушка с фиолетовыми волосами повернулась к нам и сказала на идиш: «А теперь убирайтесь отсюда и больше не возвращайтесь». Так мы и сделали.

Мы отклонились от маршрута только однажды: чтобы навестить моего приятеля Гарри в городе Шарлотт, Северная Каролина.

Гарри Голден (которого изначально звали Гершель

Голдхирш) был маленький, толстый, умный и смешной еврей. Мир полон маленьких, толстых, умных и смешных евреев, но Гарри сделал это своей профессией. Он вырос в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, работал по ночам на шляпной фабрике, чтобы оплачивать свое образование, стал учителем, затем журналистом, а позднее – неудачливым бизнесменом, замешанным в афере с акциями и отсидевшим пять лет в федеральной тюрьме. Выйдя на свободу, он покинул Нью-Йорк и приехал в Шарлотт, где большинство людей еврея в жизни своей не видели.

Гарри стал автором постоянной колонки в самой большой газете в Шарлотте и лидером движения против расовой дискриминации (и, естественно, самым смешным персонажем в нем). В 1942 году он начал издавать собственную газету «Шарлоттский Израилит». Выходила она нерегулярно. Каждый раз, написав достаточно страниц остроумных размышлений, он просто распечатывал их и рассылал пятидесяти тысячам своих подписчиков, среди которых числились многие влиятельные люди Америки, включая семьдесят пять сенаторов. Его первая книга «Только в Америке» стала грандиозным бестселлером, и даже превратилась в пьесу. Бывший заключенный стал богатым и знаменитым, курил толстые кубинские сигары и наслаждался каждой минутой жизни.

Мы познакомились с Гарри в Тель-Авиве, когда он приехал готовить материал об Израиле, а я пришел интервьюировать его. Мы сразу подружились. Ему, правда, был шестьдесят один год, а мне только двадцать семь, но, видимо, он увидел, что у меня есть шанс со временем превратиться в толстого и смышленого еврея. После того как я взял у него интервью, он нанял меня собирать материал для серии статей, которую готовил об Израиле, и мы с ним исколесили всю страну. В последний день его пребывания в Израиле я пришел попрощаться в гостиницу и был рядом с ним, когда он рассчитывался. Генеральный менеджер отеля вышел из своего кабинета, расплываясь в улыбке, и вернул Гарри его конверт с толстой пачкой банкнот. «Господин Голден, – сказал он, – мы гордимся тем, что такой знаменитый человек, как вы, решил поселиться в нашем отеле. Администрация решила не взимать с вас плату».

Гарри взял конверт, скомкал в ладони и вложил мне в руку.

– Вот, такова жизнь, Томи, – сказал он, – когда я был беден, то не мог и мечтать о том, чтобы жить в таком отеле. А сейчас, когда я богат и могу себе это позволить, они не хотят брать с меня денег.

День, который мы с Шулой провели с ним в Шарлотте, запомнился мне отчетливее, чем вся поездка. Своим безмерным

обаянием и чувством юмора Гарри умудрился в считаные минуты преодолеть даже врожденную застенчивость Шулы, засыпав нас анекдотами на свою любимую тему – евреи в Америке.

– У вас, израильтян, – сказал он, – есть большое преимущество. Несмотря на арабов, вы свободны от страха. Американский еврей боится, несмотря на то что бояться ему уже нечего. Но тени прошлого преследуют его. Вот приглашают меня выступить в одном городе, а после выступления мы едем в гости к одному богатому местному еврею. Он везет меня на свою виллу на «кадиллаке», у него элегантная жена, у которой есть прислуга, и живет она по-королевски. У него триста наемных работников, он каждый год путешествует в Европе. Его уважают, ему льстят, у него все хорошо. Мы болтаем, пьем виски. После пятого стакана, ближе к полуночи, этот еврей встает, подсаживается ко мне поближе и почти шепотом спрашивает: «Голден, ты же умный еврей, скажи, что с нами здесь будет?»

Через два года мы снова встретились с Гарри, когда он приехал в Израиль вести репортаж с процесса над Эйхманом для журнала «Лайф». Мы оставались друзьями до самой его смерти в 1981 году. Ему тогда было семьдесят девять, и всю жизнь он слишком много ел, слишком много пил и слишком много курил. Но всегда придерживался принципа Губерта Хамфри: ничего не воспринимать слишком близко к сердцу.

Глава 27

Моя приятельница Дженни Лебель процитировала в одной из своих книг мое высказывание о том, что жизнь строится не по принципу «или – или», а по принципу «и то и другое». Она строится из параллельных линий, которые, не пересекаясь, бесконечно тянутся от частного к национальному, от общего к личному, от общества к индивидууму. Например, мой май 1960 года состоял из воров, обезьян, младенцев и нацистских преступников.

Месяц начался с того, что, вернувшись однажды вечером домой и открыв дверь, мы поняли, что в квартиру забрались воры. В прихожей все было перевернуто вверх дном, все ящики выдвинуты, мебель опрокинута. «Может, он еще здесь, – прошептал я Шуле, – оставайся на месте». Я прошел внутрь. Спальня выглядела так, как будто по ней прошелся торнадо. Я приоткрыл двери в ванную, в туалет – никого. Оставалась гостиная. «Оставь, – прошептала Шула, – давай вызовем полицию».

В ту же секунду из гостиной раздался страшный стук. У нас кровь застыла в жилах, но, будучи сержантом запаса армии Израиля, я не мог потерять лицо. Взяв на кухне швабру, я с грохотом вломился в гостиную, размахивая во все стороны своим оружием. Там никого не было. Я был сбит с толку, и вдруг сзади раздался жуткий вопль. Я оглянулся: Шула, стоя в дверях гостиной, показывала наверх. На верхней книжной полке сидела обезьяна и смотрела на нас, сверкая глазами. Маленькая, волосатая, со светлым брюшком и мордой злого старика.

Мы растерялись. Что можно сделать, когда в ваш дом забралась обезьяна? «Она, наверное, сбежала из зоопарка», – сказала Шула. Это было вполне вероятно, потому что тогда зоопарк находился в центре Тель-Авива, в двухстах метрах от нашего дома.

Я позвонил в зоопарк и спросил, все ли обезьяны у них на месте. «Сейчас проверим», – ответил мужской голос, нисколько не удивившись моему вопросу. Через несколько минут он вернулся и сказал, что все обезьяны на месте. «Но в городе сейчас выступает цирк “Медрано”, – сказал он, – может, ваша обезьяна сбежала оттуда».

Я позвонил в «Медрано».

– Не пропадала ли у вас обезьяна?

– Конечно, – обрадовались на другом конце провода, – вы нашли ее?!

Через полчаса появился дрессировщик, снял обезьяну с книжной полки и пару раз шлепнул по попе. Оба ушли не извинившись. Только тогда Шула подняла книгу, которую обезьяна сбросила на пол. Вы можете решить, что я все это выдумал, но Шула – свидетель: это была книга Шмуэля Йосефа Агнона «Гость на одну ночь».

Через несколько дней, вернувшись домой с работы, я застал Шулу, разглядывающей из открытого окна эвкалипты, с улыбкой Моны Лизы на устах. Я спросил, все ли в порядке. «Я беременна», – сказала она.

Удалось ли мне скрыть, что слезы в моих глазах были слезами не только радости, но и боли? Я плакал от радости, что стану отцом, и от сожаления, что моему отцу не довелось дожить до этого.

Прошло еще несколько дней, но майские чудеса еще не закончились. Двадцать третьего мая я сидел напротив того же самого окна и (поскольку улыбаться загадочной улыбкой мне не свойственно) просто слушал радио. Предстояло выступление Бен-Гуриона в Кнессете. Председатель ударил молоточком, и премьер-министр прокашлялся. Он был необычайно взволнован.

– Я уполномочен сообщить Кнессету, что недавно израильской службой безопасности был обнаружен один из главных нацистских преступников Адольф Эйхман…

Я бросился на улицу, стал прыгать и скакать как ненормальный, бросался обнимать всех попадавшихся мне навстречу. Вскоре я доскакал до офиса «Маарива» и ворвался внутрь с криком: «Эйхмана поймали! Они поймали Эйхмана!»

– Мы знаем, – успокаивали меня, – не волнуйся, уже решено, что ты будешь в составе группы, освещающей этот процесс.

Сегодня это трудно понять, но до суда над Кастнером пять лет назад лишь немногие израильтяне знали, кто такой Эйхман, в то время как у меня при упоминании этого имени стыла кровь в жилах: подпись Эйхмана стояла на приказе, с которым забрали моего отца 19 марта 1944 года, он отправил бабушку Эрмину в Аушвиц и дядю Ирвина в Дахау. Гитлер был дьяволом далеким, выкрикивавшим речи с пеной у рта из своего бункера в Берлине. Эйхман же был дьяволом, которого мы знали.

Его поимка ознаменовала конец эпохи замалчивания. Это было коллективное землетрясение, извержение вулкана чувств, лава воспоминаний, ломка нашего сознания. Пятнадцать лет молчания подошли к концу. Выжившие заговорили. Вначале нерешительно, затем их невозможно стало остановить. Высокомерие коренных израильтян испарилось. Вначале его сменил шок, затем понимание, а в конечном итоге – молчаливое

признание того, что между ними и нами нет разницы. Впервые люди стали спрашивать меня о том, как я через это прошел. И впервые я отвечал.

Однако только сорок семь лет спустя мне удалось выразить то, что все мы тогда чувствовали. На представительной конференции в День Катастрофы в музее «Яд ва-Шем» я обратился к затихшему залу: «Все мы – беженцы от Катастрофы. Даже те, кто там не был. И те, кто тогда еще не родился. Любой и каждый из нас – беженец от Катастрофы».

Жизнь – она и то и другое.

5 ноября 1960 года родилась наша старшая дочь Михаль.

11 апреля 1961 года я сидел в Доме народа в Иерусалиме и видел, как Эйхмана посадили в стеклянную клетку. Я, как и все, удивился, каким он был маленьким. Как удалось такому серенькому чиновнику в очках уничтожить такого жизнелюбивого человека, как мой отец?

Поднялся генеральный прокурор Гидеон Хаузнер. Его вступительная речь стала одной из самых знаменитых в истории израильской юриспруденции. Тем же вечером я сидел вместе с ним и вторым прокурором, впоследствии судьей Габриэлем Бахом, и они рассказывали мне, как снова и снова переписывали вступительную речь, пока вдруг не осознали, что, в отличие от любого другого процесса, они будут говорить не от имени Государства Израиль, а от имени жертв.

> *«Я стою сейчас перед вами, судьи Израиля, обвиняя Адольфа Эйхмана. Я не один – со мной шесть миллионов обвинителей. Но они не могут подняться, указать на подсудимого и произнести: “Я обвиняю!” Потому что это их пеплом покрыты холмы Аушвица и устелены поля Треблинки, это их пепел развеян в лесах Польши. Их могилы разбросаны по всей Европе.*
>
> *Их кровь вопиет, но их голос не слышен. Поэтому за них буду говорить я. От их имени я предъявлю это страшное обвинение…»*

Не знаю почему, но из всей его речи самое большое впечатление на меня произвела одна деталь. Произнеся слова «… они не могут указать на подсудимого…», Хаузнер поднял руку и пальцем указал в сторону Эйхмана. Если бы мне нужно было определить, в какой точно момент, в какой точке я окончательно стал израильтянином, где завершился процесс, начавшийся на корме утлого суденышка, когда я стал частью этой страны так же, как она стала частью меня, – это был тот самый момент: когда

Хаузнер указал на Эйхмана своим беспощадным пальцем.

Судебный процесс длился восемь месяцев и истрепал все мои нервы. Большую часть времени я проводил в Иерусалиме, слушая день за днем свидетельства ужасов, а иногда, когда уже не мог это выносить, сбегал в Тель-Авив повидаться с женой и нашей новорожденной дочерью. Не могу сказать, что я большой поклонник младенцев (они не умеют играть в шахматы), но не мог нарадоваться этим маленьким пальчикам и улыбке, которая обнажала первый молочный зуб.

Только это были редкие утешения. Ночами я ворочался в постели, одолеваемый кошмарами времен войны, которые смешались со сценами суда. Кто видел, как писатель К. Цетник, в белом костюме, рассказывает о том, как каждый день группу заключенных его барака строили и уводили на смерть: «Почти два года каждый день они уходили, а меня всегда оставляли. Я вижу их, они смотрят на меня, я вижу их стоящими в этой очереди…», затем вдруг теряет сознание и падает в зале, тот никогда этого не забудет.

Однажды вечером в темном баре отеля «Царь Давид» под усиленной охраной я брал эксклюзивное интервью у защитника Эйхмана, доктора Роберта Серватиуса из Германии. Это был седой, полный и энергичный человек, который, если бы не холодные голубые глаза, выглядел как разносчик пива в Мюнхене.

– Почему вы согласились защищать его? – спросил я.

Серватиус вздохнул.

– Его друзья не могли взять на себя его защиту, а враги не хотели, – сказал он. Поняв, что ответ меня не устраивает, он добавил: – Я хотел удостовериться – своими глазами и ушами, – в чем состояли преступления нацистов. Да, я знаю, что они уничтожили европейское еврейство, но хочу понять, кто за это в ответе. Если будет доказано, что это Эйхман, его надо будет повесить. Но это надо доказать.

Мне хотелось его ударить, но я понимал, что Серватиус – живое доказательство тому, что жизнь – она и то и другое. Среди нацистов он считался человеком, на которого нельзя положиться, поскольку выступал защитником знаменитого еврейского аферист Игнаца Тимоти Требич-Линкольна, обвиненного в мошенничестве. Для евреев он был адвокатом нациста, а для нацистов – защитником еврея.

Приговор Эйхману, содержащий сотни страниц, зачитывался в течение трех дней. 13 декабря 1961 года, за две недели до моего тридцатилетия, он был приговорен к смертной казни. Лучшего подарка на свой день рождения я не мог и представить.

С Гидеоном Хаузнером мы оставались дружны до самой его смерти. У нас было много общего. Мы оба были юристами, членами Кнессета, министрами, оба занимали должность руководителя «Яд ва-Шем». Он скончался 15 ноября 1990 года, но я не был на его похоронах, поскольку это и дата гибели моей дочери Михаль, я был на ее поминовении.

Глава 28

Мы с Шулой стоим на светофоре. Горит красный свет. Я жду, жду, в конце концов поворачиваюсь к ней и возмущенно говорю:

– Ну черт возьми, этот светофор сломан!

Она хохочет.

– И что тут смешного? – раздражаюсь я.

– Уже тридцать лет каждый раз, когда зажигается красный свет, ты говоришь мне, что светофор сломан.

Я собираюсь что-то ответить, но тут зажигается зеленый, и мы двигаемся с места.

Всю жизнь я был человеком вспыльчивым.

Мои родные и близкие часто говорили о разнице между моим поведением на публике – нетерпеливым и агрессивным – и в узком кругу, где я был человеком спокойным, напоминающим медвежонка, которого всегда можно умиротворить с помощью хорошей колбасы или куска торта. И то и другое верно. Они знали, что под умиротворенностью тлеет уголек, который может вспыхнуть в любой момент. Однажды на приеме писательница Элеонора Лев сказала мне, что не понимает, чем я ей симпатичен.

– Действительно, – вмешался журналист из «Хаарец» Гидеон Самет, стоявший рядом, – все постоянно задают себе этот вопрос: Томи Лапид – такой невыносимый во всех отношениях тип, так почему же мы все-таки так ему симпатизируем?

– Да, – отозвался я. – А про тебя люди всегда спрашивают себя: Гидеон Самет – такой во всех отношениях правильный, почему же мы его терпеть не можем?

Довольно скоро после моего ухода из политики (или скорее после того, как она оставила меня) моя дочь Мерав – психоаналитик – написала мне письмо, в котором пыталась объяснить эту особенность моей натуры.

«Это отпечаток Катастрофы, – писала она, – не в том смысле, что она подавила тебя, а как раз в том смысле, что это из-за нее ты не можешь ни секунды переносить ощущение слабости. Оттуда вся эта твоя борьба не на жизнь, а на смерть. Вот “им” везет… “Они” – это фашисты, “они” (не в обиду будь сказано) – это коренные израильтяне, которые напоминают тебе, что ты новый репатриант, все эти “они” как будто пытаются растоптать тебя, и ты сражаешься как лев и бесстрашно бросаешься на них, потому что, как только ты склонишь голову, ослабишь бдительность, тогда ты потеряешь все».

У меня умная дочь. Гораздо умнее своего отца.

В декабре 1961 года трем журналистам – включая меня – посчастливилось сопровождать в Бирму премьер-министра Бен-Гуриона. С ним были сын Амос, секретарь Ицхак Навон, который впоследствии был избран президентом страны, и представитель «Моссада» – улыбчивый человек невысокого роста в очках по имени Рафи Эйтан. Никто из нас не подозревал тогда, что Рафи, ставший позднее членом парламента и министром, возглавлял группу, захватившую Эйхмана.

Это была моя первая встреча с Бен-Гурионом и, конечно, я волновался, но этот маленький великий человек не удостоил меня даже взгляда. У него был давнишний конфликт с «Мааривом», постоянно занимавшим враждебную по отношению к нему позицию, и казалось, ему доставляет удовольствие приветливо разговаривать с другими журналистами, игнорируя меня.

После взлета самолет взял курс на восток, но через два часа мы вдруг приземлились и неожиданно для себя обнаружили, что находимся в Тегеране.

Оказалось, у премьер-министра была назначена секретная встреча с шахом.

Нас разместили в помещениях аэропорта, предназначенных для обслуживания шаха и его свиты, и заперли, чтобы мы не могли передать сообщение об этой встрече. Я в жизни не бывал в зале ожидания более красивом (все было облицовано мрамором с позолотой) и более гнетущем. Бен-Гурион находился на тайной встрече государственной важности, о которой не знала ни одна живая душа, а мы томились в золотой клетке.

Через несколько минут после того, как Бен-Гурион исчез, появился наш военный атташе в Тегеране, полный, приветливый человек по имени Яаков Нимроди (который через тридцать семь лет станет владельцем «Маарива»). Я попросил у него одолжить мне немного местных денег, и он откликнулся с радостью. Вдохновленный, я отправился подкупать стражу, чтобы мне дали выйти позвонить, но люди из САВАК, тайной полиции шаха, каждый из которых был выше меня на голову и шириной с банковский сейф, втолкнули меня обратно без особых церемоний.

Я кипел от гнева, но через полчаса мне в голову пришла идея. Я обратился к командиру экипажа «Эль Аль», сидевшему с нами, и сказал: «Послушай, моя мама не знает, что мы здесь приземлились, и, если я не сообщу ей, что нормально долетел до Бирмы, она умрет от беспокойства. Ты должен помочь мне сообщить ей».

– Какой у нее номер телефона? – спросил командир.

– У нее нет телефона, – сказал я, – сообщи Дисенчику в «Маарив», а он уже передаст ей.

Беспокоящаяся еврейская мама – беспроигрышный предлог. Командир сказал охранникам, что ему нужно проверить кое-что в самолете, и со своего аварийного телефона в кабине пилота оставил сообщение Дисенчику: «Лапид застрял в Тегеране, он просит передать его маме, что с ним все в порядке».

У меня в жизни было много разногласий с Дисенчиком, но журналистскую интуицию я всегда за ним признавал: он сразу сообразил, что значило это странное сообщение. На следующий день «Маарив» был единственной газетой, которая сообщила своим читателям на первой странице: «Бен-Гурион ведет тайные переговоры в Тегеране».

Моя сенсация, естественно, не улучшила моих отношений с Бен-Гурионом (как, впрочем, и с другими журналистами), но, поскольку оставить меня в Тегеране было невозможно, мы продолжили полет в Бирму.

После долгих месяцев страшного нервного напряжения Бирма подействовала на меня как азиатская чудо-пилюля: далекий восточный рай с неспешным, размеренным ритмом жизни. Когда мы приземлились в Рангуне, нас встретила официальная делегация во главе с премьер-министром У Ну (который год спустя был свергнут в результате военного переворота). Израиль в те годы помогал Бирме в создании современных сельскохозяйственных ферм, и все, с кем мы встречались, были исполнены благодарности и дружелюбия. Произносились речи, провозглашались тосты, а на следующее утро Бен-Гурион исчез.

Мы были в панике. Что случилось? Где премьер-министр? Снова какая-то секретная встреча? Каждый из нас строил версии одна невероятнее другой. Примерно в полдень в вестибюле гостиницы появился Ицхак Навон, мы бросились к нему с вопросами. «Вы мне все равно не поверите», – ответил он со смущенной улыбкой. Мы пообещали ему поверить. «Премьер-министр, – сказал Навон, – решил уединиться на три дня в дзен-буддистском монастыре для медитации».

Мы остолбенели. Тогда буддистские учения еще не были модными на Западе, и никто из нас не знал, о чем идет речь. Это как если бы сегодня премьер-министр заявил, что он идет, например, в рэперы или покорять Эверест. Через три дня Бен-Гурион появился, спокойный и умиротворенный, как никогда. Даже ко мне потеплел. Воспользовавшись случаем, я попросил объяснить его таинственное исчезновение.

– Томи, – сказал он, – я – премьер-министр самой сложной

страны в мире. Я отвечаю за все: за евреев, арабов, последствия Катастрофы, новых репатриантов, коалицию и оппозицию, бедных и богатых. Когда ты – глава правительства такой непростой страны, ты должен думать. Политикам свойственно забывать, что в их обязанности входит время от времени останавливаться, чтобы подумать. Если я не буду делать перерывов, чтобы обдумать все хорошенько, как я смогу действовать?

Впоследствии мне доводилось наблюдать за работой других премьер-министров, я видел, как давит на них бремя бесконечной вереницы самых разных событий. Люди заходят и выходят, секретари составляют плотное расписание, каждую минуту кто-нибудь просит дать срочный ответ на срочный вопрос и доказывает, что судьба страны зависит от быстроты реакции. Они просыпались раньше всех и отправлялись спать позже всех, а когда наконец-то улучали минуту, чтобы заглянуть в газету, всегда находили там сообщения о том, что снова ничего не добились. Только тогда я понял, как прав был Бен-Гурион. Глава правительства, говоря словами английского философа Джона Раскина, «имеет моральное обязательство быть умным». Всем нам было бы лучше, если бы они меньше делали, а больше думали.

Глава 29

Вгоды моего детства, в Нови-Саде, каждый из нас болел за две футбольные команды. Одной из них, конечно, была местная «Воеводина», а другой – одна из английских команд. Я болел за «Астон Виллу», а мой близкий друг Саша Ивони – за «Арсенал». Как все подростки, мы без конца спорили, чья команда лучше, но, как все болельщики той поры, мы оба признавали, что лучшим игроком Англии (а значит, и всего мира), несомненно, был «волшебник» Стэнли Мэтьюз, крайний правый нападающий «Блэкпула».

Мэтьюз пятьдесят четыре раза надевал форму английской сборной, королева пожаловала ему рыцарский титул, первым в истории он получил звание лучшего футболиста года в Европе. Когда я встретил его, ему было сорок восемь, и он по-прежнему играл во второй лиге за «Сток-Сити». У него были редкие седеющие волосы, но полное жизненных сил, упругое, как у юноши, тело. Выглядело это так, будто к телу приставили не ту голову.

Я задал ему вопрос, который задал бы своему кумиру любой болельщик: «Какой матч был самым незабываемым в вашей карьере?» К моему удивлению, Мэтьюз расхохотался.

«В 1945 году, – рассказал он, – когда московское “Динамо” приехало в Лондон на матч с “Арсеналом”, мы играли в таком густом тумане, что с середины поля не было видно ворот. Один из наших игроков, Джерри, грубо атаковал вратаря “Динамо”, и судья показал ему красную карточку. Мы продолжили играть вдесятером. Играем и играем, и вдруг Джерри пробегает мимо меня с мячом. “Спокойно, – сказал он мне, – я втихаря вернулся, не проговорись судье”. Джерри продолжал играть до финального свистка, а судья этого так и не заметил. Из-за тумана».

Весной 1963 года Шула снова сообщила мне, что беременна. На этот раз я не заплакал, а просто радостно обнял ее. После стольких лет, в которых события были просто спрессованы, я понял, что нашел свое место в мире. И это место – дом – определенно было в Израиле. Конечно, мягкое раскатистое венгерское «р» у меня сохранилось до последних дней, но я был человеком на своем месте или, как выразился писатель Том Вулф, «мужчиной в полный рост». Израиль был моей землей, иврит – моим языком, карьера моя процветала, а Шула бережно создавала вокруг меня теплоту и уют, где я мог бы расслабиться вместе с ней и нашей дочерью.

5 ноября 1963 года – в тот же день, что и его старшая сестра, – появился на свет Яир.

Эфраим, который тогда повсюду носился со своей восьмимиллиметровой ручной камерой, пошел вместе со мной в больницу «Ассута» и сидел рядом в приемном покое (тогда никому в голову не приходило позволить мужьям присутствовать при родах). За несколько минут до родов он спустился вниз, на улице поставил камеру на штатив и развернул ее в сторону выхода из больницы. Те две минуты черно-белой съемки не стали его лучшим фильмом, но они так близки моему сердцу: полный молодой человек пулей вылетает из дверей больницы. Он скачет по улице огромными прыжками и орет во всю глотку – немым криком, который легко прочитать по губам: «У меня сын! У меня сын! У меня сын!..»

Биография, которую вы сейчас читаете (как, впрочем, и любая другая), – это в какой-то степени иллюзия. Поскольку наиболее важные в жизни вещи – это как раз те, о которых нечего написать. Все мы просто живем ими, они привычны для нас, в них нет ничего особо примечательного. Я как-то читал о безграничной преданности генерала Шарля де Голля своей младшей дочери Анне, у которой был синдром Дауна. Когда в 1948 году ее не стало, его горе было безмерным, но в исторической литературе это всегда лишь деталь в рассказе о его безуспешных попытках вернуться в тот год на вершину французской политики. Стоит ли сомневаться в том, что дочь занимала его больше, чем грозные генералы и все мелкие политические интриги, которые так подробно изучаются всеми его биографами? Разве не понятно, что заставляло гордого де Голля плакать по ночам?

Я, конечно, не сравниваю себя с де Голлем (мне всегда нравилось, как Черчилль оценил его бегство из оккупированной Франции: «На этом маленьком самолете де Голль увозил с собой честь Франции»), но и моя личная история тогда была полна мгновений, о которых нечего написать: моя трехлетняя дочь ковыляет к кровати, протягивает руку, а сын, которому всего две недели, хватается за ее палец и пытается запихать его себе в рот. Она заливается счастливым смехом, и мы все смеемся. Толстой ошибался: даже самые счастливые семьи счастливы каждая по-своему.

Через несколько недель после рождения Яира Арье Дисенчик вызвал меня и сообщил, что решил назначить собственным корреспондентом газеты в Лондоне.

Я не бывал в Англии, но она стала для меня центром интеллектуального и духовного притяжения задолго до того, как я ступил на эту землю. Тот голос, который пробивался из

самодельного радио в гетто, настроенного на Би-би-си, был маяком человечности и мужества, и я преклонялся перед всем, что было связано с Англией: пьесы Шекспира, поэзия Уильями Батлера Йейтса и Элизабет Барретт Браунинг, фильмы Альфреда Хичкока, книги Чарльза Диккенса. Глобус вращался и вращался, и в конце концов мне удалось чудесным образом осуществить свою детскую мечту, которой я делился с другом Сашей на берегу Дуная: я буду журналистом в Лондоне.

В 1964-м я приехал в Лондон (один, поскольку Шула захотела подождать еще пару месяцев – до тех пор, пока не закончит кормить Яира грудью) и нашел квартиру в тюдоровском стиле в Клифтон-Корте – с темными балками, перекрещивающимися на фоне белой оштукатуренной стены, и прозрачным стеклянным потолком. Летом сквозь него беспрестанно капал дождь, а зимой покрывавшее его толстое снежное одеяло погружало нас в постоянный мрак.

Рабочим местом мне служила небольшая комната редакции «Дейли телеграф», которую я делил с добродушным смуглым журналистом из Греции. В первый же день он объяснил мне, что главное в нашей (иностранных корреспондентов) работе – поддерживать хорошие отношения с мистером Джорджем.

– Кто такой мистер Джордж? – спросил я.

– Мистер Джордж, – сказал грек, – это вор.

Через несколько часов он уже познакомил меня с Джорджем – маленьким шумным красноносым кокни, специализировавшимся на том, чтобы в вечерние часы пробежаться по всем редакциям Лондона и стащить свежие номера газет, только что поступившие из типографий. Эти украденные номера, которые должны поступить в продажу только на следующее утро, позволяли нам посылать домой самые свежие новости, поэтому в Израиле и в Афинах их публиковали в то же время, что и в Англии. Если задуматься, то не только Джордж был вором, но и мы.

Несколько дней спустя кто-то в редакции «Дейли телеграф» сказал мне, что Черчилль собирается приехать в парламент (что случалось довольно редко). Я помчался туда и занял место среди представителей прессы. Через несколько минут я увидел его. Черчилль медленно проковылял по залу, опираясь на руку своего преемника Гарольда Макмиллана: голова, гладкая как бильярдный шар, затуманенный взгляд – глубокий девяностолетний старик. К удивлению и смущению сидевших рядом английских репортеров, я разрыдался.

Глава 30

У меня для тебя сенсация, – шепнул мне один из моих источников в израильском посольстве в Лондоне.

– Ну и что это? – спросил я.

– Абба Эбан вылетает с секретной миссией в Буэнос-Айрес, чтобы улучшить взаимоотношения с Аргентиной.

Тогда Аргентина все еще злилась на Израиль за похищение Эйхмана и даже угрожала прервать дипломатические отношения. Эбана, который тогда был заместителем премьер-министра, попросили помочь разрешить конфликт, используя свой международный авторитет. Я позвонил в Израиль узнать у Эбана, правда ли это, но мне сказали, что он уже вылетел в Вашингтон, откуда собирается продолжать свою миссию. После долгих уговоров секретарша согласилась дать мне название отеля, в котором он остановился. Я позвонил туда поздно вечером, но Абба Эбан в это время вышел на какую-то встречу. Я попросил, чтобы он перезвонил мне, и заснул.

В два часа ночи меня разбудил телефон, и телефонистка сообщила, что Абба Эбан на линии. Заснул я, видимо, очень крепко, потому что никак не мог вспомнить, зачем я, собственно, ему позвонил. Чтобы выиграть время, я спросил его, какая погода в Вашингтоне.

Эбан был слегка удивлен вопросу.

– Идет снег, – ответил он мне.

– Много снега? – спросил я, в панике соображая, зачем же все-таки ему звонил.

– Да, – сказал Эбан.

– Наверное, холодно? – не унимался я.

– Да, холодно, – ответил прославленный дипломат.

– Может, вам стоит надеть пальто, господин Эбан?

– Хорошая идея.

– Тогда спокойной ночи.

– И вам спокойной ночи.

Утром меня снова разбудил телефонный звонок. На линии был Арье Дисенчик.

– Томи, с тобой все в порядке? – спросил он с беспокойством.

– Со мной все в порядке, – ответил я. – А почему ты спрашиваешь?

– Потому что Абба Эбан позвонил мне из Вашингтона, – ответил Дисенчик, – и рассказал, что ты звонил ему, чтобы спросить, надевает ли он пальто. Он просил проверить, не сошел ли ты с ума.

Я-то с ума не сошел, а вот Лондон – да.

Это был тот веселый легкомысленный Лондон, в который нагрянули шестидесятые. Через три недели после того, как я прилетел, четверо парней из Ливерпуля под названием «Битлз» появились в студии звукозаписи и за десять часов записали свой первый альбом «Love Me Do». Летом того же года их песня «She Loves You» побила все рекорды продаж. Их серьезными конкурентами были «Роллинг стоунз», а любителей более благозвучной музыки ублажал своими слащавыми балладами Клифф Ричард.

Золотой век переживали лондонские театры, где правили Лоуренс Оливье, Джон Гилгуд, Мэгги Смит и семейство Редгрейв. Молодые писатели и драматурги, такие как Гарольд Пинтер, Алан Силлитоу, Арнольд Уэскер и Джон Осборн, создали целое направление, получившее название «драматургия кухонной мойки». Вышел на экраны незабываемый «Доктор Стрейнджлав» Стэнли Кубрика, молодые Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд совершали революцию в современной живописи, стройные ножки супермодели Твигги украшали все рекламные щиты на Карнаби-стрит, по которой сновали девушки в мини-юбках и парни в цветастых рубашках с гитарами через плечо вперемежку с бизнесменами с Оксфорд-стрит в строгих костюмах, с зонтиками и в котелках. Мы находились в самом центре потрясающего, шумного и яркого переворота и наслаждались каждым мгновением.

Правда, в «Маариве» не всегда понимали, о чем я, собственно, пишу в своих материалах. В феврале 1964 года «Битлз» решили совершить первое турне по Соединенным Штатам. Для журналистов разыгрывалось два места в самолете, и я выиграл одно из них. Вне себя от радости послал телеграмму в «Маарив» о том, что меня не будет две недели. И получил ответ: «Кого волнуют четверо оборванцев из Ливерпуля?! Оставайся в Лондоне!» Я по сей день жалею, что подчинился.

Одновременно и как будто бы независимо существовала и другая Англия: традиционная, церемониальная, тяжеловесная. Англия, где дамы неделями подбирают шляпки, чтобы поехать в Эскот на Королевские скачки, пузатые лорды клюют носом в своих аристократических клубах, а в парламенте ведутся ожесточенные споры о судьбах мира, будто и не зашло давно уже солнце над Империей.

Я был в числе пяти тысяч приглашенных на ежегодный дипломатический прием у королевы. Все собрались на лужайке перед Букингемским дворцом. Вдруг толпа оживилась – королева начала обходить гостей и пожимать руки стоящим в первом ряду.

Я подумал: если мама узнает, что я мог коснуться руки королевы Англии и не сделал этого, она в жизни мне не простит. Я вскочил и через пять минут проталкиваний и протискиваний «по-израильски» уже стоял в первом ряду, оставив позади себя толпу англичан с выражением обиды на лице. Королева любезно пожала мне руку и проследовала дальше. Чего только не сделаешь ради мамы!

К тому времени у меня уже были друзья в Лондоне – люди, которые были рады встретить человека, открыто говорившего то, что у него на уме. Одним из них был Найджел Джуда, ведущий сотрудник агентства Рейтер, высокий смуглый англичанин еврейского происхождения, похожий на принца в приступе меланхолии, что привлекало к нему множество пылких женщин. При наших встречах я настаивал на том, чтобы разговаривать «по-израильски», то есть открыто. Мы болтали о его бесконечных романах, о карьере, об упрямых конкурентах, о скрытых страхах, обо всем, что тревожит молодых мужчин в начале жизненного пути.

Позднее Найджел стал генеральным директором Рейтер, и мы всегда поддерживали связь. Когда он скончался, семья открыла завещание, в котором было написано, что некролог в церкви Сент-Брайд на Флит-стрит, где обычно отпевают журналистов, должен произнести Томи Лапид, «мой самый близкий друг».

Найджел был мне очень симпатичен, но до того момента мне и в голову не приходило, что я его лучший друг. «Вы были единственным человеком, говорившим с ним о вещах, которые его действительно тревожили, – объяснила мне его вдова Фиби, – в Англии об этом не говорят».

Само собой разумеется, я вылетел в Лондон и произнес надгробную речь в церкви, полной людей, которые не потрудились понять его, пока он был жив.

После нескольких месяцев в Англии я купил свой первый автомобиль – симпатичный компактный «Форд-Англия», оснащенный потрясающей новинкой – электрическими стеклоочистителями. На нем мы совершали длинные поездки: видели Лоуренса Оливье в роли Отелло в Чичестере, побывали на Шекспировском фестивале в родном городе великого драматурга Стратфорде-на-Эйвоне, любовались Ла-Маншем с белых утесов Дувра и катались по зеленым холмам Корнуолла. Потихоньку знакомились и с деревенской Англией, кристально чистой и неторопливой, такой непохожей на запыленный Израиль. В английской провинции люди живут в умиротворении, в

окружении коров, овец, вечнозеленой растительности и точно знают, когда проснутся и когда лягут спать, когда пойдут на работу и когда будут отдыхать, сколько будут жить, а когда умрут (от скуки, разумеется).

Я часто сопровождал израильтян, приезжавших в Англию. С Бен-Гурионом мы ездили в Оксфорд, прогуливались по маленьким книжным лавкам, и он откровенно наслаждался тем, что его никто не узнает. С Аббой Эбаном – видимо, он убедился, что разум ко мне вернулся, – мы отправились в палату лордов, где он развлекал анекдотами тридцать благородных лордов, которые им восхищались (впрочем, не только они: я заметил, что все это время Эбан не переставал рассматривать – украдкой и с нескрываемым удовольствием – свое отражение в большом зеркале за их спинами). Когда тогдашний премьер-министр Леви Эшколь прибыл в Лондон с официальным визитом, я сопровождал его на Даунинг-стрит, 10. У входа меня остановила охрана. Эшколь исчез внутри здания, а я остался снаружи, за ограждением. Тогда я впервые сказал себе, что наступит день, когда все будет наоборот: я войду внутрь, а журналисты останутся на улице.

Однажды утром мне позвонил директор театра «Камери» и сказал, что в Лондон прилетает поэт Авраам Шленский. Он перевел на иврит почти все пьесы Шекспира, и я начал готовиться к культурному времяпрепровождению. На следующий день после приезда Шленского мне позвонила его жена. «Авраам стоит в ванной весь мокрый, а полотенец там нет, – сказала она, – он просил узнать у тебя, как по-английски “полотенце”». Оказалось, что знаменитый переводчик Шекспира не знал ни слова по-английски. Он перевел все пьесы с русского.

Лорд Байрон писал: «Воспоминание о пережитом счастье – уже не счастье, воспоминание о пережитой боли – это все еще боль». Может быть, поэтому моим самым сильным впечатлением той счастливой поры было как раз печальное событие: похороны человека, перед которым я преклонялся, как ни перед кем другим в своей жизни, – Уинстона Черчилля.

24 января 1965 года информационные агентства объявили, что Черчилль при смерти. Я поехал к его дому. Сотни журналистов и любопытных окружили особняк. Периодически кто-нибудь выходил и докладывал о его состоянии. Ночь была дождливая, а публика тихая, по-английски замкнутая. Я не мог уйти. Дело было не в журналистике. Дело было в нем и в том мальчике, который слушал его по радио в гетто. Около трех утра в воротах дома появился его личный врач, доктор Морган, и объявил: «Уинстона Черчилля не стало».

Ассоциация иностранной прессы, насчитывавшая две тысячи членов, получила всего два приглашения на траурную церемонию в соборе Святого Павла. Не знаю, каким образом, но и на этот раз одно из них досталось мне. Похороны состоялись в субботу, и я сопровождал Бен-Гуриона и президента Залмана Шазара, которые, чтобы не нарушать Шаббат, шли из отеля «Савой» до самого собора пешком под дождем. Сотни тысяч британцев, толпившихся на тротуарах, удивлялись двум миниатюрным старичкам в цилиндрах, гордо шагающим посреди улицы в окружении охраны.

Церемония в соборе была величественной. Герцог Норфолкский возглавлял процессию с гробом под звуки траурного марша Генделя, и мало у кого глаза остались сухими. Лишь одна мелочь нарушала ощущение величественности: Бен-Гуриона поставили рядом с Шарлем де Голлем. Очень высокий лидер Франции выглядел как «лестница Яакова» рядом с нашим премьером, который едва доставал ему до пупка. Даже королева Англии улыбнулась.

Глава 31

Всередине восьмидесятых тогдашний премьер-министр Ицхак Шамир ездил с государственным визитом в Африку. Через несколько дней после его возвращения мы случайно встретились в Кнессете.

– Тебе привет из Того, – сказал Шамир.

– Из Того? – удивился я.

Шамир усмехнулся в усы.

– Я был на приеме во дворце президента Эйадемы, – рассказал он. – Ко мне подошел высокий симпатичный дипломат и спросил на прекрасном иврите: «Как поживает Томи Лапид?» Я поинтересовался, откуда он тебя знает. «Когда-то я играл в его пьесе», – ответил он.

Я расплылся в улыбке.

– Это Амдос, – догадался я, – ты встретил Амдоса.

За год до возвращения из Лондона в Израиль я начал писать свою первую пьесу, комедию.

Делал я это под опекой режиссера Шмуэля Бонима, который объяснил мне, что хорошая пьеса должна быть плохим текстом: в отличие от литературы, нужно оставлять пустоты, которые смогут заполнять артисты, создавая свои образы, внося в спектакль что-то свое.

Возвращаясь в Израиль в январе 1967 года, в самолете я все еще работал над диалогами, что-то вычеркивая и что-то добавляя. Через несколько дней вместе с Бонимом мы отправились на встречу в «Камери». Сели вместе с режиссером театра, и я начал, как это было принято, читать пьесу вслух. Спустя некоторое время Боним закрыл глаза. Было похоже, что он дремлет. Я чувствовал, что сейчас взорвусь. Если у того, кому предстоит быть моим соавтором и режиссером, пьеса вызывает скуку, что уж говорить о тех, кто должен принять решение о постановке!

Не успели мы покинуть здание театра, как я начал орать на него.

– Как ты мог так поступить?! – ревел я. – Что они теперь про нас подумают?

– В чем проблема, Томи? – ответил Боним спокойно. – Разве ты не понял, что им понравилось?

Комедия под названием «Бремя черного человека» рассказывала о том, как израильская семья приглашает к себе домой бизнесмена из Африки по имени Омбуко. Когда он

появляется, они из кожи вон лезут, чтобы показать, насколько они культурные и прогрессивные, и без конца объясняют ему, что у них нет никаких предубеждений по отношению к черным. Но, когда дочь влюбляется в харизматичного гостя и решает соединить с ним свою судьбу, вся их просвещенность вмиг улетучивается: потрясенные родители делают все возможное, чтобы разлучить свою дочь с ее возлюбленным.

Сюжет, скажут любители кино, здорово напоминает известный фильм с участием Сидни Пуатье «Угадай, кто придет к обеду?», в котором снимались также Кэтрин Хепберн и Спенсер Трэйси. В свою защиту могу сказать, что моя пьеса вышла на сцену за шесть месяцев до появления фильма на экранах. Может, они позаимствовали мою идею…

Пока шли репетиции, до Министерства иностранных дел дошел слух, что я собираюсь выпустить спектакль, который может затронуть чувства наших друзей в Африке. В дирекцию театра из министерства обратились с просьбой – снять пьесу или хотя бы опустить обидные, на их взгляд, реплики. Тогда это еще не называли «цензурой» или «нетерпимым вмешательством со стороны властей», а только «дружескими рекомендациями сверху».

Что делать? Руководитель театра Шайке Вайнберг пригласил студента Института физкультуры, молодого африканца из Того, на наши репетиции. О нем было известно, что он не только очень интеллигентный, но еще и знает иврит. Звали его Амдос. По окончании репетиции мы напряженно ждали его реакции.

– Я бы хотел, – произнес он неуверенно, – сыграть роль Йонатана, брата Омбуко.

– Так ты не обиделся? – спросил кто-то из нас.

– Пьеса высмеивает израильтян, а не африканцев, – ответил Амдос. Он оказался умнее чиновников из Министерства иностранных дел.

Мы вздохнули с облегчением. Через несколько недель состоялась премьера. Спектакль имел большой успех. Многие месяцы публика заполняла зал до отказа, критики были на удивление благосклонны. «Наконец-то знаменитый венгерский юмор добрался до еврейской сцены!» – написал один из них.

И каждый вечер в последнем действии Амдос выходил на сцену в роли Йонатана. Роль его состояла из одного слова: «Шалом», но благодаря этому слову он исколесил всю страну как обыкновенный артист еврейского театра.

Между прочим, ключевая реплика спектакля – «Чернокожий сделал свое дело, чернокожий может уходить» – стала очень популярной. Даже критик Михаэль Хандельзальц, исключительно

образованный человек, однажды написал, что эта фраза стала моим существенным вкладом в иврит. Я не раскрыл ему правды: во всей пьесе это единственная реплика, которая мне не принадлежала. Я взял ее из пьесы «Заговор Фиеско в Генуе», написанной Фридрихом Шиллером в 1783 году («Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»).

В то время как шли репетиции, меня вызвали к главному редактору «Маарива».

– Я хочу, чтобы ты начал издавать женский журнал, – сказал Дисенчик.

– Я?

– Нам выделен бюджет на первый глянцевый журнал в Израиле. Это будет революция.

– Но почему я?

– Томи, я много думал об этом, ты подходишь больше всего.

Выйдя из кабинета, я зашел в туалет и посмотрел в зеркало.

Передо мной стоял дородный мужчина тридцати шести лет, в хорошем костюме, с сигаретой в руке, в галстуке, который украшали пятна соуса от съеденных за обедом котлет. И это – самый подходящий руководитель для женского журнала?! Я не только никогда не редактировал женский журнал, но даже в жизни ничего подобного не читал.

В тот же день я купил все выпуски журнала «Космополитен», которые смог найти. Три года назад за его издание взялась легендарная Хелен Герли Браун, автор нашумевшего бестселлера «Секс и одинокая девушка», и за считаные месяцы превратила его в самый читаемый и обсуждаемый журнал для американских женщин.

Думаю, я был первым, и единственным, человеком в мире, который нашел точку G, сидя в кресле в пустом офисе, положив ноги на стол и поедая арахис из пакета. Каждая страница открывала мне новый мир: оказывается, женщинам нравится смотреть на мужские ягодицы, у некоторых женщин может быть множественный оргазм, а есть женщины, которые симулируют его, и работают женщины не для того, чтобы помочь мужу содержать семью, а ради своей собственной карьеры, и они потрясающе серьезно относятся к загадочному предмету под названием «маскара» и, наконец, юбки в нынешнем году снова опустились ниже колена.

Я решил назвать новый журнал «Ат», что в иврите женское «ты».

Чтобы определить нашу аудиторию, я собрал свой коллектив и описал им идеальную читательницу еще не вышедшего

журнала. «Ей примерно тридцать пять, – сказал я, – со степенью бакалавра, двумя детьми, мужем – кадровым военным. Она хочет выбросить старый холодильник и купить новый и хотя бы раз в неделю ходить в театр или кино».

Девушки обменивались недоуменными взглядами.

– Может, просто найдем ее? – предложила одна из них.

Я пришел в восторг от этой идеи, и мы опубликовали в «Маариве» объявление: новый ежемесячный журнал ищет идеальную читательницу. Издательство завалили сотни писем от женщин, которые утверждали, что они, и только они, соответствуют нашему описанию. В итоге нам не удалось найти такую, которая отвечала бы всем требованиям, но, по крайней мере, образ представительницы новой израильской буржуазии стал нам более понятен.

Первый номер вышел в апреле 1967 года с участием многих знаменитостей, в том числе певца Йорама Гаона и Яэль Даян, дочери Моше Даяна, который через несколько недель был назначен министром обороны, а вскоре стал членом Кнессета. У нас даже была одна «сенсация» – мы познакомили ошеломленных читательниц с секретами неизвестного доселе тропического фрукта – авокадо.

Это был успех. Второй за один месяц.

Глава 32

Недели за две до начала Шестидневной войны у нас дома раздался телефонный звонок. Шула сняла трубку.

– Здравствуй, мама! – обрадовалась она. Ее отец в прошлом году был назначен послом в Венгрию, поэтому разговоры с родителями стали редкостью. Затем ее лицо вдруг стало серьезным, и она жестом подозвала меня. Я взял трубку.

– Вы должны приехать сюда, – сказала мне Хелен без лишних предисловий.

– Что? Зачем? Почему?

– Начинается война.

– С нами все будет в порядке!

Ее голос смягчился.

– Томи, – сказала она, – нет уверенности, что Израиль устоит. Если вы не приедете, то пришлите хотя бы детей.

Я взорвался.

– Не пошлю я никаких детей, – закричал я, – с побегами покончено! Не для того я выжил в Катастрофе, не для того репатриировался в Израиль! Здесь мы будем жить и, если понадобится, здесь мы умрем.

Молчание.

За три месяца до того, в феврале 1967 года, родилась Мерав.

Наш семейный портрет был доведен до совершенства. Мы стали похожи на немного слащавый плакат Нормана Рокуэлла – мама, папа, трое детей, белый автомобиль «контесса» на стоянке у дома. Через два месяца после рождения Мерав мы переехали в новую квартиру. Группа журналистов скооперировалась и построила два жилых дома в районе Яд-Элияху на юге Тель-Авива. Мы собрали все свои сбережения, чтобы присоединиться к проекту, но денег все равно не хватало. Однажды вечером я поделился своей проблемой с Кишоном. Он помолчал немного, а потом сказал:

– Я одолжу тебе, но при одном условии.

– Что за условие?

– Ты ни одной живой душе об этом не расскажешь. Даже своей жене. А уж особенно моей.

– Да ради бога! – сказал я. – Но почему?!

– Потому что все знают, что я жлоб, – сказал Кишон. – И никто ничего у меня не просит. Если они решат, что я добрый, то все захотят в долг.

Я расхохотался.

Это был белый четырехэтажный дом. Мы жили на последнем

этаже, в квартире площадью семьдесят квадратных метров. Потребовалось еще более десяти лет, чтобы расплатиться за нее, но после тесной комнатушки на улице Царя Соломона она показалась нам дворцом. Наконец-то у нас была гостиная, у детей – своя комната и даже у меня был свой кабинет с окном во внутренний дворик.

Несколько месяцев все шло замечательно, но угроза войны омрачала нашу семейную идиллию: уже на следующий день после звонка обеспокоенной Хелен мы вместе с детьми отрабатывали спуск в убежище. Шула расстелила розовое пикейное одеяло на пыльном полу и положила несколько игрушек. Михаль и Яир сидели на одеяле и катали цветной мячик, Мерав, как всегда, дремала в своей кровати. Я смотрел на них, охваченный сомнениями. Есть ли у меня право подвергать их жизнь опасности во имя принципов, о существовании которых они не имеют ни малейшего понятия?

* * *

Пожилые люди помнят Шестидневную войну благодаря феноменальной победе и тому моменту, когда командир бригады десантников Моти Гур произнес незабываемое: «Храмовая гора в наших руках».

Люди помоложе помнят эту войну потому, что из-за нее (или благодаря ей – в зависимости от того, кого спрашиваешь) в наших руках оказались Иудея и Самария, что изменило облик страны и привело к основной политической проблеме Израиля – противостоянию между правыми и левыми, сохранившемуся по сей день.

А я помню недели, предшествовавшие войне. Это был последний раз, когда сам факт существования Государства Израиль ставился под сомнение. Арифметика не давала никакой надежды на победу: два с половиной миллиона евреев окружены почти пятьюстами миллионами враждебных арабов. Эмбарго на ввоз оружия, экономика, которая еще не вылезла из двухлетнего кризиса, панические телефонные звонки из-за границы. Семь дивизий, посланных Насером на Синай, насчитывали сто тридцать тысяч солдат – больше, чем вся Армия обороны Израиля. Мрачные люди ходили по улицам Тель-Авива, тихо переговариваясь между собой, спрашивая себя и друг друга: неужели это снова так закончится – чужеземцы наводнят улицы, а последний еврей забаррикадируется на крыше своего дома с винтовкой, в которой осталась последняя пуля.

28 мая премьер-министр Леви Эшколь выступил с обращением к нации. Как и все, я прильнул к радиоприемнику. Эшколь начал говорить и вдруг – к нашему ужасу – запнулся, запутался, замолчал и с большим трудом продолжил свою речь. Позднее выяснилось, что секретарь внес изменения в текст, не предупредив премьера, а Эшколь, обнаружив замену, никак не мог решить, какой вариант правильный.

Но это не имело значения. Мы были в истерике. Если наш премьер-министр в панике, то что говорить о нас?!

Через четыре дня меня вызвали в Дом Соколова. Там собирали журналистов перед отправкой в армейские части. Офицером, ответственным за мобилизацию, был неопрятный резервист с чуть раскосыми глазами.

– Я отправляю тебя на флот, – заявил он мне.

Перед глазами у меня проплыл (вернее, потонул) раскачивающийся силуэт «Кефала», на котором я приплыл в Израиль.

– Ни в коем случае, – сказал я. – Я готов умереть за эту страну, но не блевать за нее.

Он задумался на мгновение и направил меня в дивизию генерала Элада Пеледа, которая дислоцировалась в Тверии. Вместе со мной поехали еще два молодых журналиста радиостанции «Голос Израиля».

Поехали мы туда напуганные, но за несколько часов, проведенных с солдатами, пришли в чувство. Они были бодры духом, уверены в себе, готовы к бою. В тот же день премьер-министр под давлением главы оппозиции Менахема Бегина назначил Моше Даяна министром обороны. Солдаты верили в Даяна, но еще больше они верили в стойкого начальника Генштаба – Ицхака Рабина.

5 июня разразилась война. Дивизия Пеледа рванула в сторону иорданской границы, а мы, три отважных журналиста, оказались под перекрестным огнем во время взятия Дженина.

Я думаю, что иорданцы сдались, будучи не в состоянии больше смотреть, как мы втроем прячемся за холмом, зарыв головы в песок и отчаянно стараясь, чтобы наши задницы не торчали за пределы батареи.

Война началась и закончилась так быстро, что никто тогда не успел осознать ее значимость. За шесть дней территория Израиля увеличилась в три (!) раза, и сотни тысяч палестинцев оказались под нашей юрисдикцией. Вся страна была опьянена победой. Наша армия показала себя лучшей в мире, историки и военные специалисты по всей планете пытались понять, как нам это удалось, альбомы в честь победы печатались и продавались с

головокружительной быстротой. Когда кто-то сказал Даяну, что наступит день, и новообретенные территории станут ярмом на нашей шее, он самонадеянно заявил: «Лучше Шарм-эль-Шейх без мира, чем мир без Шарм-эль-Шейха».

У войны было еще одно последствие – было создано израильское телевидение. Правда, реальных возможностей этого средства массовой информации тогда никто еще не понимал.

Через несколько месяцев вещания общественного канала я получил предложение вести на нем новую программу-интервью. Я ответил, что буду рад. С телевидением я столкнулся во время нашего пребывания в Лондоне, и мне очень нравились интервью Дэвида Фроста. Я предложил сделать что-то подобное в Израиле.

Свою программу я назвал «У меня гость». Она строилась как программа-интервью, в центре которой был приглашенный гость, а в паузах – всякие развлекательные элементы. Оглядываясь назад, могу сказать, что программа была не особенно удачной. Я был скован, во мне еще не было того огня, который сделает меня спустя годы звездой телевидения.

Уже в третьем или четвертом выпуске я умудрился проморгать культурную сенсацию. Моей гостьей в тот вечер была композитор Наоми Шемер, чья песня «Золотой Иерусалим» стала неофициальным гимном прошедшей войны. За несколько часов до передачи мне позвонил некто и сказал:

– Знай, что песня – не оригинальная, это известная народная баскская песня, она украла ее.

Во время передачи я спросил об этом Наоми. Она сердито подняла брови:

– С какой стати? Ты считаешь, что я на такое способна?

Когда Наоми хотела, она могла быть очень убедительной, и я смущенно извинился и оставил этот вопрос.

Только в мае 2005 года, через год после смерти Наоми, газета «Хаарец» опубликовала ее письмо композитору Гилю Альдема, в котором признавалась, что ее знакомство с баскской песней повлияло на мелодию «Золотого Иерусалима».

Моя передача продержалась в эфире всего несколько месяцев, но впервые в жизни люди стали узнавать меня на улице. «Это Лапид, – шептали они друг другу, проходя мимо, – это же Лапид из телепередачи». Я делал вид, что не слышу, но испытывал огромное удовольствие.

Передача имела еще одно следствие, менее существенное: мы купили телевизор. Это был квадратный деревянный ящик «Зенит» размером с небольшой комод, с металлическим переключателем

каналов. Техник, пришедший устанавливать его, целый час провозился с антенной, пока не отрегулировал как следует. Мы с Шулой заняли каждый свое кресло, а он взял стул и уселся между нами. Минут через пять он заснул. Мы просидели так около часа.

– Разбуди его, – шепнула мне жена.

– Сама разбуди, – прошептал я в ответ.

Только к полуночи, когда мы уже были уверены, что он поселился у нас навсегда, техник проснулся, собрал инструменты и ушел. Так я усвоил первый урок профессии: зрители воспринимают телевидение гораздо менее серьезно, чем те, кого оно показывает.

Глава 33

Час ночи. Не могу заснуть, поэтому развалился в кресле в своем любимом клетчатом халате. Из соседней комнаты слышу звуки легкого постукивания по клавиатуре – это Шула то ли пишет новую книгу, то ли снова играет в маджонг. С книжной полки достаю свою вторую по счету книгу «Кофе в постель» – сборник юмористических эссе, написанных для журнала «Ат» тридцать пять лет назад. Открываю книгу наугад. «Простой человек». Читаю и улыбаюсь. Рука сама тянется к авторучке, лежащей на столе, и я начинаю править: убираю строчку, исправляю выражение, заменяю войну во Вьетнаме на войну в Ираке. Неплохо писал молодой Томи Лапид, жаль только, что у него не было такого редактора, как старый Томи Лапид.

Через полчаса я закрываю книгу и иду спать. Может, когда-нибудь Яир найдет отредактированный вариант и поймет – его отец верил, что совершенствоваться никогда не поздно.

> *«Я человек простой: мой любимый цвет – красный, а любимый цветок – роза. Я предпочитаю ясный и солнечный день пасмурному и ненастному. Иногда ссылаюсь на Сартра, хоть и не читал ни одной его книги.*
>
> *Выходные я предпочел бы провести в постели, чем среди колючих кустарников на природе. Люблю есть горячий суп: картофельный или фасолевый, – потому что я человек простой. Зимой сплю с закрытым окном, а летом не люблю купаться в море, потому что мазут к ногам прилипает. В магазине настаиваю на том, чтобы купить то, что нужно мне, а не то, что всучивает продавец. И не оставляю чаевые официанту, забывшему принести мне стакан воды.*
>
> *Я человек простой: люблю нескольких друзей и некоторое число людей ненавижу – это способствует пищеварению. Я не считаю, что все богатые – мошенники, я и сам хочу стать богатым. Я считаю, что пожилые люди, как правило, умнее молодых.*
>
> *Я простой человек: своих детей люблю больше чужих, детей – больше, чем взрослых, евреев – больше, чем неевреев. Я не верю в то, что все равны, – некоторые действительно равнее.*
>
> *Я простой человек: хочу верить, когда обо мне говорят хорошо, и терпеть не могу критики. Люблю перемывать косточки другим, но время от времени*

заявляю, что никогда не сплетничаю. Я поддерживаю позицию Америки по Ираку и хотел бы сохранить территории – без арабов, конечно. И, как все, знаю, что это невозможно.

Как все простые люди, я надеюсь, что врачи победят рак до того, как выпадет мой номер, и склонен забывать, что есть люди, которые ездят на автобусе. Я слишком много ем, злюсь на себя за это, но подтруниваю над теми, кто делает утреннюю зарядку. Когда-то я ходил на дни рождения, потом на бар-мицвы, затем на свадьбы, теперь снова хожу на бар-мицвы – уже своих внуков.

Я не суеверен, но чувствую себя неуютно, когда дорогу перебегает черная кошка; и я никогда не знаю, сколько нужно давать детям, которые стучатся в дверь и просят пожертвовать на то или другое.

Потому что я человек простой – без выкрутасов, но зато надежный, член самой большой в мире партии простых людей».

Быть простым бывало очень нелегко, но с годами стало моим главным оружием. Интеллигентные люди, интеллектуалы в особенности, склонны все усложнять. Они слишком заняты своими переживаниями, попытками изучить каждую проблему со всех сторон, копанием в своем подсознании. Я никогда таким не был. Для меня мир делится на черное и белое, и я довольствуюсь тем, что способен видеть немного больше черного и немного больше белого, чем большинство людей.

Хотя по мере приближения к семидесятым передо мной возник совершенно новый вопрос: что происходит с простым человеком, когда его жизнь становится слишком простой? Ответ: ему становится смертельно скучно.

Главной проблемой было то, что все было в порядке.

Я продолжал издавать пользовавшийся успехом «Ат», у меня был красивый кабинет с красивым столом и красивая секретарша, у которой, в свою очередь, была своя красивая секретарша. Мои юморески составили три книги, ставшие бестселлерами, семейная жизнь была счастливой, и трое детей были моей отрадой. Полагаю, многие на этом успокоились бы. Я же потихоньку сходил с ума. Всю жизнь у меня были серьезные цели, а сейчас я занимался губной помадой.

Кроме того, я мучился еще и оттого, что у меня была слишком успешная заместительница, Сара Рипин (ставшая впоследствии писателем и переводчиком современной

американской литературы. Именно Сара познакомила целое поколение читающих на иврите израильтян с творчеством Филипа Рота). Она очень быстро подчинила себе всю редакцию, а я стал там лишним, ну или почти лишним.

Шула же тем временем расцветала.

Спустя несколько месяцев после нашей свадьбы я заметил, что она пишет по ночам.

– Дай почитать, – время от времени просил я.

Она всегда отказывалась. Только после долгих уговоров и задабриваний дала мне свои первые рассказы. В них было что-то необузданное, анархистское и сексуальное, что совершенно не вязалось с ее замкнутой натурой. Новый репатриант во мне завидовал тому, как она в совершенстве владеет ивритом, как гнет, крутит и месит его – как гончарную глину. На тот момент я уже был достаточно опытным редактором, чтобы понять, что предо мной неограненный алмаз.

– Вот чем тебе нужно заниматься в жизни, – заявил я, – все остальное будет бесполезной тратой времени.

Шула категорически отказалась следовать моему совету. В те дни нас душили долги по ипотеке и расходы на детей, и она считала своим долгом выйти на работу. Однако я воззвал к памяти британского поэта девятнадцатого века Роберта Браунинга, который всю жизнь знал, что настоящим талантом в семье является жена – Элизабет Барретт-Браунинг.

– Когда-то меня будут помнить только как мужа писательницы Шуламит Лапид, – сказал я. – Это и будет моим вкладом в израильскую культуру.

В конце 1969-го вышла в свет первая книга Шулы «Знак Рыбы». Это был сборник коротких сюрреалистических рассказов, в которых было столько скрытого насилия, что это почти испугало меня. Позднее Шула станет самым продаваемым автором в стране, но «Знак Рыбы» коммерческого успеха не имел. В отличие от читателей критики сразу заметили новый уникальный голос и с энтузиазмом хвалили его. Да и снобистский литературный истеблишмент тоже принял дебют Шулы тепло. Единственное, что не давало им покоя, – это вопрос: что общего может иметь хрупкая писательница с этим дикарем-венгром?

Тот факт, что моя жена нашла свое место в жизни, еще более усугубил мое чувство потерянности. От отчаяния я пошел к Дисенчику и попросил, чтобы мне дали еще какую-нибудь работу. Он несколько дней раздумывал и назначил меня корреспондентом «Маарива» в Кнессете.

Через несколько месяцев работы в Кнессете я почувствовал,

что начал заболевать политикой. То, что могут делать эти забияки, смогу и я. Из всех партий мне ближе всего были независимые либералы, во главе которых стоял министр туризма Моше Коль. Это были образованные люди широких взглядов, а самое главное – они, как и я, ненавидели социализм.

Через какое-то время Коль убедил меня присоединиться к только что образовавшемуся молодежному крылу партии (которое так никогда и не встало на ноги). Когда об этом узнал Дисенчик, то сказал, что придет навестить меня в Кнессете. Я опасался, что он устроит мне разнос, но ошибся.

– Пойдем посидим в здешнем кафетерии, – предложил он.

«Маарив» был тогда в самом расцвете, и, как только мы сели за видавший виды деревянный столик, нас окружили подхалимы. Министры и члены Кнессета, прослышавшие, что редактор «Маарива» появился в здании, столпились вокруг столика, любезничали с ним, цитировали его статьи, предлагали ему эксклюзивные интервью и сливы, которые берегли исключительно для него. Если бы не было так смешно, сцена была бы по-настоящему жалкой.

Дисенчик отвечал всем с добродушным выражением лица, иногда делал вид, что записывает что-то в своем блокноте. Когда мы снова остались одни, он повернулся ко мне.

– Ты должен определиться, Томи, – сказал он, – что ты предпочитаешь – угождать другим или быть тем, кому угождают?

– Я бы предпочел, чтобы угождали мне, – неуверенно произнес я.

– Тогда выбирай: или политика, или журналистика. Ты не можешь заниматься и тем и другим одновременно.

Я выбрал журналистику, но про себя произнес слова генерала Дугласа Макартура, сказанные им после отступления с Филиппин: «Я еще вернусь».

Глава 34

Однажды летом 2007 года Шула послала меня купить сосиски. Я неторопливо прогулялся до ближайшего супермаркета и купил упаковку франкфуртеров. Возвращаясь домой, встретил огромную шумную толпу, которая направлялась в мою сторону по улице Бен-Иегуда под музыку из огромных динамиков, водруженных на грузовик. Во главе этой странной процессии кружились полуголые танцоры, в основном мужчины. Заинтригованный, я остановился посмотреть. Первые из потока уже добрались до меня и тут же окружили с энтузиазмом.

– Господин Лапид, – горячо обратился ко мне один из них, пожимая руку, – вы даже не представляете, как это важно, что такой человек, как вы, пришел нас поддержать!

Другой, помоложе, почему-то одетый в юбку, хлопнул меня по плечу и стал выкрикивать в мегафон: «Лапид пришел на наш парад! Лапид пришел на наш парад!»

С большим запозданием я догадался, что попал на гей-парад, который устраивает в Тель-Авиве общество гомосексуалистов и лесбиянок. Они были так рады меня видеть, что мне не хватило духу сказать, что я просто случайно проходил мимо. Через несколько минут я обнаружил, что торжественно возглавляю этот парад – в одной руке мегафон, в который я выкрикиваю лозунги поддержки, в другой – пакет с сосисками, а за спиной танцуют тысячи геев и лесбиянок.

Гей-парад в Тель-Авиве – один из признаков (но ни в коем случае не единственный), что мы идем в правильном направлении. Несмотря на географию, а может, и на историю, мы, к великому счастью, не вписались в Левант. Нас не покорили ни трели восточных мелодий, ни завитки пейсов хасидов Одессы и Галиции. Израиль, при всем разнообразии своих колен, – это развитая западная страна высоких технологий, либеральная, с бесспорной традицией демократии.

У любого человека есть право предпочитать фольклор мест, откуда он родом, но я всегда считал, что само наше существование зависит от того, что мы ближе к Европейскому союзу, а не к Объединенным Арабским Эмиратам. Моим самым большим вкладом в эту тему были не статьи и поправки к законам, а проект, лишенный какой-либо идеологической подоплеки. Это был «Путеводитель Лапида по Европе».

Идея родилась еще в счастливые дни моего пребывания в Лондоне, когда «Маарив» призвал меня на две недели в Израиль, чтобы поработать над приложением, посвященным туризму. Я

стал собирать материал и обнаружил, что для израильских туристов не существует ни одного путеводителя. Американские и английские путеводители, которыми наши люди пользовались, были очень профессиональными и сухими, как черствый хлеб. А главное, их авторы не заботились о том, чтобы осветить «еврейскую тему». Они не указывали адрес «У Жиля» – единственного кошерного ресторана в Брюсселе, не могли объяснить, почему нельзя пропустить Музей Холокоста в Берлине, почему в Государственном музее в Амстердаме стоит посмотреть картину Рембрандта «Еврейская невеста», в чем состоит национальная трагедия, скрытая в мраморных завитках Триумфальной арки Тита в Риме, и даже не упоминали тот факт, что в отеле «Кастиль» в Париже бородатый еврей по имени Теодор Герцль написал небольшую брошюру под названием «Еврейское государство».

Целых три месяца в 1969 году я шлялся по Европе за счет издательства. Я видел почти все и записал все, что видел.

Автор путеводителя – это сочетание зануды, писателя, профессионального потребителя, человека культуры и армейского командира, кричащего: «За мной!» За всю свою долгую жизнь больше ничему я не уделил столько времени и внимания. Нет такого туристического агентства, в котором я не побывал, нет маршрута, который я не прошел своими ногами, нет карты, которую не вызубрил наизусть. Я постоянно помнил, что путешествующий с моей книгой попадает в зависимость от того, что там написано. Если ты предлагаешь ему выйти из церкви, пройти десять шагов налево и выпить сок киви в киоске напротив, под тополем, – необходимо, чтобы там стоял киоск, и необходимо, чтобы в нем был сок киви, иначе он никогда больше тебе не поверит.

Первое издание вышло в 1970 году и стало невероятно популярным. С тех пор в течение более тридцати лет почти каждый год выходило новое, дополненное издание. Одним из его отличий от других путеводителей стало мое предложение к читателям: каждый приславший мне дополнение или предложение, которое будет включено в путеводитель, получит бесплатно три экземпляра следующего выпуска со ссылкой на него. За тридцать лет работы с путеводителем я получил около двенадцати тысяч писем. Я прочитал все и всем ответил, включая одного зануду, угрожавшего подать на меня в суд, потому что я не указал, что каждый, кто переплывает на пароме из Копенгагена в Гётеборг, должен иметь при себе паспорт, иначе ему не разрешат ступить на территорию Швеции.

Сегодня я перечитываю тот первый выпуск с легкой

ностальгией и нахожу, что Европа осталась прежней, а мы немало изменились.

Кто поверит, что, описывая тогда итальянскую кухню, я уделил несколько строк пояснению, что пиццу готовят не только из теста и томатной пасты – итальянцы добавляют в нее анчоусы, грибы или ломтики колбасы. Про Бельгию я объяснял, что на городской площади в Брюсселе находится чистый и дешевый американский ресторан, в котором продают гамбургеры, со странным названием «Макдоналдс». Про улицу Строгет в Копенгагене я написал подробно: «Особенность ее состоит в том, что движение по ней запрещено, поэтому можно спокойно прогуливаться посреди улицы, разглядывая витрины с обеих сторон» (и все только потому, что тогда в иврите еще не было слова «пешеходная»).

Но смешнее всего, пожалуй, было то, как я изворачивался, чтобы объяснить простодушным израильтянам, что в Европе есть магазины, которые у всех на глазах (при всем честном народе!) продают (вы не поверите!) секс-игрушки! В иврите не было тогда такого слова – «секс-шоп».

С годами у путеводителя появились конкуренты, но ни один из них не обошел его по популярности. Израильтяне привыкли путешествовать «с Лапидом», выбирать отель, который порекомендовал им «Лапид» (и получить десять процентов скидки на проживание, предъявив путеводитель), и есть в свое удовольствие, когда «Лапид» лежит возле тарелки и советует пренебречь отвратительным супом из осьминогов, который часто предлагают доверчивым туристам в Неаполе.

Однажды, когда я гулял по Венеции со своим путеводителем в руке, ко мне обратился моряк – араб из Израиля – и сказал: «Я не знаю города, а у тебя в руках, я вижу, путеводитель Лапида, – можно к тебе присоединиться?» Я сказал, что буду рад, и мы полдня бродили вместе по городу каналов, а он так и не узнал, что «Юссеф», с которым он путешествует, и есть тот самый Лапид. А еще мне прислали однажды статью из лондонской «Таймс» о том, как подвипивший израильтянин пытался прорваться в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, сжимая в руке «Путеводитель Лапида», и категорически утверждал, что Лапид сказал, что это одна из достопримечательностей, которую стоит посетить.

Глава 35

Мама умерла 7 июля 1973 года. За два дня до этого она была у врача, который объяснил ей, что рак добрался до печени, и надо начать курс химиотерапии. Мама терпеливо выслушала его и задала на своем ломаном иврите несколько вопросов, которые в основном касались выпадения волос. Затем отправилась домой, в свою большую пустую квартиру (ее муж Нахуми, психиатр, скончался два года назад) и позвонила мне.

– Все будет хорошо, мама, – сказал я ей, – мы переживем это вместе.

Как пережили гетто, коммунистов и рак, убивший Руди. Она плакала, но не сильно. В конце концов, как это нередко бывает в таких случаях, она стала успокаивать меня.

В ней не было страха. Люди, однажды уже умиравшие, страха не испытывают. По меркам войны, она считалась везучей. Нацисты не убили ее, они лишь забрали ее жизнь.

Когда-то ее будущее было очевидным: умный муж, единственный сын, просторная вилла с обеденным столом из красного дерева, туфли на шпильках, купленные специально для новогодней вечеринки, в которых она кружилась бы в танце по мраморному полу под звон бокалов с шампанским. Ей предстояло состариться рука об руку с отцом, который всегда продолжал бы видеть в ней молодую красавицу, не замечая появления все новых и новых морщинок в уголках глаз и старческих пятен, тщательно замазанных крем-пудрой.

Мы всегда говорим о шести миллионах евреев, погибших в Катастрофе, но не говорим о миллионах других: тех, кто выжил, но чей мир – единственный, который они знали, – был разрушен. Всю жизнь маму учили только одному: вести себя хорошо. Принимать комплименты с благосклонной улыбкой, продолжать улыбаться на концерте, даже когда глаза уже слипаются; читать в саду книги и быстро снимать очки, когда кто-то приближается. Никто никогда не давал ей малейшего повода думать, что жизнь может так измениться. Культурные люди – объясняли ей – не станут убивать друг друга без причин.

Они ошибались. Культурные люди убивают друг друга каждый день. Как только она осознала эту свою ошибку, то в одно драматическое мгновение превратилась в свирепую тигрицу, способную на все, чтобы спасти своего детеныша. Когда война закончилась, в ней больше не было сил. Она закрыла окна своей квартиры и прожила всю оставшуюся жизнь, делая вид, что ничего не изменилось.

Снаружи, за кружевными занавесками, Израиль жил своей обычной нервозной жизнью. Ее единственный сын выучил этот невозможный язык и стал журналистом. Внуки разгуливали, к ее ужасу, загорелые как крестьяне и в сандалиях на босу ногу. Когда они приходили к ней, она брала бутылку апельсинового сока и пачку ирисок и шла с ними в Дубнов-парк напротив дома, чтобы они не носились в гостиной, рискуя перебить ее любимый фарфор.

Пару раз в неделю к ней приходили дамы, похожие на нее, в платьях со складками на талии и белым жемчугом на шее, натягивали зеленый войлок на круглый стол и играли в бридж. Через час она выходила на кухню и возвращалась с чайником немецкого розентальского фарфора, ставила сахарницу с рафинадом, сливочник и серебряное ситечко с чаем «Английский завтрак» – ведь англичане понимают в чае лучше всех. Они медленно потягивали чай и еще медленнее играли. Я помню эти возгласы из соседней комнаты: «север – две взятки, юг – пас», и смех, и разговоры на невероятной смеси иврита, немецкого и венгерского.

Поговорив со мной в тот вечер, мама еще походила по квартире и выпила кофе, сидя за круглым столиком – с этого места она могла видеть свое отражение в стеклянной двери. Затем она приняла душ, надела свое самое красивое платье, старательно накрасилась, достала из бара хрустальный бокал, бутылку коньяка и отправилась в спальню. Взяла из ящика трюмо две упаковки снотворного, проглотила все разом, и потихоньку пила коньяк, пока сознание ее не затуманилось. Такой мы ее и нашли – бледной и красивой. Светлые волосы, которые всегда были предметом ее гордости, рассыпались по подушке золотым веером.

Глава 36

Японял, что началась война, когда в Йом-Кипур, самый святой день в году, увидел, как еврей в полном хасидском облачении с длинными пейсами вылезает из машины и идет на перекресток ловить следующую попутку. В руке он держит бархатный мешочек с талитом, который где-то послужит ему подушкой сегодня. Если все-таки есть Бог, он, конечно, улыбался, глядя на своего еврея, который отправляется в Йом-Кипур на войну, вооруженный одним лишь молитвенным покрывалом.

За два дня до того я встретил в коридоре «Маарива» Яакова Эреза, военного корреспондента газеты (впоследствии ставшего ее главным редактором), коренастого вспыльчивого человека. Он держал в руке лист бумаги.

– Ты только посмотри, – сказал он, – они спятили!

Это было сообщение, написанное им в то утро, – о том, что египтяне, готовясь к войне, сосредотачивают войска на Синае. Военная цензура вычеркнула все слова, оставив только его имя.

– Они спятили, – повторил он, – говорю тебе, скоро начнется война!

Но «они» не были сумасшедшими, они были такими же, как мы: иногда тщеславными, иногда глупыми, иногда удивлялись, иногда заблуждались, а иногда ошибались и зачастую предпочитали закрывать глаза на дурные вести. Война Судного дня изменила взаимоотношения власти и израильского общества: после нее мы уже больше не могли верить в то, что в Кнессете и в правительстве сидят дети богов, неспособные ошибаться.

Когда израильские политики обвиняют средства массовой информации в агрессивности, они забывают или предпочитают игнорировать тот факт, что однажды мы оказались на краю гибели только потому, что слепо им, политикам, верили. В начале двухтысячных тот же Яаков Эрез со своим эксклюзивным сообщением пошел бы в Верховный суд или устроил бы утечку информации в интернет, а оттуда – в зарубежную прессу. Наши руководители горько сетовали бы на то, что пресса недостаточно патриотична, или обвиняли бы ее в безответственности, – но жизни сотен израильских солдат были бы спасены. По-моему, это важнее.

На исходе праздника Йом-Кипур в 1973 году я испытал сильное ощущение дежавю. Все это я уже однажды слышал и видел: резервисты покидают свои дома с большими сумками за

спиной, непрерывно звучат сообщения по радио, водители подвозят всех голосующих на дорогах, на сборных пунктах бывалые солдаты приветствуют друг друга понимающими улыбками на лицах. За автобусом толстый солдат примеряет узкие брюки. «Я хочу позвонить жене», – говорит кто-то. Это типичная фраза всех израильских войн, настоящий пароль всех резервистов всех поколений: «Я хочу позвонить жене».

Утром мне позвонили из «Маарива» и послали на пресс-конференцию министра обороны Моше Даяна.

Даян был сосредоточен и спокоен. Перед десятками микрофонов и телевизионных камер он начинает на иврите, а затем повторяет по-английски.

– Израиль не остановится, пока не прогонит со своей земли последнего вражеского захватчика, – уверенно заявил он.

От его слов мне стало легче, я воскрес духом. Лишь несколько лет спустя мне довелось узнать, что незадолго до этого выступления в приступе отчаяния Даян сказал генералам, что «началось разрушение третьего Храма» и что он не уверен, устоит ли государство.

Вечером я возвращаюсь домой. Шула с детьми в бомбоубежище, но я поднимаюсь на четвертый этаж, встаю на табурет в кухне и наклеиваю на окно черный картон. Таковы распоряжения штаба гражданской обороны по затемнению: позаботиться о том, чтобы отблески света в домах не выдали вражеским самолетам, где сосредоточено население. Я спускаюсь с табурета, смотрю на результат своего труда. В кухне теперь темно и душно, как в бомбоубежище. Действительно ли я слышал вдалеке гул самолетных двигателей или это были мои воспоминания? На меня напал голод. Или он никогда не покидал меня? Я достаю из холодильника колбасу и отрезаю два толстых ломтя хлеба. Сижу один за кухонным столом в бело-голубую клетку и ем в темноте.

Война длилась три недели. Мы победили, но, как сказал Пирр, царь Эпира: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». В боях погибли 2656 израильтян. Наша самоуверенность испарилась. Война, любая война – это целая мозаика из многочисленных «что, если бы», каждое из которых имеет свои варианты последствий. Что, если бы седьмой танковый батальон под командованием Авигдора Кахалани не остановил в три раза превосходящие силы противника в знаменитом сражении в Долине Слез? Что, если бы Голда Меир не позволила начальнику Генерального штаба мобилизовать резервистов вопреки мнению Даяна? Если бы Шарон не пересек Суэцкий канал? Если бы

американцы не перебросили по воздуху военную технику и боеприпасы, которые спасли нас от поражения? «Каждое утро мы стреляем тем, что американцы присылают нам вечером, – признался тогда начальник Генерального штаба Давид «Дадо» Элазар, – свои запасы мы уже давно прикончили».

Мое душевное состояние было не лучше, чем у других граждан Израиля. Впервые со дня репатриации я не чувствовал себя полноценным участником того, что происходит. Мне было сорок два, я был слишком стар, чтобы сражаться (и даже для того, чтобы ремонтировать сломанную технику), и слишком молод для того, чтобы мой голос мог что-то изменить. За время войны я написал несколько страстных статей, скорее для поддержки меня самого, но мой голос затерялся в общем шуме.

Моя новая пьеса «Поймай вора», которая была поставлена в начале года, тоже не получила признания. Критики разгромили ее, и всего лишь после восьмидесяти четырех спектаклей она сошла со сцены. С тех пор для театра я больше не писал.

Установилась странная тишина. Люди возвращались домой и выходили на работу с ощущением, что что-то сломалось навсегда. Гнев не выплеснулся наружу, а сочился, как яд. Вначале была создана комиссия под председательством Аграната, затем последовали суровые выводы и снятие с должности начальника Генерального штаба. Мне было жаль Дадо – как и я, он был спасшимся от Катастрофы выходцем из Югославии, и, встречаясь, мы с ним болтали по-сербски.

В мае 1974-го ушла в отставку Голда Меир, вместо нее премьером был назначен молодой Ицхак Рабин. Возможно, это было эгоистично – примерять все на себя, но я не мог иначе. Мое поколение (Рабин был старше всего на девять лет) брало в руки бразды правления страной, а я застрял в женском журнале, среди утративших вкус рецептов и костлявых моделей, жеманно семенящих мимо меня на фотосессии. Я ждал, не представляя себе, чего жду.

Глава 37

Во время работы над своей биографией я иногда спрашивал себя: достаточно ли внимания я уделил тому факту, что я уже умер?

Смерть моя должна была быть больше чем рекламным трюком или способом освободить Яира от гнетущей тени довлеющего над ним отца. Мой сын, уже взрослый седеющий человек, сидит в рабочем кабинете и беззвучно плачет. В отличие от своего отца, который никогда не стеснялся рыдать в присутствии других людей, Яир плачет только в одиночестве. Как и у всех в нашей семье, у него есть опыт в делах смерти. Уход Михаль (о, дочь моя, моя дорогая доченька, лучше бы я умер вместо тебя: ни один человек не должен пережить своего ребенка!) научил нас справляться с утратой – тому, что справиться с этим невозможно.

«О ад, где твоя победа?» – поет хор в «Немецком реквиеме» Брамса, который сейчас звучит фоном. Яир скачал все мои старые классические диски на свой компьютер, и теперь этот любитель рок-н-ролла слушает их снова и снова, пока звуки не овладевают им полностью. Оставив в покое клавиатуру, он сидит перед темнеющим экраном.

Чему научила меня смерть, чего я не знал при жизни? Какой урок преподнесла мне? Что я понял за полтора месяца угасания – на удивление спокойного – в палате номер восемьдесят четыре башни госпиталя «Ихилов», чего не знал раньше?

Я могу судить только по собственному опыту, другого у меня нет. Я копаюсь в сотнях писем, тысячах документов и миллионах напечатанных слов, из которых сложилась моя жизнь, и обнаруживаю, к своему стыду, что не один раз был уверен в том, что она уже закончилась.

«Боюсь, что я превратился в того, кого уже нет», – писал я в смешном возрасте тридцати трех лет; «Похоже, карьера моя закончилась», – писал я в сорок два года, незадолго до ухода с поста редактора «Ат»; «Видимо, все кончено», – писал я в пятьдесят два, после того как меня не назначили повторно на должность директора телерадиовещания; «У меня была прекрасная, жизнь и мне не на что жаловаться», – разглагольствовал я перед друзьями в свой день рождения в шестьдесят восемь лет, уверенный, что я, трезво и рационально глядящий на мир пенсионер, передаю факел следующему поколению. (Тогда я не знал, что через два месяца возглавлю партию «Шинуй» и все – опять – начну сначала.)

Смерть не сделала меня умнее (я был достаточно умен и раньше), но по крайней мере благодаря ей я понял замечательное высказывание американского певца и актера Джимми Дина – «Надо испытывать судьбу хотя бы раз в день – вдруг тебе весь день везло, а ты просто не подозревал об этом».

Судьбу мою определило то, что я никогда не упускал возможности открыть себя заново. Годы научили меня тому, что именно люди, боящиеся изменений, меньше всего довольны своей жизнью. Я не психолог, но меня поражает: чего они все боятся? Если тебе не нравится твоя жизнь – иди и сделай что-нибудь! Из своего опыта могу сказать, что это позитивно повлияет не только на твою жизнь, но и на твою смерть. Вряд ли можно придумать более ценный подарок себе, чем смерть без сожалений.

Яир, ты чувствуешь сейчас, как я кладу руку тебе на голову? Теплая, полная и мягкая рука гладит тебя, пока не перестанет вздрагивать твое плечо. Помнишь ли ты письмо, которое я написал тебе на бар-мицву? «Ты – мой личный ответ, – написал я, – на мою бар-мицву, на нацистов, на судьбу евреев в изгнании, на смерть моего отца». Продолжай писать, мой мальчик. Позволь мне рассказать тебе дальнейшую историю моей жизни. Я старался научить тебя всему, пока мы были вместе, но нам нельзя останавливаться на последнем уроке: даже когда мы не знаем, что делать, мы продолжаем делать. Другого пути нет.

Весна 1977 года принесла с собой массу перемен.

В начале марта журналист Дан Маргалит опубликовал материал о противозаконном долларовом счете премьер-министра Ицхака Рабина в Соединенных Штатах, из-за чего тот вынужден был уйти в отставку. Через два дня произошла еще одна национальная катастрофа: выяснилось, что мой вес дошел до ста сорока килограммов. Я сел на диету.

17 мая состоялись выборы. В десять вечера на экране появился Хаим Явин, который объявил: «Дамы и господа, это переворот!» Впервые в истории Израиля к власти пришла партия правого уклона «Ликуд».

Я сидел дома, смотрел репортажи о ходе выборов, и меня не покидало чувство разочарования. Среди кандидатов «Ликуда» были люди, которые вместе со мной когда-то входили в молодежный список партии «Независимые либералы». Сейчас они становятся министрами, а я смотрю на них по телевизору! Что это – мой поезд ушел, а я этого не заметил? Или я непригоден для политики? С диетой было покончено.

9 ноября Шула отмечала свой день рождения – сорок три года. Как всегда, мне хотелось наполнить дом друзьями и

воздушными шариками, и, как всегда, она отказалась. В результате мы отправились ужинать в ресторан вместе с детьми и подняли бокалы в ее честь. Я смотрел на нее, и счастье переполняло меня. Она была красивее, чем когда-либо, по-прежнему изящная даже после трех родов, умная, очаровательная – лучшая спутница жизни, которую только мужчина может пожелать.

Я посмотрел на детей. Семнадцатилетняя Михаль была лучом света в моей жизни – умная и общительная, отличница, всегда окруженная друзьями и поклонниками, любящая старшая дочь, понимающая своих родителей и всегда готовая поучаствовать в воспитании младших брата и сестры.

Причина беспокойства сидела справа от нее – мой унылый и погруженный в себя сын. В четырнадцать лет ребенок, который ходил за мной повсюду и копировал мои движения, превратился в классического подростка – отрастил волосы до плеч, купил гитару и перестал со мной разговаривать. Его успеваемость быстро скатилась вниз, я ругался и кричал, но все было бесполезно. Пару недель назад я обнаружил, что он пытается спрятать от нас свою ведомость за триместр (увидев оценки, я пожалел, что ему это не удалось), и поколотил его. Мало о чем в своей жизни я сожалел больше, но в свое оправдание скажу, что вырос в такое время, когда телесные наказания были неотъемлемой частью воспитания. Спустя годы, когда он сам стал отцом, мы поговорили об этом откровенно. «Ты знал, как меня воспитывать до тринадцати лет, потому что именно в этом возрасте ты потерял своего отца, – сказал он мне, – а мы воспитываем детей по той модели, с которой знакомы по собственному детству. Как только ты лишился модели, то слегка растерялся».

Я подумал, что он, пожалуй, незаслуженно прощает меня, но с радостью согласился с его версией.

Ну а Мерав была Мерав. Наша мудрая девочка, цельная и самодостаточная в свои одиннадцать лет, маленькая автаркия, которая сама себя занимает, развлекает и ни в ком не нуждается. Несколько месяцев назад она осуществила мою детскую мечту, с поразительной легкостью победив на юниорском чемпионате Израиля по шахматам. Сразу же по окончании турнира она сложила фигуры в картонную коробку и заявила, что больше играть не будет. Я пытался уговорить ее продолжать, но она посмотрела на меня с высоты своих ста двадцати сантиметров и сказала: «Папа, это была твоя мечта, а не моя». И с тех пор никогда не притронулась к шахматам.

Тем же вечером, когда мы вернулись домой, мне позвонил

коллега. Его переполняли эмоции.

– Ты слышал? – спросил он.

– Что?

– Садат выступал сегодня в египетском парламенте. Он заявил, что собирается прибыть в Израиль и подписать с Бегином мирный договор.

* * *

Как каждый американец старше определенного возраста помнит, где был и что делал в день убийства Кеннеди, так же и каждый израильтянин семидесятых помнит эту картину – смуглый, сдержанный Анвар Садат спускается по трапу президентского самолета в аэропорту Лод.

Острая послевоенная депрессия начала отступать, уступая место робкому оптимизму. Бегин привел нас не к новому разрушительному столкновению, чего многие опасались, а к первому признанию Государства Израиль арабской страной.

Впоследствии, когда историки получили доступ в архивы, обнаружилось, что Садат пытался протянуть нам руку дружбы еще до войны Судного дня, но Голда Меир отказывалась верить в искренность его намерений. Снова проявился известный израильский парадокс: только правые, воинственные и неумолимые, способны заключить мир, в который поверит все израильское общество; и только левые, мягкие и либеральные, способны начать войну, которую поддержит весь народ, не задумываясь о ее необходимости.

Старые элиты, как и следовало ожидать, не сдались без боя, который происходил теперь в средствах массовой информации.

Со мной связался секретарь кабинета министров Арье Наор.

– Скажи, Томи, – спросил он, – если бы тебе предложили стать генеральным директором телерадиовещания, ты согласился бы?

Тогда в ведении Израильского управления телерадиовещания были все радио– и телеканалы в стране. Это было самое высокое положение для журналиста в Израиле, положение, которое позволяло оказывать невероятное по сегодняшним меркам влияние на общественное мнение. У вечерних передач был сумасшедший рейтинг – до восьмидесяти и даже девяноста процентов. Вся страна сидела каждый вечер у телевизора, чтобы завтра на работе обсудить увиденное.

Мы стояли друг против друга с бокалами вина в руках, и вся

ситуация выглядела как плохой спектакль: обычно в голливудских фильмах именно так изображают процесс принятия серьезных решений – в непринужденной беседе на вечернем коктейле.

– Да, – ответил я, – почему бы и нет?

9 февраля 1979 года я поехал в Иерусалим на встречу с премьер-министром. В половине двенадцатого утра Бегин принял меня. Он поднялся, чтобы пожать мне руку. На стене его просторного кабинета висел флаг Израиля, на полках стояли разные подарки, полученные им за последние два года. Стены были отделаны деревом. Очень элегантно, но без роскоши. Бегин был бледен и задумчив. На протяжении всего разговора он был несколько отстраненным, погруженным в себя.

– Господин премьер-министр, конечно, понимает, – сказал я, – что в мои намерения не входит создавать телевидение, которое будет проводить линию партии. Но оно будет сионистское и израильское.

Он довольно неубедительно кивнул. Мы беседовали еще где-то с полчаса. Я напомнил ему, что когда-то освещал один из его официальных визитов – в Румынию. Лицо его просветлело, и он увлекся длинным рассказом о своей встрече с Чаушеску, румынским диктатором. В конце концов он снова встал, еще раз пожал мне руку и пожелал успехов на новой должности. Так я стал генеральным директором.

Глава 38

Почему воспоминания именно об этом периоде моей жизни повергают меня в уныние?

В новой должности все соответствовало моему воинственному складу характера: долгие шумные споры, профессиональные поиски, столкновения на высшем уровне и сражения с самим собой, в которых я иногда одерживал победу, а подчас терпел поражение. Но я не скучал ни единой секунды. В какой-то мере это и был период, когда окончательно развеялся страх, который довлел надо мной со времен Катастрофы, – если я не буду играть заметную роль в обществе, то просто перестану существовать.

И я был заметен! После длившихся годами споров с ветеранами «Маарива» по поводу автобусных проездных для корреспондента в отдаленных районах я вдруг оказался во главе учреждения со штатом в тысячу шестьсот работников, которое имело бюджет в миллиард восемьсот миллионов лир (около трехсот миллионов долларов на сегодняшний день!) и, что даже более существенно, играло важную роль в становлении национального самосознания. Даже те, кто был не согласен с моими методами управления этим ведомством, были вынуждены признать (скрипя зубами), что я изменил его основательно. Не было в стране ни одного человека, у которого не было бы собственного мнения на мой счет. Одни горячо презирали меня, другие с не меньшим энтузиазмом поддерживали.

Однако время, вопреки известному изречению, не только лекарь. Оно также и горькая пилюля. Сегодня я задаюсь вопросом: все ли, что я делал, было на самом деле важно? Возможно, это точка зрения стариков: что на самом деле нет ничего особо важного и все большие сегодняшние битвы становятся в лучшем случае завтрашними анекдотами.

И все же мне кажется, что я внес свою лепту в тот болезненный процесс, в результате которого власть над израильским обществом была вырвана из рук старой гвардии, основавшей наше государство. Нет ничего опаснее состарившихся революционеров – именно к ним относились люди, которые еще зимой 1979-го, через два года после победы «Ликуда» на выборах, считали потерю власти прискорбной ошибкой, которая в скором времени будет исправлена. Печально известное заявление Ицхака Бен Аарона – «Если это то, что выбрали люди, то я отказываюсь принять их выбор» – по-прежнему звучало зловещим набатом.

Вечером накануне моего вступления в должность уже стало

ясно, какая музыка будет его сопровождать. В популярном тель-авивском клубе собрались деятели искусства, настроенные против меня. Произносились пламенные речи, подписывались воззвания, Йоси Банай вышел на сцену и, к удовольствию публики, исполнил песню Томаса Нормана «Блошка прыгнула наверх».

31 марта 1979 года Управление телерадиовещания проводило в Израиле конкурс Евровидения, и мой предшественник Ицхак Ливни попросил меня отложить вступление в должность на шесть часов, чтобы он смог выступить в роли хозяина на мероприятии, которое готовил долгие месяцы. Я, конечно, согласился, и вечером мы с Шулой стали свидетелями того, как Гали Атари с песней «Аллилуйя» заняла первое место.

Утром я вступил в должность не там, где нужно. В буквальном смысле. Я так мало знал об управлении телерадиовещания, что в первый день пришел в студию вместо своего офиса, который находился по соседству, в здании бывшей шпагатной фабрики.

– Доброе утро, – сказал я сонному охраннику на входе.

Он подозрительно оглядел меня и спросил:

– Чем могу помочь?

– Я – новый генеральный директор.

– Ну да, конечно, – сказал охранник.

Глава 39

В первый же день работы я обнаружил в кабинете внушительный сейф с эмблемой Армии обороны Израиля. Никто не мог объяснить мне его назначение. Через несколько дней мне позвонил отставной бригадный генерал и попросил аудиенции. Я поинтересовался, по какому поводу, он ответил таинственно:

– Расскажу при встрече.

– В этом сейфе, – рассказал он во время нашей встречи, – хранятся все секретные пароли на случай мобилизации резервистов. Поскольку ты отвечаешь за все радио– и телевизионное вещание в стране, то, если опасность войны потребует внезапной мобилизации, твоей задачей будет транслировать эти пароли.

Генерал выдал мне три одинаковых ключа – на тот случай, если один из нас или даже двое не смогут добраться до сейфа при введении чрезвычайного положения. Один ключ я держал в бумажнике, второй отдал своему заместителю, а третий – одному из старших менеджеров.

Прошли месяцы, и мы начисто забыли об этих ключах. Однажды мы с заместителем вылетели в Женеву на ежегодную конференцию Европейского союза телерадиовещания. В самолете мы говорили о нашем приятеле – старшем менеджере, который серьезно пострадал в автокатастрофе и уже два дня лежал в больнице без сознания. Внезапно мы оба замолчали и, потрясенные, уставились друг на друга: мы вспомнили о ключах. Два ключа от сейфа были у нас, летевших в Швейцарию, а третий – в клинике «Хадасса» в Иерусалиме. Если бы в то утро началась война, Армия обороны Израиля не смогла бы мобилизовать резервистов. Это был самый долгий перелет в моей жизни. Как только мы приземлились в Женеве, я бросился звонить руководителю службы безопасности телерадиовещания, чтобы он съездил в больницу и достал ключ из кармана пострадавшего коллеги.

В то время Управление телерадиовещания само было сейфом с тремя ключами. Один был у меня, второй у правительства, а третий у журналистов. Каждая сторона претендовала на то, что именно ее ключ основной, а два других – запасные.

Однажды утром я был приглашен на заседание правительства по обсуждению бюджета. И подвергся резкой атаке со стороны премьер-министра. Бегин привел длинный список членов оппозиции, которых приглашали на телевидение комментировать

события, и потребовал объяснить, почему представители правительственной коалиции не получают эфирного времени. В глубине души я был согласен с ним, но считал, что правительство не должно управлять телевидением. Бегин же не привык, чтобы с ним спорили.

– Уважаемый господин Лапид, – произнес он тем саркастическим тоном, которым обычно говорил с людьми на площадях, – считаете ли вы, что правительство должно бояться телерадиовещания?

Воцарилась тишина. В те годы никто не осмеливался отвечать премьер-министру, тем более когда он был в таком свирепом настроении.

– Господин премьер-министр, – сказал я, – пока правительство боится телевидения больше, чем телевидение боится правительства, в этой стране будет демократия. О другой возможности я даже думать не хочу.

Бегин поморщился, но ничего не сказал. Позднее в тот же день мне позвонил Арье Наор.

– Как ты смеешь так отвечать премьер-министру?! – заорал он на меня. – Мы тебя назначили, мы тебя и снимем!

Я бросил трубку и с того дня отказывался с ним говорить.

Были случаи, когда я оказывался виноватым только потому, что никто не знал правды. Одной из самых нашумевших историй был случай с документальным фильмом Моти Киршенбаума о турецком геноциде армян в период Первой мировой войны. Историки предполагают, что тогда были убиты или погибли от голода около восьмисот тысяч армян, а некоторые (среди них – турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук) считают, что число погибших составило более миллиона.

Буквально за несколько дней до даты показа фильма мне позвонил тогдашний генеральный директор Министерства иностранных дел Давид (Дэйв) Кимхи. Он рассказал мне, что на протяжении нескольких лет Израиль тайно вывозит из Сирии евреев, которым угрожает опасность (в основном это были женщины), – через турецкую границу и при поддержке турецкого правительства.

– Турки сообщили нам, – сказал Кимхи, – что, если фильм будет показан, они закроют границу. А теперь решай сам, как поступить.

Я решил отменить показ фильма, не имея возможности объяснить общественности причину такого поступка. Ханжи ликовали, радуясь моему позору. «Именно Томи Лапид, – писали газеты, – человек, переживший Катастрофу, помогает туркам

замалчивать геноцид, пережитый армянами». Были написаны десятки критических статей, и ни одна из них не была в мою пользу. Я даже не пытался реагировать на эти злорадные выпады, поскольку правду рассказать не мог, а врать не хотел.

Но если бы мне пришлось решать снова, я поступил бы так же. При всей болезненности этого решения, жизнь людей была важнее показа фильма – я знаю, что и по сей день среди нас живут женщины, чья судьба могла быть совершенно иной, если бы этот фильм вышел в эфир.

Поворотным моментом в моих взаимоотношениях с журналистами комитета стала резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. А поворотный момент в отношениях с самим собой случился несколькими месяцами ранее.

Первые дни Ливанской войны я испытывал сильное нервное напряжение, потому что Яир был в составе 500-й бронетанковой дивизии, вошедшей в Ливан, и целую неделю мы ничего о нем не знали. Через неделю он позвонил и слабым голосом произнес: «Я в больнице “Рамбам”». Выяснилось, что он надышался дымом шашки, маскировавшим посадку вертолетов, и у него случился приступ астмы. Его эвакуировали тем же вертолетом, который он помогал сажать.

На следующий день он приехал домой, обнял нас и пошел спать. Через два часа приехал солдат из отдела пропавших без вести, привез вещмешок Яира и принес нам соболезнования в связи с его смертью. Выяснилось, что Яир был в джипе вместе с двумя офицерами. Он вышел пообедать, а офицеры поехали дальше, через двести метров подорвались на мине и погибли. Когда вещмешок Яира нашли в останках джипа, то решили, что он тоже погиб. Если бы он не спал в соседней комнате, у меня случился бы инфаркт.

Мне не хотелось бы драматизировать на пустом месте, и Яиру не хотелось бы этого. В Ливанской войне были гораздо более тяжелые эпизоды и более героические, но со мной что-то тогда случилось. Я не люблю получившее распространение слезливое убеждение, что страна должна защищать «наших детей», облаченных в армейскую форму. Нет, это солдаты должны защищать страну, а не наоборот. Но я был потрясен тем, с каким легкомыслием правительство посылало наших детей на вражескую территорию.

Задача государства – тысячу раз подумать, прежде чем посылать солдат в бой. Как и многие израильтяне, я понял, что мы ведем неправедную войну в неправильном месте. До этого момента я был либералом по мировоззрению, с инстинктами

консерватора. Сейчас перевесило мировоззрение. И я решил про себя, что телевидение будет освещать эту войну не как финансируемый правительством канал, но в соответствии с принципами свободной журналистики.

18 сентября 1982 года я поехал в Кнессет отмечать наступление еврейского Нового года. В буфете ко мне подсел Рон Бен Ишай, наш военный корреспондент. Он выглядел изможденным и подавленным, что было на него совсем не похоже. «Прочти это», – сказал он, положив передо мной шесть машинописных страниц.

Я читал медленно, и чем дальше, тем сильнее было мое потрясение. Это было описание последних двух дней, которые Рон провел в палестинских лагерях Сабра и Шатила, когда христианские фалангисты вырезали сотни палестинцев, в том числе стариков, женщин и детей, а части Армии обороны Израиля стояли в стороне и ничего не предприняли.

– Ты уверен в этом? – спросил я его.

– Томи, я был там!

Рон был журналистом высшего класса, и я знал, что на его слово можно положиться.

– Ариэль Шарон знает об этом?

– Я звонил ему, он ничего не сказал.

Я понимал, что кто-то должен рассказать Бегину.

– Ну а что с показом? – спросил Рон.

– Мы дадим это в эфир.

Из Кнессета я поехал прямо в студию и собрал всех сотрудников отдела новостей.

– Коллеги, – сказал я им, – произошло нечто страшное.

Большинство из них услышали о резне впервые, другим уже были известны отдельные факты из передач Би-би-си, но никому не удалось добиться официальной реакции правительства или армии.

– Так что же мы будем делать? – спросил кто-то.

Впервые они смотрели на меня как на своего главного редактора.

– Наша работа, – сказал я, – сообщать правду, всю правду и никого не бояться. Именно это мы и будем делать.

Несколько секунд царило молчание. Все поняли, что у них на глазах я перехожу свой Рубикон и обратного пути у меня уже не будет. Затем поднялся неистовый шум, какой бывает в отделе новостей, когда происходит важное событие и все бросаются к телефонам и печатным машинкам.

Я понимал, что с этого момента перестал быть в их глазах приближенным к власти. Через неделю, 25 сентября, на площади Царей Израиля в Тель-Авиве прошла демонстрация, в которой участвовали около четырехсот тысяч человек (через несколько лет руководитель городского хозяйства Тель-Авива доказывал мне с чертежами в руках, что нет никакой возможности разместить четыреста тысяч человек на этой площади, даже если бы они встали друг другу на плечи). Тележурналисты сопровождали демонстрантов с открытой симпатией, а генеральный директор – я – на сей раз никого не отчитывал.

Бегин перестал со мной разговаривать, Ариэль Шарон был в ярости. Его хорошему другу Ури Дану, посланному устроить мне выговор, я сказал, что отступать не собираюсь. Кому-то придется заплатить за эту резню! Через несколько месяцев Шарон, несмотря на обиду, пригласил меня к себе на ферму якобы на обед, а на самом деле, чтобы поговорить о произошедшем. Его жена Лили – венгерка, как и я, – приготовила богатый холестерином венгерский обед из множества блюд. Мы ели и пили, пока не обессилели так, что гнев в нас постепенно угас. Это большое преимущество толстых людей: нет такого конфликта, который нельзя было бы разрешить хорошей трапезой.

Впрочем, были и забавные моменты. Через некоторое время после моего вступления в телевизионную должность ко мне зашла моя приятельница Михаль Змора-Коэн, супруга бывшего судьи Верховного суда Хаима Коэна.

– Ты знаешь, что у тебя есть оркестр? – спросила она.

– Оркестр?!

Никто не потрудился информировать меня, что в моем ведении находится еще и Иерусалимский симфонический оркестр комитета телерадиовещания.

– У оркестра проблемы, – грустно сообщила мне Михаль.

– Что случилось?

– У них нет ставки тромбониста.

– Ну что ж, попробую что-нибудь сделать.

На следующий день я отправился к мэру города Тедди Колеку.

– Послушай, Тедди, – сказал я ему, – этот оркестр принадлежит и городу тоже. Ты не мог бы выделить ставку для тромбониста?

– Да где я возьму тебе ставку тромбониста?!

– Понятия не имею.

Тедди задумался на несколько минут. И вдруг его лицо просветлело.

– Вчера утром, – сказал он, – у нас освободилась ставка садовника. Слова похожие – ганан, наган – никто не обратит внимания.

Так оно и вышло. И до конца моего пребывания в должности гендиректора телерадиовещания в Иерусалимском симфоническом оркестре на тромбоне играл садовник. Возможно, он и сейчас там.

Глава 40

Это был один из самых смешных и неловких эпизодов в моей жизни. Однажды летним утром я отправился по делам на улицу Алленби в Тель-Авиве. Я поехал туда на маршрутке, болтая по дороге с пассажирами, которые были удивлены, увидев меня в общественном транспорте. Закончив дела, я принялся искать маршрутку в обратную сторону, но не нашел. Было жарко, и я решил, что уже достаточно богат, чтобы позволить себе такси. Увидев его неподалеку, стоящим на светофоре, я открыл дверь, сел на заднее сиденье и сказал:

– Улица Лассаль, дом двадцать, пожалуйста.

Водитель, не сказав ни слова, тронулся. Когда мы приехали, я спросил, сколько должен.

– Нисколько, – последовал странный ответ.

– Что это значит? – спросил я.

– Господин Лапид, – нерешительно проговорил водитель, – это не такси.

Я осмотрелся и только тогда заметил, что действительно нахожусь в обыкновенной машине без счетчика, без желтого козырька на крыше, без каких-либо надписей.

– Так почему ты меня тогда повез?

– Не знаю, – ответил водитель, – ну, я стою на светофоре, вдруг ко мне в машину садится Лапид из телевидения и велит везти его домой. Я испугался, что, если откажусь, ты начнешь кричать, вот и повез тебя.

Совершенно подавленный, я поднялся в свою квартиру и рассказал Шуле, что произошло. Только когда она начала хохотать, я понял, насколько абсурдной была вся эта ситуация.

Однако, как это часто случается в смешных историях, была в ней и горькая правда: для многих все впечатления от моего десятилетнего пребывания на службе обществу сводились к тому, что этот Лапид такой вспыльчивый, что с ним лучше не связываться. Думаю, честно заслужил такую оценку, хотя особого удовольствия я от нее не получаю.

И все же, в перерывах между сумасшедшими схватками то здесь, то там, нам удавалось делать настоящее телевидение.

Одна из больших баталий, например, развернулась при попытке внедрить на телевидение американские фильмы. Сегодня это кажется совершенно нелепым, но до 1982 года нельзя было показывать американские фильмы. Владельцы израильских кинотеатров, опасаясь потенциальных возможностей

телевидения, обратились к продюсерам Голливуда и убедили их наложить эмбарго на бизнес с израильским телерадиовещанием. Мы просили, умоляли, предлагали специальные цены, но ничто не помогало.

Однажды утром меня посетил один американский продюсер по имени Дэвид Джейкобс, приятный и добродушный еврей из Балтимора, создавший невероятно популярный тогда в мире сериал «Даллас». Джейкобс сказал: «Послушай, я еврей и сионист, и решил, что моим вкладом в дело строительства Государства Израиль станет то, что я отдам вам этот сериал бесплатно». Я сердечно поблагодарил его и немедленно вызвал директора телевидения.

– Мы получили «Даллас», – сообщил я, – и будем транслировать его по вечерам в субботу.

– Почему именно в это время?

– Потому что половину от всех доходов кинотеатров составляет сбор от фильмов в субботу вечером. Они не давали нам жить, теперь я хочу прижать их.

Сериал вышел и сразу стал чрезвычайно популярным. Его рейтинг достигал восьмидесяти-девяноста процентов. Через два месяца ко мне явилась делегация владельцев кинотеатров.

– Ты обязан перенести показ сериала на другой день, – сказали они, – кинотеатры пустуют, мы на грани разорения.

Мне трудно было скрыть свою радость от этой трагедии.

– Нет проблем, – сказал я им, – я сдвину показ сериала при условии, что вы отмените эмбарго на американские фильмы.

Так оно и произошло.

Глава 41

Яначал писать письма себе 14 февраля 1959 года, за день до нашей свадьбы. Передо мной первое письмо, написанное моим кошмарным почерком, на пожелтевшей бумаге. В верхней части страницы напечатан номер моего телефона – 28348, по которому видно, как немного телефонных номеров было в то время во всем Тель-Авиве (меньше тридцати тысяч абонентов). «Я люблю ее, – написал молодой человек, которым я был тогда, о той, которая на следующий день станет его женой, – и хочу, чтобы она стала матерью моих детей, а я хочу троих».

С тех пор это стало ритуалом. Раз в несколько лет мы с Шулой доставали последнее письмо из конверта и читали его вместе. Потом я писал новое письмо и запечатывал его до следующего раза.

Самое грустное из всех я написал 12 февраля 1984 года. Грустное, поскольку оно написано счастливым человеком, не ведавшим, что его ждет впереди. Вот что я написал:

> *«Через три дня исполнится двадцать пять лет со дня нашей свадьбы. В этот же день выходит замуж Михаль. Такой великолепный праздник, двойная радость бывает раз в жизни и только в счастливых семьях. Это Божья милость, и если что-то и тревожит меня в эти дни, так это страх, что наша жизнь слишком хороша и красива, а так не бывает всегда, и осознание того, что это лучшие дни и счастливейшая пора нашей жизни, страшит и нарушает это благостное ощущение. А может, так и должно быть, ведь в жизни “не бывает меда без жала”».*

Свадьбу устроили в помещении театра «Хамам» в Яффо в присутствии четырехсот гостей. Там были президент Хаим Герцог, большая часть министров, члены Кнессета и вся израильская элита. Михаль под хупой была похожа на портрет кисти Ренуара: прекрасное светлое лицо в обрамлении черных волос и сияющие карие глаза, доставшиеся ей в наследство от бабушки Хелен. С Шуки, своим будущим мужем, Михаль познакомилась на факультете психологии, где она получала степень бакалавра, а он – магистра.

Вопреки устоявшейся традиции в отношении зятьев мы с Шулой считали, что более подходящего мужа для нашей дочери просто не найти. Шуки был блестяще образованным и воспитанным человеком, каких сегодня не сыщешь среди

молодых израильтян. Он прекрасно играл на фортепьяно, цитировал наизусть Гёте (по-немецки!), мог спорить о драматургии Беккета или профессионально анализировать недостатки характера своего новоиспеченного тестя. Они были так влюблены, что не могли оторваться друг от друга весь вечер.

Это была чудесная ночь. Я много пил, много ел и столько улыбался, что болели щеки.

Яир не отходил от меня весь вечер. Пора наших столкновений и нежелания разговаривать друг с другом бесследно миновала. После той кошмарной истории в начале войны его перевели в армейскую газету. Он прослужил полтора года корреспондентом в Ливане и был назначен редактором отдела информации. Было ясно, что он станет журналистом, как его отец и оба деда – третье поколение голубой крови (от чернил). Семнадцатилетняя Мерав была красивой, веселой и самой умной из всех нас. Она абсолютно серьезно заявила, что решила стать актрисой. Поумнев с годами, я решил не спорить с ней.

В течение вечера я поглядывал на жену, сидевшую в другом конце зала. Она сияла. Двумя годами ранее вышел в свет ее первый роман «Долина силы», мгновенно ставший бестселлером. История рыжеволосой Фани, бесстрашной девушки, переселившейся в Палестину и почти в одиночку покорившей скалистые холмы Джауни (сегодня Рош-Пина), стала одной из самых продаваемых книг за всю историю Израиля. Она удостоилась восторженной похвалы критиков и со временем была переведена на многие языки. Даже коллеги-писатели не остались равнодушны, избрав Шулу генеральным секретарем Ассоциации писателей Израиля. Мой нежный тепличный цветок стал заниматься бюджетом, подписывал договоры и устанавливал обширные международные связи – к моему немалому удивлению.

Наши глаза встретились над танцующими гостями, и она улыбнулась мне загадочной, понятной только нам двоим улыбкой. Ночь еще не закончилась – говорила мне эта улыбка. Я улыбнулся в ответ. Лучшей серебряной свадьбы мы и пожелать себе не могли.

Это ощущение безмятежности распространилось и в сфере моих профессиональных занятий – я был убежден, что мне предложат остаться генеральным директором на второй срок.

У меня было немало причин так думать. В августе 1983 года на заседании правительства Бегин внезапно произнес: «Я больше не могу», пошел домой, заперся в четырех стенах и уже не выходил до самой смерти. Сменивший его на посту премьера Ицхак Шамир всем своим видом показывал, что мы, журналисты,

вызываем у него скуку. За долгие годы службы в «Моссаде» он привык считать: «Пусть пишут, пусть говорят, какое это имеет значение?» Министры продолжали жаловаться, что их недостаточно представляют на телевидении, но даже они понимали, что я, как сказал Ариэль Шарон, «непродажный и непробиваемый».

В жизни не бывает меда без жала. За несколько месяцев до истечения срока моего контракта Ури Порат пригласил меня на чашку кофе. Я слышал, что он метит на мое место, но не видел причины отказываться от встречи. Порат был главой комитета работников «Едиот ахронот», человеком простым и приятным, неистощимым рассказчиком анекдотов. Мы сидели и болтали, он задавал мне множество вопросов о телерадиовещании, интересовался моим мнением о том или ином министре. Когда в какой-то момент он встал и пошел в туалет, я заметил маленький диктофон, который вывалился из его кармана и остался на стуле, продолжая записывать. Этот «простой и приятный парень» украдкой писал наш разговор, чтобы предоставить компромат на меня тем, кто будет решать, кому дальше руководить телерадиовещанием.

Я рассердился на Ури за этот грязный трюк, но в то же время понимал его. Пятью годами ранее я был точно в таком же положении (хотя вел себя более достойно): действующий директор всегда слишком занят управлением огромным и сложным предприятием, а у конкурента сколько угодно времени для агитации за себя. В редкие свободные минуты, которые у меня выдавались, я звонил нескольким политикам, но без особого рвения.

За несколько недель до окончания моего пребывания на этом посту уже было понятно, что кампанию я проиграл: Порат станет генеральным директором. При нашей следующей встрече мне хотелось назвать его «израильским Яго», но я удержался. Не был уверен, что Порат знает, кто это.

31 марта 1984 года я вдруг оказался не у дел.

Трудно объяснить это состояние тому, кто его не переживал. Еще утром я был всемогущим начальником, в подчинении у которого находились тысяча шестьсот работников, ответственным за телевизионный канал, пять радиостанций и симфонический оркестр, а вечером поцеловал на прощание свою верную секретаршу Рухаму, собрал вещи в маленькую картонную коробку и вышел на промозглую иерусалимскую улицу, не имея никакого понятия о том, что буду делать завтра.

Мой водитель Габи ждал меня около моего служебного «вольво». Мы оба понимали, что он везет меня в последний раз.

Через пятьдесят минут он высадил меня у моего дома. Я поднялся на лифте на третий этаж, поставил коробку в кабинете и сел в свое вращающееся кресло, пытаясь понять, что делать дальше. Не было ни звонков, на которые нужно отвечать, ни документов, которые нужно составить, ни контрактов, которые надо рассмотреть. Ничего. Только гнетущая тишина.

Через несколько минут вошла Шула и поставила передо мной стакан кофе с молоком.

– Позвони Ицхаку Ливни, – сказала она.

– Зачем?

– Затем, что он – единственный, кто был в том положении, в котором ты сейчас находишься.

Я набрал номер Ицхака по памяти. Даже после того, как я занял его место, он остался одним из моих лучших друзей.

– Понятия не имею, что мне делать, – признался я ему.

– Томи, – сказал Ицхак, – мы всю свою жизнь работаем, чтобы произвести впечатление на людей, до которых нам, честно говоря, нет никакого дела, а им – до нас. Теперь наконец ты можешь делать что-то для себя.

– Да, – сказал я, – но что?!

– Не знаю. Но, если тебе было важно, чтобы на твоем надгробии было что написать, то этого ты уже добился. Теперь начни жить ради самой жизни.

Несколько недель я просидел дома, пытаясь понять, что значит «жить ради самой жизни».

Я немного читал и много скучал. То и дело играл в шахматы с кем-нибудь из своих четырех постоянных партнеров. Все были заядлыми курильщиками, и в моем кабинете постоянно висело голубоватое облако дыма. Сам я бросил курить в день сорокалетия, но мне никогда не мешало, когда другие курили рядом со мной, даже если глаза иногда краснели, – я всегда считал, что надо проявлять терпимость к слабостям других.

Мое тело первым взбунтовалось против безделья – ведь не курение является самым злостным убийцей, а безделье, праздность. Как известно, преимущество людей спокойных, ведущих умеренный образ жизни, занимающихся спортом и правильно питающихся, состоит в том, что они умирают здоровыми. Пока я работал как сумасшедший, все было в порядке. Как только я начал отдыхать, мой организм пошел вразнос.

Однажды после обеда я почувствовал тяжесть в груди, а затем и в левой руке. Меня охватила паника.

– Шула, – закричал я, – вызови «скорую»!

С сиреной и мигалкой меня повезли в больницу. Как только

доставили в приемный покой, сразу же сделали электрокардиограмму.

– У твоего мужа, – сказали они Шуле, – приступ стенокардии.

– Инфаркт, – трагически прохрипел я.

– Нет, – твердили они, – это приступ стенокардии.

– А в чем разница? – спросила Шула.

– Ему не нужна операция.

– То есть он в порядке?

– Мы оставим его на несколько дней и понаблюдаем.

На следующий день утром я спросил медсестру, можно ли мне пойти в туалет самому. Она ответила, что нет проблем, если повезу следом за собой капельницу. Через несколько минут я извинился перед своим семейством, встал и потихоньку пошел. Я сделал всего несколько шагов, когда у меня закружилась голова – очевидно, от седативных препаратов, – и я медленно опустился на пол. Шула с детьми бросились ко мне. Я смотрел на них снизу, сквозь пелену тумана и почему-то решил, что наступили мои последние минуты.

– Дети, – простонал я, – мне нужно вам кое-что рассказать.

И начал прощальную речь, в которой охватил основные моменты своей жизни: детство в Нови-Саде, Холокост, репатриацию в Израиль и свою почти удавшуюся карьеру. Шула и дети уставились на меня потрясенные, но потихоньку начали понимать, что происходит. Михаль первой издала сдавленный смешок, за ней – Яир. Сбежавшиеся перепуганные сестры застали странную картину: лежащий на полу пациент полным трагизма голосом произносит некролог самому себе, а жена и дети вокруг него покатываются со смеху.

Домой я вернулся слабый и растерянный. Спустя несколько недель отправился в «Маарив». Шмуэль Шницер, ставший к тому времени главным редактором, разговаривал со мной откровенно.

– Ты должен понять, что приобрел много врагов, пока отсутствовал здесь.

– Это еще почему?

– Потому что все считают, что ты забыл нас. Ты не появлялся здесь пять лет.

– Я был занят.

– Томи, ты полагал, что, как только появишься, все сразу подвинутся?

– Я этого не говорил.

– Правда. Но похоже, что именно так ты думал.

Высказав кучу обидных претензий, Шницер назначил меня редактором посвященного Тель-Авиву приложения, которое только начало выходить. Я получил небольшую комнатушку на

последнем этаже, художницу, с которой был знаком по работе в «Ат», машинистку на полставки и начал работать над этим несчастным листком из четырех полос.

Через несколько дней меня зашел навестить Яир в идеально отглаженной военной форме. Я готов был провалиться сквозь землю. Еще вчера его отцу кланялись министры. Сегодня он был свидетелем моего унижения. Я был уверен, что ниже опуститься уже невозможно.

15 ноября 1984 года поздно вечером позвонил Шуки.

– Мне сообщили из полиции, что Михаль попала в аварию, – сказал он. – Она в больнице «Ихилов».

В считаные минуты он примчался к нам, и мы втроем поехали в больницу в полном безмолвии. Нас встретил врач в белом халате и спросил, хотим ли мы ее видеть. Я не понял. Конечно же, мы хотим ее видеть!

– Подожди здесь, – сказал я Шуле и пошел с Шуки за врачом. Он привел нас в комнату, где на носилках лежала моя мертвая дочь.

Я смотрел на нее и не понимал. Не мог понять. Вернулся в коридор, подошел к Шуле и сказал: «Михаль больше нет».

И тогда моя тихая жена закричала. Она кричала и кричала, и казалось, что она никогда не сможет остановиться.

Глава 42

Яслышал голос. Это был голос пожилого человека, который сквозь рыдания говорил: «Дочь моя, дочь моя, о дочь моя». Рядом были другие голоса, одни испуганные, другие успокаивающие. С некоторым опозданием я понял, что это мой собственный голос. Я обнаружил, что лежу посреди нашей гостиной, окруженный людьми, которые пришли с соболезнованиями. Я хотел подняться, но не смог и остался лежать там, словно обессилевший белый кит, который пытается покончить с собой, выбросившись на берег, похожий на ковер, привезенный нами когда-то из Турции. «О доченька», – продолжал повторять мой голос, и я понял, что не управляю им.

Я был уже не в гостиной, а в кровати в своей комнате в Нови-Саде, и солдат в серо-зеленой форме пришел забирать моего отца. «Со мной все будет в порядке», – сказала бабушка Эрмина, запахнула на себе халат и тихо умерла. Я был в подвале гетто, и меня терзал голод. Я шел в строю в сторону замерзшего Дуная под конвоем полицейских с автоматами. «Валленберг, – сказала бледная мама, – меня спас Валленберг».

На скамейке в больнице сидели четверо испуганных молодых людей. «Ей было по пути, и она взялась нас подвезти», – сказал один из них.

Я стоял один на заснеженной улице, и мне некуда было идти. Время от времени небо проясняется, и мне удается понять, что происходит вокруг меня. Тянется длинная вереница соболезнующих, бормочущих лишенные всякого смысла бесполезные слова. Шула, которая бросила курить двенадцать лет назад, прикуривает одну сигарету от другой. Яир вместе с врачом едет в аэропорт, чтобы встретить деда Доди, Давида, срочно вызванного из Парижа. Известный раввин отводит Мерав в сторону и говорит ей:

– Бог забирает к себе лучших, чтобы окружить себя ангелами.

Она злится.

– Извините, – говорит она, – но это самая большая чушь, которую я когда-либо слышала.

Я хочу объяснить ему, что она злится не на него, но у меня не получается.

Михаль возвращалась из психиатрической лечебницы, где работала волонтером. С ней были четверо студентов факультета психологии, на котором она училась. Вечером она медленно вела свой «пежо» по улице Ха-Масгер в Тель-Авиве. Двигавшийся по встречной полосе автомобиль потерял управление, ударился о

разделительный барьер, перевернулся в воздухе и упал на машину Михаль. Из четырех молодых людей, бывших с ней, двое слегка пострадали, а двое других не получили ни единой царапины. Михаль погибла на месте.

Несколько месяцев целиком выпали из моей жизни. Я не в состоянии объяснить, чем занимался в это время. Я жил на автопилоте. Утром встаю, не понимая ради чего, иду на работу, будучи не в состоянии объяснить самому себе, что я там делаю, а люди проходят и говорят мне «доброе утро», как будто это возможно. В какой-то момент клянусь сам себе, что ударю следующего, кто скажет мне: «Жизнь продолжается». Не продолжается она. Когда умирает твой ребенок, жизнь заканчивается. Ты становишься другим человеком, который начинает другую жизнь.

И семья у тебя другая. Каждая семья реагирует на бездну, которая вдруг разверзлась перед ней, по-своему. Кто-то проваливается в эту пустоту, а кто-то – как мы – сплачивается на краю. Я никого не осуждаю, включая тех, кого горе поглотило и больше не отпустило. Мы были близки к этому. Всегда хрупкая Шула утратила большую часть жизненных сил. Мерав спала днем, а по ночам слонялась с друзьями, и мне оставалось только надеяться, что они уберегут ее от наркотиков и алкоголя. Яир демобилизовался из армии и начал работать в «Маариве». В ноябре 1985 года, вскоре после годовщины гибели Михаль, он сообщил нам, что женится.

– Когда ты с ней познакомился? – спросил я.

– Вчера, – ответил он.

– Вчера?!

– Да.

– А когда свадьба?

– Через три недели.

Мне надо было поговорить с ним как мужчина с мужчиной, объяснить, что на самом деле это не любовь, что он всего лишь пытается исправить то, что непоправимо, и что это нечестно по отношению к почти незнакомой девушке, поскольку она не знает, что на ее долю выпало всего лишь заполнить пустоту в его душе. Я должен был. Но был не в состоянии.

Вместо этого я пошел на свадьбу. Ее справляли в саду дома родителей невесты. Я снова был на автопилоте: улыбался, пожимал руки, благодарил поздравлявших. Моя новая невестка Тамар обняла меня и сказала, что станет моей новой дочерью. Я обнял ее и промолчал.

Как и следовало ожидать, этот брак не был долгим. Через два года они оба признали, что это было юношеским увлечением, и

расстались. Для всех нас Тамар осталась членом семьи. Она живет неподалеку от Яира и его второй жены Лихи, и мы вместе праздновали все праздники и семейные события. Она всегда нравилась мне, и я был ей благодарен за один из самых больших подарков, которые получил за всю свою жизнь, – за моего первого внука Йоава.

Понемногу начала пробуждаться деятельная сторона моей натуры. Я пошел к Шницеру и сказал, что мне неинтересно заниматься тель-авивским приложением, и он решил (возможно, отчасти из жалости) поручить мне вести колонку на политические темы.

В то же время я выпустил книгу рецептов венгерской кухни «Паприка». Это был тот случай, когда человек, не умеющий сварить яйцо, выпустил поваренную книгу, ставшую бестселлером. Вместо того чтобы самому отправиться на кухню, я распространил в венгерской общине информацию о том, что собираю рецепты. Довольно быстро меня забросали рецептами: клецки нокедли, блинчики палачинта со сладким творогом, палачинта с тушеной капустой, ракот крумпли, квашеная капуста по-трансильвански, холодный вишневый суп и гуляш (в Израиле думают, что гуляш – это тушеное второе блюдо, но на самом деле настоящий гуляш – это суп) и конечно же классический добош – слоеный шоколадный торт, покрытый карамельной глазурью. Венгры говорят, что, если по торту нельзя отстучать «Марш Ракоци» Берлиоза – неофициальный венгерский гимн, – значит, глазурь не удалась.

В предисловии я написал: «Большинство людей едят, чтобы жить. Настоящий венгр живет, чтобы есть».

В это же время я начал вести на «Радио-3» новую передачу под названием «Моя неделя».

В моей жизни были вещи гораздо более важные, чем еженедельная радиопередача. Но мало что приносило мне столько удовольствия и заставляло работать с такой отдачей. Иногда я слушаю молодых ведущих, особенно на армейском радио, и поражаюсь, с какой легкостью они включают микрофон и начинают передачу. В отличие от них я писал заранее каждую фразу, каждое слово – все, что произносил затем. И делал для себя пометки: здесь пауза, здесь повысить голос, а здесь улыбнуться – чтобы слушатели почувствовали улыбку в моем голосе.

Каждую неделю я записывал восемь-девять текстов на разные темы, которые перемежались музыкальными вставками. Я старался уловить то, что Ницше называл «цайтгайст» (дух

времени), и вставлял в передачу все – социальную сатиру, политические комментарии, новости искусства, исторический анализ, гастрономические удовольствия, анекдоты и юморески.

Очевидно, что-то у меня получалось, потому что в эпоху господства телевидения эта программа стала событием. В 1988 году она получила приз Соколова (израильский аналог Пулитцеровской премии). За несколько лет были выпущены четыре сборника отрывков из нее, ставшие бестселлерами. Радио – это, как правило, только звуковой фон, сопровождающий нашу жизнь, но в случае с «Моей неделей» десятки тысяч людей в шесть вечера пятницы оставляли свои дела, включали радио, сидели и слушали.

Приведу лишь один пример: 27 декабря 1985 года террористы напали на пассажиров у стоек регистрации компании «Эль Аль» в Вене и Риме. На следующий день после теракта (который случайно совпал с днем моего пятидесятичетырехлетия) я написал один из самых запомнившихся текстов за всю историю этой программы. Он назывался «Женщина в голубом»:

> *«В праздничные рождественские дни арабские террористы напали на пассажиров, оформляющихся на стойках регистрации авиакомании “Эль Аль” в Вене и Риме. На телеэкранах всего мира потрясенные зрители увидели десятки убитых. В их числе – мертвую женщину в голубом костюме в аэропорту Рима.*
>
> *На мой взгляд, эта женщина в голубом своей абсолютной невиновностью олицетворяет безумие террора. Молодая красивая женщина надела голубой костюм, чтобы поехать куда-то, но уже не приедет туда. Потому что ее убили. Камера итальянского телевидения задержалась на мгновение на прекрасном лице этой элегантной незнакомки, лежащей на полу римского аэропорта, носящего имя великого Леонардо да Винчи, который мог бы дописать ей удивленную улыбку жертвы, еще одной невинной жертвы кровавого арабского терроризма. Эта женщина в голубом скорее всего не интересовалась политикой и не представляла себе, кто ее убивает и почему. Возможно, она летела к возлюбленному на Мадейру, а может, везла детей к мужу в Париж. Или собиралась позагорать неделю в Эйлате. Почему и какое было до нее дело этим жаждущим крови хищникам, одержимым ненавистью фанатикам, устраивающим кровавую бойню по всему миру? Они стреляют в детей. Они убили женщину в голубом.*

Я возлагаю белый цветок на ее свежую могилу».

Глава 43

Довольно скоро в мои руки попала новая игрушка – кабельное телевидение. Газета «Маарив» была в числе коммерческих предприятий, получивших лицензию на кабельное вещание – в качестве компенсации за грядущие убытки от снижения тиража. Так как я был единственным человеком в редакции, кто понимал что-то в телевидении, то меня, естественно, поставили во главе проекта.

Для создания новой компании мы решили собраться в пентхаусе американского продюсера израильского происхождения Арнона Мильчина, который был одним из первых инвесторов проекта. Арнон и я вместе со свитой, сопровождающей обычно финансовых магнатов Голливуда, поднимались на лифте на четырнадцатый этаж. На десятом лифт застрял. У меня возникло головокружение и ощущение удушья. Все сорок лет, после долгих месяцев пребывания в подвале гетто, я страдал от легких приступов клаустрофобии, но на сей раз приступ был сильный. Весь дрожа, я опустился на пол лифта, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. Испуганный Арнон старался, нагнувшись, как-то обхватить меня руками (он весил раза в три меньше меня), пока нас не освободили. Я не знаю, как он потом согласился подписать договор, поручая немалые деньги человеку явно нездоровому, но факт остается фактом: компания была создана и даже оказалась весьма успешной.

Успех приносит приятные плоды. Например, ежегодные поездки на телевизионный фестиваль в Канны (который проводился отдельно от его более знаменитого собрата, кинофестиваля). Во время этих поездок я проводил несколько дней в переговорах с телепродюсерами со всего мира. Возможно, это банально, но Франция есть Франция, и большинство встреч проходили в самых шикарных ресторанах Ривьеры. Тот, кто не приобретал права на показ сериала «Веселая компания», сидя в украшенном цветами ресторане «Мас Провансаль» в городке Эз, пачкая договор рубиновыми каплями «Шато Лафит Ротшильд» и желтоватыми каплями знаменитого местного ризотто с морепродуктами, приготовленного прямо в пятидесятикилограммовой глыбе пармезана, – тот непригоден для международного бизнеса.

Именно благодаря этой работе я познакомился с Робертом Максвеллом.

Я могу объяснить, кем был Роберт Максвелл, описав одно

удивительное явление. Это настолько странное состояние, что я решился рассказать о нем, только когда выяснилось, что не я один испытывал его: после многочасовой игры в шахматы в интернете я выхожу на улицу погулять, и прохожие кажутся мне шахматными фигурами. Женщина с корзинкой – ладья, долговязый мужчина с кожаным портфелем – ферзь, сердитый продавец сладостей – слон. А я, наверное, конь: проскакиваю между ними, перепрыгиваю, каждый раз становлюсь рядом с другой фигурой-человеком и спрашиваю себя, кто кого съест – я его или он меня?

Когда я встретил Роберта Максвелла, не возникло и тени сомнения, какая у него роль в игре – он был королем.

Максвелл был гигантом во всех отношениях: ростом больше метра девяноста, весом более ста сорока килограммов, огромная голова с крашеной блестящей черной шевелюрой и громовой бас, звуки которого (на девяти языках, доступных его обладателю) доносились откуда-то из-за четырех подбородков, под которыми виднелся галстук-бабочка в горошек. Он жил в ускоренном темпе, как герои старого немого кино, а когда потерпел крах, то падал с оглушительным шумом.

Роберт Максвелл родился в Чехословакии, и звали его Ян Людвик Хох. Он бежал от нацистов, вступил в британскую армию, дослужился до капитана и даже получил Военный крест за доблесть. После войны приобрел разорившееся издательство, добился головокружительного успеха и стал миллионером. Он оставил бизнес, был избран в британский парламент от партии лейбористов, через шесть лет потерпел поражение на выборах, вернулся в бизнес, приобрел компанию «Миррор груп ньюспейперс», компанию «Языковые школы “Берлиц”», книжное издательство «Макмиллан» и даже контрольный пакет акций MTV-Европа. Миллионер стал миллиардером, одним из двух крупнейших медиамагнатов в мире, наряду с Рупертом Мердоком, его заклятым противником.

В Израиль Максвелл прибыл в конце восьмидесятых и стал эдаким иностранным богачом, который скупает все. Сначала он приобрел «Маарив», затем издательство «Кетер», значительную долю акций компаний «Тева» и «Сайтекс» и даже попытался приобрести «Бейтар» и «Апоэль» и объединить их в одну команду (к счастью, эта затея не удалась). Израильтяне находили его забавным и симпатизировали эксцентричному магнату.

На многих авто по всей стране красовалась наклейка «Максвелл, купи меня!».

А Максвелл взял и купил МЕНЯ.

Однажды в четверг вечером в конце 1989 года, когда я сидел на особенно скучном совещании в нашей компании кабельного телевидения, вошла секретарша и сказала, что меня просят к телефону. Я вышел и взял трубку.

– Это Максвелл, – голос был низкий, как Мертвое море.

Я был удивлен. Конечно, я знал, кто он такой, но мы никогда раньше не разговаривали.

– Да, я вас слушаю.

– Я слышал, что ты родом из Венгрии, что у тебя опыт управления и что ты очень умный.

– Все правда.

Максвелл хихикнул. Он любил скромных еще меньше, чем я.

– Команда лондонских адвокатов сидит сейчас в Будапеште и пытается приобрести для меня «Мадьяр Хирлап». Ты знаешь, что это?

– Конечно.

«Мадьяр Хирлап», правительственный орган, представляла собой унылую и скучную коммунистическую газету, но с большим тиражом. Со времени крушения коммунистического режима правительство пыталось избавиться от нее, как избавлялись по всей Восточной Европе от остатков собственности социалистической системы (впоследствии это назовут самой грандиозной распродажей в истории).

– Они сидят там уже два месяца, – сказал Максвелл, – и ничего не добились. Я хочу, чтобы ты отправился туда и решил эту проблему.

– Не вопрос! Предлагаю завтра встретиться. Я войду в курс дела, а в воскресенье полечу в Будапешт.

В его голосе зазвучало нетерпение.

– Мы не встретимся. И ты вылетишь завтра утром.

– И что я должен сделать?

– Закрой мне эту сделку.

– За сколько?

– Как сочтешь нужным.

Я хотел еще что-то сказать, но он уже повесил трубку. Меня этот разговор скорее позабавил. Уже много лет никто не устраивал мне экзамена и не бросал трубку. Я знал: он ждет, что я перезвоню ему с вопросами (в том числе о том, кто оплатит мою поездку), но решил не доставлять ему такого удовольствия.

На самом деле мы оба сразу поняли, что сделаны из одного теста – толстые, шумные, решительные и нетерпеливые выходцы из Центральной Европы, никого никогда не спрашивавшие, как им поступать.

Я сказал в «Маариве», что Максвелл велел им купить мне

билет в Будапешт, и рано утром был уже на борту самолета.

В Будапеште я приземлился перед обедом, взял в аэропорту такси и попросил водителя отвезти меня в редакцию «Мадьяр Хирлап». По дороге я смотрел в окно и размышлял. Мне нравятся венгерская культура, кухня, замечательная цыганская музыка, песни, но самих венгров я не люблю. Тот энтузиазм, с которым они взялись содействовать уничтожению евреев – в том числе большей части моей семьи, – я не забуду никогда и по-прежнему считаю, что в каждом венгре скрывается маленький антисемит, который просто ждет своего часа. Мне неоднократно объясняли, что речь идет о том, что уже исчезло. Я вежливо выслушивал, но не верил ни единому слову.

Таксист привез меня к полуразрушенному офисному зданию, построенному в стиле венгерского барокко, падение которого предотвращали, казалось, только окружающие его строительные леса. Лифт не работал, я пешком поднялся на третий этаж, миновав десяток скучавших журналистов, сидевших за старыми пишущими машинками, в которых не было ленты, и свинцовые печатные станки девятнадцатого века, у которых возились рабочие в серых комбинезонах.

Я вошел в обшарпанный конференц-зал. За столом сидели четыре английских юриста в элегантных костюмах и четыре представителя венгерской стороны – трое мужчин и женщина – в поношенных костюмах. Как только я вошел, четверо англичан вскочили на ноги с выражением большого облегчения на лицах.

– Это главный представитель господина Максвелла, – сказал один из них венграм, – только он может решить, что нам делать дальше.

Венгры тоже поднялись. Первый, кто пожал мне руку, выглядел как настоящий комиссар-коммунист (позднее выяснилось, что так оно и было).

– Приятно познакомиться, – сказал он на ломаном английском, – мы вас ждали.

– Сервус, – сказал я ему по-венгерски, – рад к вам присоединиться.

У него челюсть отвисла. Услышав мой венгерский, они сразу поняли, что уважаемый британский представитель, прибывший из Израиля (что уже само по себе странно), – не меньший венгр, чем они сами. Единственным, кто улыбнулся мне, была женщина. В ней чувствовалась какая-то ловкость и сообразительность, я сразу понял, что быстро найду с ней общий язык. Звали ее Кати Башани, мы много лет поддерживали дружеские отношения, пока она не покончила с собой по непонятной мне и по сей день причине.

– Ты еврейка, – сказал я ей утвердительно.

Она удивилась:

– Откуда вы знаете?

– Все знать – моя специальность.

Мужчина, сидевший возле нее, расхохотался. Он, конечно, тоже был еврей. Оказалось, что комиссар – единственный нееврей на венгерской стороне стола.

– Так в чем проблема? – спросил я англичан.

Один из них смущенно прокашлялся:

– Мы никак не можем понять, кому принадлежит газета.

Это была типичная проблема времен заката коммунистических режимов. До падения «железного занавеса» правительство было хозяином всего имущества и, конечно же, крупных газет, а однажды утром оказалось, что старая игра закончилась, а правил новой игры они не знают.

– Давайте считать, – сказал я венграм, – что мне удастся убедить премьер-министра, что газета принадлежит журналистам, которые в ней работают. Вы тогда будете готовы ее продать?

Я, разумеется, даже не знал, кто в Венгрии премьер-министр или как к нему попасть, но они закивали с большим воодушевлением.

– Сколько у вас сотрудников?

– Больше двухсот, – поспешил ответить комиссар.

Что-то в его тоне мне не понравилось.

– Принесите мне список.

На следующий день я сидел и проверял все имена. Выяснилось, что по крайней мере четверти сотрудников в газете уже нет, включая четверых умерших, которые продолжали получать полную зарплату, и пятерых чиновников, которых никто даже никогда не видел.

На это ушло несколько дней, но с помощью Кати Башани мне удалось встретиться с новым премьер-министром Йожефом Анталлом в его роскошном кабинете. Анталл, мой ровесник, с седыми волосами и пристальным взглядом, был одним из героев восстания против коммунистов в пятьдесят шестом. Однако при общении с ним чувствовалось, что семьдесят лет его жизни прошли при власти, лишенной чувства юмора.

– Я дам согласие на сделку, – сказал он мне, – при условии, что газета будет дружественна по отношению к моему правительству.

Его слова поставили меня в затруднительное положение.

– Господин премьер-министр, – сказал я, – мы не можем

обязать свободную прессу поддерживать правительство, но мы, конечно же, всецело поддерживаем ваши реформы.

– Хорошо, – сказал Анталл, – важно, что мы понимаем друг друга.

Выйдя от него, я подумал, что он прав только наполовину – я-то его понял, но он, похоже, не совсем понял меня.

Переговоры продолжались еще два месяца, и было много споров и препирательств. Я тем временем привык к своему новому образу жизни. Каждый понедельник утром я садился в самолет в Тель-Авиве, в Будапеште отправлялся в свой постоянный номер в отеле «Форум», а в четверг вечером улетал обратно домой или летел с докладом к Максвеллу в Лондон. Было нелегко, но после взгляда на первый выписанный мне чек я решил, что обязательно справлюсь.

Под конец переговоров в Будапешт прилетел сын Максвелла Йен, и в конце концов мы договорились о цене в два миллиона фунтов. Адвокаты составили договор, и Йен радостно позвонил отцу.

– Папа, – сказал он, – мы договорились на два миллиона.

– Недурно, – сказал Максвелл, – а сейчас вернись и сообщи, что мы готовы заплатить только миллион.

Йен чуть не заплакал.

– Но ты же сказал нам с Томи, что мы сами можем определить сумму!

– Да, – сказал Максвелл, – но они согласятся и на миллион.

– Откуда ты знаешь?

– А у них есть выбор?

Это заняло еще две недели, но оказалось, конечно, что он был прав. Мы купили «Мадьяр Хирлап» ровно за миллион фунтов. В качестве бонуса Максвелл решил отправить в Венгрию старое оборудование типографии «Дейли миррор», а мне поручил найти подходящее место для его размещения.

Один из журналистов, спортивный репортер, еврей по имени Нимрод Питер (который через два месяца стал главным редактором газеты), рассказал мне, что у венгерских военных есть большая казарма в центре города, которую они хотели бы продать. Однажды утром мы поехали туда. На улице рядом с двумя часовыми нас ждал венгерский офицер в форме. Когда мы подошли, все трое отдали честь. У меня перехватило дыхание. Такие же венгерские солдаты, в той же форме, вели меня в колонне смертников к Дунаю. А теперь я снова здесь, в Будапеште, и они отдают мне честь. Мы зашли внутрь. Сделав несколько шагов, я сказал: «Извините, забыл кое-что в машине».

Вышел на улицу, прошел немного и вернулся назад. Часовые снова отдали мне честь. Я вошел, сосчитал про себя до двадцати, снова вышел и снова вошел. Они опять вытянулись по стойке «смирно» и отдали мне честь. Я мог бы ходить туда-сюда весь день.

В конце концов мы добрались до кабинета их начальника, подполковника, который был в стельку пьян (в десять утра!). Один из наших венгерских представителей, который был, видимо, в курсе, достал из портфеля бутылку виски и поставил на стол. Полковник набросился на нее, будто умирал от жажды, и подписал все, что мы положили перед ним. Под конец он попросил, чтобы я пошел с ним. Мы прошли по коридору и остановились у входа в огромный зал, битком набитый гипсовыми бюстами Маркса и Ленина на постаментах – две тысячи штук. Они напомнили мне армию терракотовых воинов, которую я видел в провинции Шаньси в Китае.

– Господин Лапид, – сказал мне полковник, – что мне делать с двумя тысячами бюстов Маркса и Ленина?

– Разбей их, – сказал я и ушел.

Через неделю в роскошном здании Генштаба венгерской армии состоялась праздничная церемония подписания. Вдоль красной дорожки с двух сторон стояли по стойке «смирно» солдаты почетного караула, а я шагал по ней вместе с начальником Генерального штаба. Затем нас снимали репортеры, его – под флагом Венгрии, а меня – под британским Юнион Джеком. Оркестр исполнял в мою честь «Боже, храни королеву!». Не знаю, хранит ли он королеву, но меня он точно уберег – от того, чтобы не расхохотаться.

На вторую церемонию – подписания контракта на приобретение газеты – Максвелл прилетел на своем самолете. Кортеж из черных «мерседесов» сопровождал нас до отеля, в котором он расположился. Как и я, Максвелл, родившийся в небольшом карпатском городке и потерявший большую часть семьи от рук нацистов, которым активно помогало местное население, был одержим желанием «показать им всем!». Во время Второй мировой маршрут его бегства проходил через Венгрию, так что он получал огромное удовольствие от триумфа, с которым вернулся в Будапешт. Вечером он дал интервью первому каналу венгерского телевидения.

– Как я понимаю, вы говорите на венгерском, – сказал ведущий.

– Да, – ответил Максвелл.

Его венгерский словарный запас был ограниченным, но понять его было можно.

– И где же вы выучили венгерский? – спросил ведущий.

– Я сидел в вашей тюрьме, – сказал Максвелл.

Вечером нам сообщили, что премьер-министр Анталл хочет встретиться с Максвеллом.

– Пожалуйста, – сказал Максвелл, – пусть приезжает.

Анталл не стал настаивать на соблюдении протокола и приехал. За минуту до того, как он вошел, Максвелл сказал мне:

– Быстро расскажи мне о нем что-нибудь.

– Что?

– Не знаю, что-нибудь личное.

– Его отец выдавал евреям спасавшие их документы во время войны, он признан Праведником мира, в его честь посажено дерево в «Яд ва-Шем».

Открылась дверь, и вошел Анталл со своей свитой. Максвелл поднялся во весь рост, широко раскрыл свои объятия и громовым голосом произнес:

– Господин премьер-министр, весь еврейский народ и я никогда не забудем того, что ваш дорогой отец сделал для нас во время войны. Он был выдающимся человеком!

Анталл едва не разрыдался от избытка чувств.

Через два дня все договоры были подписаны, и мы с Максвеллом сидели в его люксе с коньяком и огромным блюдом колбасок.

– Я ненадолго оставляю тебя здесь, – сказал он.

– В качестве кого?

– Генерального директора.

– На какой срок?

– Пока ты не скажешь мне, что газета в тебе больше не нуждается.

Наутро он улетел, а я отправился в редакцию, вошел в кабинет главного редактора господина Сабадушо, который был коммунистическим чиновником, назначенным на эту должность в отсутствие каких бы то ни было профессиональных качеств. Господин Сабадушо сидел за внушительным столом, а за его спиной висел большой портрет Ленина.

– Господин Сабадушо, – сказал я без прелюдий, – вы уволены.

Он, видимо, ожидал этого, поскольку, не проронив ни слова, встал, взял свой портфель и направился к выходу.

– Господин Сабадушо, – остановил я его.

– Да?

– Заберите с собой портрет.

Он вернулся, забрался на стул, снял портрет со стены и покинул здание с Лениным под мышкой.

Глава 44

Господин Максвелл, – сказал министр туризма Хорватии, – мы не можем продать вам газету, но, может быть, вы купите у нас остров?

– Какой остров?

– Остров Тито.

За несколько недель до этого Максвелл позвонил мне в Будапешт и начал разговор в своей обычной манере – с середины, без предисловий.

– Я хочу, чтобы ты поехал в Сербию, – сказал он, – и купил мне там газету.

– Какую?

– Какую захочешь.

В аэропорту Белграда меня встретили представители правительства и отвезли в резиденцию президента Слободана Милошевича. Мы поднимались по мраморным ступеням, в воздухе кружился снег, мрачный Белград лежал перед нами темным пятном, в котором светились лишь редкие окна. Когда я был здесь последний раз, город горел от бомбежек, а я, десятилетний мальчик, бежал зигзагами между падающими телеграфными столбами.

Милошевич, грузный мужчина с высоким лбом и светлыми, тщательно зачесанными назад волосами, тепло встретил меня в своей до неприличия роскошной приемной и усадил в обитое темно-красным бархатом кресло напротив.

Десять лет спустя Милошевича будет судить в Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии – за резню в Косово где тысячи албанцев были убийты или стали жертвами насилия, сто шестьдесят четыре тысячи стали беженцами. В октябре 2004 года, в возрасте шестидесяти пяти лет он был найден мертвым в своей камере, до окончания суда.

Но всему этому еще предстояло произойти. А тогда я получил удовольствие от живой беседы с разумным человеком, готовым делать бизнес. Сербы, пожалуй, единственный народ в Восточной Европе, которому не присущ антисемитизм как национальная традиция, так что мне не пришлось столкнуться с распространенным среди славян подозрением: «евреи покупают нас».

– Я не могу продать ни одной из наших больших газет, – сказал Милошевич, – потому что одна из них принадлежит партии, а другая – правительству. Но у нас есть еще одна газета,

которая называется «Политика». Может, она вам больше подойдет.

– Я хорошо знаком с ней.

Милошевич удивился:

– Откуда?

– Мой отец читал ее по утрам.

Я купил «Политику» и вернулся в Израиль на свадьбу дочери.

Мерав решила выйти замуж (в первый раз) за свою первую школьную любовь. Наша младшая дочь, этот кучерявый комок энергии, давно уже отказалась от своей мечты стать актрисой и решила пойти по стопам покойной сестры – начала изучать психологию в Тель-Авивском университете. Я был рад ее решению, но не стал особо расспрашивать о мотивах. Пожалуй, понадобится изучить психологию, чтобы понять, почему она решила заняться психологией.

За шесть дней до того, 2 августа 1990 года, Ирак вторгся в Кувейт, ООН ввела санкции, в воздухе запахло войной. Максвелл, верный своей любви к драматизму, из солидарности прилетел в Израиль, и я пригласил его на свадьбу, которую устроили в банкетном саду в пятнадцати минутах езды от Тель-Авива. Вскоре после начала свадьбы появился лимузин Максвелла, оказавшийся пустым. Еще через десять минут раздался страшный шум, деревья и кусты пригнулись, подолы блестящих платьев взлетели кверху, обнажив прелестные ножки, и в самый разгар церемонии приземлился огромный вертолет, из которого вышел ужасно довольный собой Максвелл.

Доехать до аэропорта Дов, нанять вертолет, получить разрешение на взлет и посадку и прилететь на свадьбу заняло в два раза больше времени, чем если бы он просто приехал на своем лимузине, но таков был Максвелл. Он никогда не упускал возможности произвести впечатление.

В конце ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 678, позволяющую ее членам использовать все необходимые средства для того, чтобы Ирак безоговорочно вывел свои войска из Кувейта, – это был военный ультиматум Ираку, и Максвелл снова прилетел в Израиль. Мы сидели в его люксе в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме. Максвелл сказал:

– Томи, завтра мы летим в Хорватию покупать газету.

– Роберт, они не продадут тебе газету.

– Почему нет?

– Потому что Туджман не продаст газету еврею.

За год до того президент Хорватии Франьо Туджман опубликовал свою странную книгу «Пустоши исторической

действительности», в которой, помимо прочего, утверждал, что во время Катастрофы погибло всего девятьсот тысяч евреев, что евреи управляли концентрационными лагерями в Хорватии и что «новый европейский порядок Гитлера был оправдан необходимостью потеснить евреев». Это было написано, надо заметить, не в сороковые годы, а в 1989 году главой демократического государства, который был избран на свободных выборах.

– Неважно, – сказал Максвелл, – все равно поедем.

На следующий день мы вылетели на его самолете в Загреб, столицу Хорватии. Когда самолет кружил над Загребом, диспетчер сообщил, что погодные условия не позволяют совершить посадку, и направил нас в Любляну, столицу Словении. Когда мы приземлились в Любляне, в аэропорту не было ни души. Какой-то грузовик убрал снег с одной из полос и исчез. Мы остались одни. Дворецкий Максвелла Фредди держал над ним большой черный зонт, в другой руке у него был костюм хозяина, и мы ждали сами не зная чего.

Минут через пятнадцать пришел заспанный таможенник.

– Добродошли, – сказал он, – паспорта, пожалуйста!

Он взглянул на наши паспорта, поставил печати и исчез. Мы вышли пешком из аэропорта и оказались на темной улице – Максвелл, я, дворецкий Фредди, блондинка-стюардесса и два пилота, а на горизонте ни одного такси.

В конце концов я нашел ночного сторожа, согласившегося за несколько долларов вызвать такси, которое отвезло нас в маленькую жалкую гостиницу под названием «Слон». Еще за несколько долларов усталый официант согласился открыть для нас кафе гостиницы. Я с опаской посмотрел на Максвелла. Он был фантастически нетерпелив, и я был уверен, что он вот-вот взорвется. Но случилось все наоборот: он сбросил ботинки и налил всем нам дешевой сливовицы.

– Я дома, – сообщил он нам, – я вырос точно в таком месте.

Он просидел с нами до трех утра, рассказывая всякие истории, развлекая нас, обмениваясь со мной неприличными анекдотами на ломаном венгерском, к изумлению стюардессы. На следующий день, когда я пришел будить его, она открыла мне дверь в коротеньком халатике и со смущенной улыбкой. Недюжинный аппетит босса, как оказалось, не ограничивался едой и газетами.

Мы снова полетели в Хорватию, где нас принял Туджман, косноязычный человек в очках, похожий на филина. Создавалось

впечатление, что он возмущен тем, что Максвелл выше его на целую голову. С самого начала было ясно, что он не собирается продавать «свою» газету еврейскому миллиардеру. И тогда министр туризма, сидевший рядом с ним, предложил нам купить остров Тито.

– Ты же не собираешься и впрямь покупать остров, – шепнул я Максвеллу по-венгерски.

– Почему бы и нет? – прошептал он мне в ответ.

Через два часа мы снова были в самолете. Летели на базу хорватского флота. Там нас поджидал вертолет, на котором мы отправились вдоль искрящихся излучин реки Савы, до небольшого озера возле городка Блед, где приземлились на острове. И посреди серой и гнетущей Восточной Европы обнаружили, что находимся в стране Оз. Белые лебеди скользили по синей глади озера, утки ковыляли по большому ухоженному парку, напоминавшему сады Кью в Лондоне. По одну сторону парка располагался большой дворец, по другую – маленький. Среди деревьев ходили олени, а рыжие ирландские сеттеры возлежали у пылающего камина, все еще ожидая своего умершего хозяина. Мне стало тоскливо. Я уважал Тито за ту роль, которую он сыграл в войне, и был благодарен ему за то, что дал мне уехать в Израиль сорок два года тому назад, поэтому грустно было видеть, как испортила его власть на склоне лет.

– Господа, – обратился Максвелл к нашим сопровождающим, – я всерьез подумываю о покупке этого острова.

Хорваты были вне себя от радости, в то время как мы уже успели обменяться ироничными взглядами. Нам было ясно: если бы Максвелл на самом деле обдумывал покупку острова, он бы уже рассказал им обо всех его недостатках и объяснил, что совершенно не заинтересован в покупке. Этому я тоже научился у него – тому, что нет никакой разницы между крупными сделками и мелкими. Торговаться, ссориться, мелочиться, лавировать, пускать пыль в глаза нужно одинаково рьяно при цене как в двадцать миллионов, так и в двадцать долларов.

6 декабря 1990 года поженились Яир и Лихи.

Свадьбу отмечали на террасе ресторана «Реле Джаффа» в Яффо. Церемония переросла в бурную вечеринку, длившуюся до тех пор, пока живший напротив журналист Адам Барух не позвонил в полицию с жалобой на шум. Тогда он еще не знал, что через год станет редактором Яира, а затем и моим тоже.

15 января Яир и Лихи вернулись из свадебного путешествия в абсолютно пустом самолете. В этот день закончился срок

ультиматума ООН и было ясно, что война начнется в любой момент.

Через пару дней прилетели первые «Скады». Находясь дома в Тель-Авиве, я слышал отдаленные взрывы, в то время как армейское радио утверждало, что это гроза. Я надел свой противогаз. При всем уважении к армейской радиостанции у меня гораздо больше опыта, когда речь идет о бомбежках. Убедившись, что Шула тоже в противогазе (она возмущалась – он не давал ей курить), я позвонил детям. Сквозь противогаз оба звучали довольно странно. Происходящее их скорее удивляло, чем пугало. Есть некоторые преимущества у семей, которые прошли через самое страшное.

Через несколько дней мы сидели в отеле в «Дан Тель-Авив» с мэром Чичем Лахатом и его женой Зивой, дирижером Зубином Метой и американским комиком еврейского происхождения Джеки Мэйсоном. Мы ели и болтали, когда раздалась сирена. Это был тот редкий случай, когда у Мэйсона не нашлось готовой шутки, а я обратился к официантке: «Можно еще чашку кофе?» Она вытаращила глаза. «Бегите отсюда!» – испуганно сказала она и побежала в бомбоубежище. Продолжая смеяться, мы натянули противогазы и включили телевизор. В нем мы увидели неповторимое зрелище.

В тот вечер в Международном центре конгрессов в Иерусалиме должен был состояться концерт солидарности с Израилем с участием лучших музыкантов. Когда прозвучала сирена, многие оркестранты отреагировали, как наша официантка – исчезли со сцены. Публика же осталась на своих местах. Все надели противогазы. Когда камеры были направлены в зал, создалось впечатление, что это эпизод из научно-фантастического фильма: в зале сидели сотни элегантно одетых людей в черных резиновых масках. На сцену поднялся скрипач Айзек Штерн – со скрипкой в руках и без противогаза. Он встал перед публикой, маленький седой еврей уже за семьдесят, и исполнил соло для скрипки Баха. Я в жизни не слышал более одинокого и прекрасного соло.

Тридцать девять «Скадов» были выпущены по Израилю, но – непостижимым образом – погиб только один человек. Мы все сидели в бомбоубежищах и слушали пресс-секретаря Армии обороны Израиля Нахмана Шая, который раз за разом убеждал нас пить воду. Мне казалось, что это мало помогает при ракетных обстрелах, однако я пил воду и кофе и писал в «Маарив», что сдержанность правительства Шамира на этот раз пошла нам на пользу.

Война началась и закончилась, и я вернулся на свои американские горки под названием «Роберт Максвелл».

Я продолжал проводить половину своего времени в Венгрии, где сделал «Мадьяр Хирлап» первой цветной газетой, а из Будапешта разъезжал по поручению Максвелла (или вместе с ним) по странам Восточной Европы. Мы пытались купить то радиостанцию в Сербии, то газету в Восточной Германии, то телеканал в Болгарии. Однажды утром он позвонил со срочным делом.

– Томи, – сказал он, – купи мне права на распространение «Желтых страниц» во всей Европе.

– Зачем? – спросил я. – Ты собираешься их распространять?

– Нет, но я слышал, что «Желтые страницы» идут в Восточную Европу. Мы купим сейчас по дешевке и продадим через пару месяцев задорого.

Однажды вечером он отправил меня в Белград в своем самолете. Я полетел один, и в аэропорту, спустившись по трапу, обнаружил раскрасневшегося от мороза президента Милошевича со своей свитой.

– Господин Максвелл послал меня только затем, чтобы сказать вам, что он не станет вести дела с хорватами, если это может оскорбить вас, – сказал я.

– Это очень благородно с его стороны, – ответил Милошевич.

Он пожал мне руку, я поднялся в самолет и улетел обратно в Будапешт.

Мировые вожди стремились к общению с Максвеллом (помогало и то, что он имел обыкновение публиковать их хвалебные биографии), и он наслаждался этим. Через несколько недель после моей встречи с Милошевичем мы отправились на Экономический форум в Давосе. Заместитель председателя правительства Венгрии ждал нас, а Максвелл застрял на встрече с премьер-министром Квебека, где покупал огромное количество древесины для изготовления бумаги.

– Задержи венгра, – сказал он мне.

Я сидел с заместителем премьер-министра, беседовал о том о сем, и тут в комнату вошла растерянная молодая женщина.

– Мой отец ожидает господина Максвелла уже двадцать минут, – сказала она.

– А кто ваш отец?

– Генерал Ярузельский.

Оказалось, Максвелл забыл, что договорился еще и с президентом Польши.

Темп был головокружительный, непостижимый и, как выяснилось позже, разрушительный.

В тот год Максвелл совершил три огромные сделки, и все три оказались крайне неудачными.

Он купил издательство «Макмиллан» за два миллиарда шестьсот миллионов долларов, «Официальный справочник авиакомпаний» (который интернет через несколько месяцев сделал бессмысленным) за семьсот пятьдесят миллионов долларов и основал «Юропиан» – общеевропейскую газету, которая безуспешно пыталась конкурировать с «Геральд трибьюн». Когда его инвестиции накрылись и ему были нужны деньги, он залез в пенсионные фонды своих служащих и из этих средств выплатил долги банкам.

Даже сегодня я склонен считать, что Максвелл был не мошенником, а страстным игроком. Ему принадлежали двести тридцать компаний, и всеми их счетами управлял его лихорадочный мозг. Он истово верил, что сможет выпутаться – как это случалось ранее неоднократно – и вернуть деньги так, что никто об этом и не узнает. Но слухи о его проблемах уже ходили на Флит-стрит, и британские власти начали энергичное расследование, в ходе которого выяснилось, что его долги достигли двух с половиной миллиардов долларов.

5 ноября 1991 года я вернулся из «Мадьяр Хирлап» в свой отель и встретил в вестибюле невысокого нервного человека, который когда-то был венгерским послом в Лондоне, а затем был принят Максвеллом на работу, содержание которой никто не понимал.

– Максвелл исчез, – сказал он мне.

– Что значит – исчез?

– Он был на своей яхте и исчез. Говорят, что он прыгнул за борт.

С тех пор меня тысячу раз спрашивали, считаю ли я, что Максвелл покончил с собой или что кто-то – «Моссад», его конкуренты, русские, палестинцы, итальянская мафия, бывшие агенты Штази (предположений так же много, как и спрашивающих) – толкнул его в темную воду. Я не знаю, но склонен предполагать, что он просто решил, что достоин более величественного финала, чем сырая камера в лондонской тюрьме Брикстон.

Я вернулся домой, чтобы участвовать в торжественной церемонии его похорон на Масличной горе, где премьер-министр Ицхак Шамир произнес некролог, в котором были такие слова: «Он сделал для Государства Израиль больше, чем мы можем сегодня рассказать» (чем, конечно, дал пищу любителям фантастических предположений). Затем по просьбе Кевина,

младшего сына Максвелла, я поехал в Венгрию, чтобы продать газету. С семьей Максвелла я поддерживал связь до последнего дня, и каждый раз, когда Элизабет, его жена, приезжала в Израиль, мы обязательно принимали ее у себя дома. Максвеллы очень приятные и культурные люди, но в них нет ничего от пыла и страсти Роберта.

Я вернулся в «Маарив». Моя бурная и стремительная карьера международного бизнесмена закончилась. А следующая начнется в Иерусалиме – в небольшом кабинете, который когда-то был моим, но в котором я не бывал уже несколько лет.

Глава 45

Однажды, когда я уже был министром, ко мне обратился член Кнессета Ахмад Тиби из Объединенного арабского списка. Вопреки обыкновению он выглядел немного не в своей тарелке.

– У меня к тебе просьба, – сказал он, – мой отец уже стар, а он очень любит тебя еще с тех времен, когда ты был на телевидении. Он спросил, не согласишься ли ты приехать к нему домой в Тайбе.

Между мной и Тиби было немало столкновений, подчас довольно яростных, получивших широкое освещение в прессе. В прошлом советник Арафата, он был убежденным палестинским националистом, и я не раз обвинял его в неблагодарности по отношению к стране (и к демократии), которая сделала его членом своего парламента. Однако есть факт, который неведом широкой общественности: Кнессет – это уникальный клуб, в котором ты изо дня в день встречаешь людей и где иногда завязываются дружеские отношения вне всякой связи с политическими разногласиями. Чисто по-человечески Тиби – исключительно умный и с замечательным чувством юмора, и я предпочту его общество компании большинства чванливых ничтожеств, чьи политические взгляды мне ближе.

Я сразу согласился, и через несколько дней мы поехали в Тайбе, к его отцу. Старик встретил нас во дворе своего дома, Тиби принес пару стульев и маленький столик. Мы сели друг против друга, но все же чего-то не хватало.

– Тиби, – обратился я к нему, – есть одна фраза, которую я всегда хотел тебе сказать.

– Какая?

– Ахмад, сделай кофе!

Чувствительные левые, конечно же, скривились бы от моей расистской шутки – в Израиле принято называть официантов-арабов Ахмадами, – однако оба Тиби, отец и сын, покатились со смеху, и лед растаял или, может быть, его растопил поданный арак, и мы провели часа два за приятной беседой.

Два года спустя, вскоре после моего вынужденного ухода из политики, я предложил Яиру вместе посмотреть футбольный матч с участием «Маккаби». Игру показывали на большом экране в баре, располагавшемся на первом этаже моего дома. Яир пришел вместе с другом, молодым ортодоксальным журналистом Коби Ариэли. Мы смотрели игру, сидя за столиком на улице, и все прохожие обращали внимание на то, что Лапид сидит рядом с

ортодоксом. Я спросил Коби, не опасается ли он показываться рядом со мной на публике.

– Томи, – спокойно сказал Коби, – мир делится не на евреев и арабов, не на левых и правых и не на религиозных и светских. По-настоящему людей отличает друг от друга только одно: есть у человека чувство юмора или нет.

Я рассмеялся. Коби, конечно, был прав. Боюсь только, он не знал, что людей без чувства юмора подавляющее большинство.

Никогда за всю свою долгую жизнь я не встретил человека, который бы признался, что у него нет чувства юмора, но грустно, что большинство людей совсем не понимают шуток.

Я усвоил это, пройдя через бурную, шумную, жаркую, разноголосую и веселую школу «Пополитики».

И снова я спрашивал себя: неужели такова теперь моя участь, неужели это действительно я – седеющий и толстеющий старик, сидящий дома за письменным столом, часами играющий в шахматы в интернете против Джо из Висконсина или Ахмета из Стамбула, рассказывающий бородатые анекдоты постепенно сокращающейся аудитории, достающий каждое утро из пластикового органайзера таблетки: две от давления, одну от аритмии и одну для разжижения крови. Когда он решает заняться спортом, это означает – пройти в гостиную, включить телевизор и, посмотрев, как играет «Маккаби Хайфа», решить, что, пожалуй, довольно. Затем он звонит друзьям и спрашивает, все ли у них в порядке. «Все в порядке», – отвечают они. В холодильнике, помнится, есть венгерская салями «Херц». Толстяк отрезает только три кусочка, но третий уже не помещается на хлебе, требуется еще кусочек хлеба – теперь помещается и четвертый.

Помнится, философ Сенека говорил, что старость – это неизлечимая болезнь, но проблема в том, что я не помню, когда точно жил философ Сенека. Надо бы посмотреть в энциклопедии, но у меня нет времени – я слишком занят ничегонеделанием.

А тем временем Йосеф Барель, только что назначенный генеральным директором Гостелерадио, сидел в своем кабинете и ломал голову над кадровой проблемой: обе его звезды – ведущий Дан Маргалит и продюсер Ареле Гольдфингер – были не у дел, и он натужно думал, чем бы их занять. В конце концов он призвал к себе Гольдфингера. «Я хочу, чтобы ты сделал политическую программу. И чтобы она была агрессивной и шумной. О ней должны говорить все. И добавь туда поп-музыки, чтобы привлечь еще и молодежь».

Гольдфингер – крупный мужчина, за мягкой речью которого

скрывались тяжелый характер и непомерное самомнение. Кто-то сказал мне про него, что на телевидении Гольдфингер превратил в преимущество свой самый большой недостаток – полную неспособность слушать кого бы то ни было более двух минут. К счастью, в эти две минуты он успел услышать своего пожилого отца, который предложил назвать программу «Пополитика», от слова «политика» и латинского «vox populi» – голос народа.

Годы спустя Йосеф Барель рассказал мне, как вышло, что меня пригласили в программу, несмотря на то что знали – это вызовет негодование моих недоброжелателей на телевидении.

– Честно говоря, – вспоминал Барель, – это должны были быть три куклы, как в известном шоу. Но оказалось, что куклы будут стоить слишком дорого. Мы сидели и думали, кем же можно заменить этих кукол, и решили взять тебя и Данкнера.

Никто не мог предположить тогда, что, попав в программу на замену кукле, всего через несколько месяцев я стану потрясающе популярным.

Глава 46

Израиль – это «Пополитика», – писал в газете «Хаарец» Йоси Клайн. – А «Пополитика» – это Томи Лапид».

Клайн, конечно, не собирался мне льстить – как и большинство левых интеллектуалов, он не выносил эту программу, как и меня лично. Именно поэтому его слова доставили мне огромное удовольствие.

Что представляла собой «Пополитика»? Это была афинская Агора, римский Форум и лондонский Гайд-парк одновременно. Медийное поле битвы, базарное кафе, гостиная израильского дома в пятницу, где все кричат друг на друга, со вздувшимися венами и вытаращенными глазами, а в конце обнимаются и на выходе договариваются о встрече через неделю – потому что «было здорово».

Из этой передачи вышел один министр – я, один член Кнессета – раввин Исраэль Эйхлер, и один главный редактор крупной ежедневной газеты – Амнон Данкнер. Она в значительной мере поспособствовала карьере Биньямина Нетаньяху и внесла немалый вклад в разрушение карьеры других людей. Длинный список людей, отказавшихся принять участие в нашей программе, включал Ицхака Рабина, Ариэля Шарона, Бени Бегина, а также писателей Амоса Оза и Изхара Смилянски. Тем не менее она стала ареной целого ряда самых важных и острых споров за все время существования Израиля.

Мне, конечно, известны все предъявляемые к ней претензии – грубость, крикливость, вечное «я не мешал тебе говорить, теперь ты не мешай мне», якобы понижение уровня общественной дискуссии, а также тот факт, что однажды мы забыли о существовании интервьюируемого в студии в Хайфе, и он размахивал руками, как утопающий, крича осипшим голосом: «Дан, эй, Дан! А как же я, а я?!»

Мне известны эти претензии, но я их не принимаю.

Плохо это или хорошо, но «Пополитика» не создавала израильскую культуру диспутов, она лишь в точности отражала ее. Того, кому она не нравилась, скорее всего, не устраивал и вид из собственного окна. В программе, открывавшей наш второй сезон, участвовал брат Чарли Битона из «Чёрных пантер» Давид Битон, который сказал, что «алия из России – это алия проституток». В ответ я заявил, что, если бы это зависело от меня, я бы остановил иммиграцию в Израиль за день до его прибытия, и демонстративно вышел из студии. Эфраим Кишон, тоже бывший гостем нашей передачи в этот день, уговорил меня вернуться, но

в стране уже поднялся шум по поводу моей выходки. Критики объясняли, что это еще один пример нашего бескультурья. И никто не обратил внимания, что в тот же самый день премьер-министр Ицхак Рабин не менее демонстративно вышел из зала заседаний Кнессета во время выступления лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху со словами, что слушать Биби он «не собирается».

Израиль – страна нервная и вспыльчивая, а порой и грубая, но это страна, судьбу которой каждый ее гражданин воспринимает как свою собственную. В ней есть правые и левые, религиозные и светские, бедные и богатые, арабы и евреи, гении и глупые… Кого в ней нет, так это объективных. Англичане или голландцы, возможно, посмеются над нашей склонностью принимать все близко к сердцу, но это, по крайней мере, говорит о том, что сердце у нас есть.

Принято считать, что «Пополитика» сразу получила признание, но на самом деле наш первый выпуск был катастрофой.

Мы с Данкнером сидели и пытались понять, в чем же заключается наша роль. Дан Маргалит проводил одно интервью за другим, периодически обращался к нам, а мы отпускали пару острот, реакцией на которые были недоуменно приподнятые брови. Я поздравил себя с тем, что в возрасте шестидесяти двух лет стал комедиантом, причем не лучшим.

Следующий выпуск оказался лучше, но ненамного. На третий раз мне надоело. Я сидел в студии, окруженный прожекторами и людьми, и вдруг понял, что засыпаю от скуки. Дан вел приятную беседу с Шимоном Пересом (которому тоже было скучно), и я, не получив на то разрешения, обратился к Пересу с несколькими гневными фразами. Публика – довольно странная компания правых из Иерусалима – вдруг оживилась и бурно приветствовала происходящее. Дан пытался заставить меня замолчать, но Гольдфингер закричал ему через наушники из аппаратной: «Пусть продолжает! Пусть продолжает! Они аплодируют!» Чуткий Данкнер решил поддержать атаку. Потрясенный Перес тщетно пытался обороняться, и студия превратилась в бурлящий котел. Так родилась «Пополитика».

С тех пор меня невозможно было остановить. Я решил, что отныне буду всем говорить то, что захочу и когда захочу, а если меня выгонят из программы, то я хотя бы буду знать, что это не из-за того, что я наводил на людей скуку. Было понятно, что я наживу себе еще больше врагов, но одно из немногих преимуществ человека пожилого, многое на своем веку

повидавшего, состоит в том, что ему нечего бояться. Всю жизнь у меня были большие поклонники или серьезные хулители, но никто не относился ко мне безразлично.

Почему я вызывал такую бурную реакцию? Не знаю. Многие считали: «Это потому, что Томи всегда кричит». Но если вы просмотрите записи всех шести сезонов программы, то обнаружите, что в «Пополитике» я почти не кричал. Я предпочитал то тут, то там вставлять острые реплики, заставая приглашенного гостя врасплох. Конечно, порой я бывал резок, иногда агрессивен, но чаще всего мне не приходилось повышать голос (он у меня достаточно громкий и в сочетании с венгерским акцентом привлекает внимание без особых усилий). Я почти сразу поддержал соглашения в Осло и критиковал «Ликуд» за сворачивание мирного процесса. Единственный случай, когда полицейские сопровождали меня домой после выпуска передачи в связи с угрозами покушения на мою жизнь, произошел после того, как я назвал «отвратительными чудовищами» сторонников Баруха Гольдштейна, врача, выходца из Америки, устроившего теракт в Пещере Патриархов, в результате которого двадцать девять молящихся мусульман были убиты и сто пятьдесят ранены. Но когда я шел по улице, все таксисты-сефарды кричали мне: «Лапид, ты лучший! Продолжай долбать этих леваков-ашкенази».

Ибо телевидение – это средство массовой информации, которое в силу своей природы предпочитает отчетливые, легко понятные образы. Правый – всегда «фашист», левый «любит арабов», а ортодокс – «паразит». В каком-то смысле Барель был прав – мы были своего рода сатирическими куклами. Публика потешалась над нашими перепалками, но ценила содержательную часть наших передач.

Несмотря на постоянный шум и гам в студии, а может, как раз благодаря им «Пополитике» удалось вынести на повестку дня все самые насущные проблемы, говорить о которых никто не хотел. У нас в эфире Бассам Абу Шариф, один из руководителей ООП, предложил начать мирные переговоры в Иерусалиме; Нетаньяху беседовал с одним из высокопоставленных сирийских представителей и предложил ему начать диалог; актуальной темой стал религиозно-светский конфликт. Мы первыми открыто заявили о накале отношений между новыми репатриантами из России и бывшими репатриантами из стран Северной Африки, первыми заговорили о необходимости реформы системы здравоохранения, о кризисе в системе образования, о растущей безработице. Все, что до тех пор считалось «скучным», у нас стало интересным.

Настолько интересным, что в тот единственный сезон, когда

нас транслировали одновременно с программой «короля развлечений» Дуду Топаза, бывшего тогда на вершине славы, он жаловался в прессе на то, что мы губим его рейтинг. Его коммерческое телешоу уступало в популярности политической программе, в которой четверо пожилых людей беседовали о состоянии образования в стране.

А я, без сомнения, был звездой этой программы.

Министры и члены Кнессета подлизывались ко мне в гримерке в надежде, что я сжалюсь над ними, Шула и Мерав упрашивали меня разговаривать вежливо, гости репетировали дома со своими женами, «как отвечать Томи». Журналисты без конца спрашивали меня: «Как это так, с одной стороны, ты так ратуешь за европейскую культуру, а с другой – ведешь себя до грубости резко?» Я всегда отвечал, что во мне уживается и то и другое. Я человек общительный и люблю спорить и не вижу в этом противоречия. В любом прокуренном кафе Вены или Парижа ведутся такие же яростные споры, как в «Пополитике», когда стиль важен не меньше содержания. Может, я изъяснялся упрощенными фразами, но зато всегда знал, о чем говорю. За моими резкими выпадами стояло мировоззрение образованного человека, отшлифованное за сорок лет журналистской практики.

Кроме того, я передавал ощущения обычного израильтянина, для которого невыносим тот факт, что на его телевидении безраздельно господствует политкорректность.

Когда в нашей программе появился Виктор Островский, предатель, служивший в «Моссаде», а затем эмигрировавший в Канаду и там издавший книгу, в которой раскрыл организационную структуру израильских спецслужб, я сказал ему: «Надеюсь, уважаемый, что “Моссад” найдет тебя и ликвидирует». Все, кто сидел в студии, обрушились на меня с руганью, но подавляющее большинство израильтян чувствовали то же, что и я.

Когда я сказал известному астрологу, что он мошенник, на меня подали в суд, и я заплатил пятьдесят тысяч шекелей, но с радостью сделал бы это еще раз. Гороскопы, публикуемые каждую неделю в прессе, – это абсолютная чепуха, и я не верю, что по положению Сатурна относительно Нептуна можно определить, ехать ли нам с женой на отдых в Галилею.

Даже когда я упрекнул пару христиан-миссионеров во время обсуждения закона о христианской миссии – «Хватит того, что вы устроили нам во время Катастрофы», – я отвечал за свои слова. Было бы в программе больше времени, я мог бы прочитать им, да и всей аудитории лекцию о той позорной роли, которую сыграла

католическая церковь во время Катастрофы, и о молчании папы Пия XII, описанном в поэме Натана Альтермана «Из всех народов». Но и одна моя фраза сказала достаточно.

Маргалит и Гольдфингер, каждый по своим причинам, не особо радовались тому, что я отнял у них внимание публики. Дану, как и любой телезвезде, не нравилось, что участник, сидящий справа от него, привлекает всеобщее внимание, а Гольдфингер, который, как и все талантливые телепродюсеры, был уверен, что только он должен управлять эфиром, не раз выходил из себя из-за того, что я не следовал его указаниям. Тот факт, что я сидел на диете (и сбросил двадцать шесть килограммов), не способствовал сохранению мною самообладания в ответ на их нападки. В один из незабываемых моментов программы Гольдфингер кричал Дану из аппаратной:

– Заставь Лапида замолчать! Заткни Лапида! Говорю тебе: заткни Лапида!

В конце концов Маргалит так разозлился, что посреди трансляции выдернул из уха наушник и заорал на него:

– Перестань орать мне в ухо! Сам заткни его! Я не могу с ним справиться!

Наверное, молодым и непосвященным сложно представить себе ту бурю чувств, которую вызывала у зрителей эта передача. Однажды, на следующий день после особо напряженного выпуска, мы с Шулой шли по улице в Тель-Авиве. Нам повстречался мужчина лет сорока с портфелем в руке. Оказавшись в нескольких метрах от нас, он выронил портфель и упал посреди тротуара. Я бросился к нему вместе с еще одной прохожей и солдатом, который выскочил из машины. Когда я подбежал, человек поднялся, отряхнулся, улыбнулся, пожал мне руку и сказал:

– Я извиняюсь, что притворился. Просто я хотел, господин Лапид, чтобы именно вы пришли мне на помощь.

Глава 47

Мне нечего было сказать об убийстве Рабина. В ноябре 1995 года, через две недели после убийства, я сидел в студии, участвуя в одной из самых сдержанных дискуссий за всю историю «Пополитики», и понимал, что мне совершенно нечего сказать. Состязание, возникшее вокруг меня, в котором каждый пытался доказать, что он потрясен сильнее остальных, казалось мне глупым. Конечно, я был потрясен. А какой израильтянин не был?

Однако я не поддерживал попыток представить все правое крыло виновниками преступления. Это верно, что, если бы не дикое подстрекательство против мирных усилий Рабина – начиная с ораторов на балконах, выходящих на иерусалимскую площадь Сиона, кончая раввинами, которые благословили Игаля Амира, – возможно, он не был бы убит. Вместе с тем к сожалению и гневу в связи с убийством Рабина примешивалось ощущение, что левые используют трагедию, чтобы победить правых. Переживающих смерть Рабина правых обвиняли в лицемерии, но ведь не каждый, наклеивший на свою машину плакат с именем Нетаньяху или даже принявший участие в бурной демонстрации против соглашений в Осло, обязательно стал соучастником преступления. Демократия, та самая, которую Рабин защищал всю свою жизнь, – живой институт, в котором порой говорятся вещи неподобающие. Убийство само по себе было ужасным. Без того, чтобы кто-то воспользовался им для победы в споре.

Напротив меня сидела политик Лимор Ливнат. Она была бледна и подавлена. Часть присутствующих припоминала ей цитаты из подстрекательских речей правых в последние недели перед убийством, и Лимор защищалась как могла. Каждый раз взгляды устремлялись на меня и сидевшую рядом Шелли Яхимович – известную журналистку левых взглядов, которая через десять лет поменяет журналистику на Кнессет, но мы оба продолжали молчать. Ближе к концу эфира я заметил, что не «Ликуд» убил Рабина, а безумный в кипе, который решил, что выполняет волю Бога. К моему удивлению, Шелли согласилась со мной. Передача закончилась необычно спокойно, и участники стали расходиться.

Не успели мы смыть грим, как передо мной и Шелли возник разъяренный Гольдфингер.

– Вы опозорились, – ругался он.

– О чем ты говоришь?

– Как вы посмели защищать «Ликуд»?

У сидевшей на соседнем стуле Ливнат был ошеломленный

взгляд.

– Гольдфингер, – сказал я, – ты сошел с ума.

Но он уже ушел, продолжая что-то негодующе бормотать себе под нос.

К тому моменту своей жизни я уже давно не был правым. Я считал, что нам надо отделиться от палестинцев и предоставить им возможность создать государство на большей части территории Иудеи, Самарии и Газы, и на выборах девяносто второго дрожащей рукой в первый – и последний! – раз я проголосовал за партию «Авода» и Ицхака Рабина. Хотя я глубоко симпатизировал поселенцам и видел в них настоящих израильтян, полных благих намерений, тем не менее понимал, что дело их жизни – поселения – ошибочно само по себе, многих вводит в заблуждение и может привести в итоге к утрате еврейского большинства в Израиле и кончине сионистского идеала.

С другой стороны, я так и не стал левым. Потому что не верю арабам. Они никогда не мирились и не смирятся с нашим присутствием на этой земле. Неужели кто-то сомневается в том, что, если бы у них была возможность, они уже давно перебили бы нас всех до одного? Эта мысль неприятная и, возможно, невежественная, поэтому левые предпочитают вытеснять ее из сознания, чтобы продолжать делать вид, что арабо-еврейский конфликт происходит где-то в Шотландии или в Гааге.

Каково же решение? К сожалению, ответ заключается в том, что решения нет. Национальные конфликты – это не замóк, к которому нужно всего лишь подобрать ключ. Мы должны уйти с территорий, поскольку это правильная тактика, и мы должны оставаться самой сильной военной державой в регионе и всегда напоминать арабам, что с нами лучше не связываться, поскольку и это правильная тактика. Я не отношусь к правым, потому что их решение – попытаться подчинить себе миллионы палестинцев – бессмысленное. Я не отношусь к левым, потому что их решение – отказаться от мечты о еврейском государстве в пользу двунационального государства – бездушно. Где же я? Иногда тут, иногда там. Как писал Виктор Гюго: «Последовательны только быки».

Если уж говорить о последовательности: в январе 1996 года Мерав явилась ко мне в рабочий кабинет и сообщила, что разводится с мужем. Вместо того чтобы рассердиться, я приготовил кофе и сказал, что она моя дочь, что я люблю ее и поддержу в любом ее решении. Быть патриархом тоже надо уметь.

Иногда я спрашиваю себя, почему обоим моим детям, выросшим в семье, где брак был настолько счастливым,

насколько можно вообразить, не повезло в первом браке (и очень повезло во втором). Единственное, до чего я додумался, – что они были настолько уверены в том, что брачные устои крепки и защищены, что даже не потрудились проверить, правильно ли они выбрали себе спутников жизни. Другими словами – виноваты родители. Почему я так думаю? Потому что родители всегда виноваты.

Через несколько месяцев Яир бросил свое очень популярное ток-шоу, хлопнув дверью после длительного конфликта с профсоюзом техников.

Какое-то время он не знал, чем заняться, пока Арнон Мильчин не предложил ему приехать в Голливуд и создать в его кинокомпании отделение телевизионных проектов. Эта идея напугала меня гораздо больше, чем я мог показать. Я боялся, что у него ничего не получится, и еще больше боялся, что получится. Я всю жизнь презирал израильтян, которые уезжают из Израиля, и вот мой сын покидает страну. Спустя несколько месяцев после его отъезда я сидел с друзьями за чашкой кофе в кафе «Бейт Хана» рядом с моим домом. Через два часа я поднялся и ушел, а еще через двадцать минут в кафе вошел террорист-смертник и подорвал себя. Погибли четыре женщины, были ранены сорок восемь человек. Вскоре Яир позвонил из Лос-Анджелеса.

– Ты в порядке?

– Да.

– Я помню, что это твое кафе, что ты там завсегдатай.

– Я как раз вышел оттуда.

Последовало долгое молчание.

– Я возвращаюсь, – сказал он.

Дан Маргалит тоже не был особенно последовательным. По завершении нашего второго сезона он ушел на коммерческий Канал-2, чтобы попробовать создать программу, которая составила бы конкуренцию «Пополитике». Вместо него ведущим был назначен Яаков Ахимеир, вежливая и, главное, сонливая манера которого чуть не погубила программу. Через год Дан вернулся, несколько пострадавший от неудачной попытки работы на коммерческом канале, и все пошло как раньше: по понедельникам встречались в студии, полтора часа метали громы и молнии, затем ехали к Эхуду Ольмерту, избранному к тому времени мэром Иерусалима, ели сыр и продолжали спорить.

Мое сближение с Ольмертом произошло при тяжких обстоятельствах. В тот утраченный мною после смерти Михаль год он был одним из немногих, кто не исчез после первой недели или тридцати дней. Будучи министром, несмотря на сильную занятость, он старался приезжать из Иерусалима в Тель-Авив хотя

бы раз в неделю, чтобы побыть со мной и поддержать меня. Я плакал, а он держал меня за руку и говорил: «Томи, все будет хорошо, ты увидишь, что все будет хорошо», и тоже плакал вместе со мной.

Если бы я еще был жив, то попросил бы его адвокатов разрешить мне выступить на его процессе, чтобы иметь возможность сказать, что в тяжелую минуту он самый хороший друг, какого человек только может пожелать.

Глава 48

Из всех тысяч написанных мной за всю жизнь материалов самым популярным стала небольшая газетная заметка под названием «Жить в Новой Зеландии», которой я не придал в свое время особого значения. В течение многих лет она перепечатывалась, продавалась в магазинах в виде пергаментного свитка, вошла в разные сборники, а в 1995 году послужила текстом для песни поп-рок-группы «Этникс». Это единственный случай, когда я получал роялти как автор песни. Я не перечитывал заметку много лет (как и большинство пишущих, я не склонен возвращаться к собственным текстам), но однажды, в конце 1998 года, повернулся к полке за спиной, достал один из своих сборников и перечитал этот текст, а позднее даже выступил с ним в одной из своих радиопередач. Наиболее внимательные слушатели, конечно, уловили намек на то, что в свои шестьдесят семь я хоть и жил на улице Лассаль в Тель-Авиве, но во всех остальных смыслах находился в Новой Зеландии.

«Иногда я пытаюсь представить себе, каково это – жить в Новой Зеландии. Родиться на острове в океане, который трудно найти на карте, вырасти в сонном городке с крышами из красной черепицы, гулять по зеленому полю и наблюдать, как фермеры стригут белых овец.

Вырасти в доме, построенном дедом; быть внуком, чей дед умер естественной смертью, от старости; изучать по учебнику двухсотдвадцатилетнюю историю своей страны, пить вино из бочки в погребе – в погребе, который не служит еще и бомбоубежищем.

Быть новозеландцем – это уверенно строить планы на пять лет вперед, неистово болеть за местную футбольную команду, пойти на контрактную службу в армию, потому что воинская повинность отсутствует, а затем демобилизоваться, стремясь к чему-то новому и неизвестному.

Читать новозеландскую газету и не понимать, что происходит на Святой земле: почему люди погибают на каждом клочке этой сухой земли, когда мир так огромен, а жизнь так драгоценна?

Верить, что все люди – братья и что при желании можно решить любую человеческую проблему. Быть новозеландцем и знать, что пушки стреляют только один раз в год – в день рождения королевы; что спальный мешок предназначен для походов, вдова – это старая женщина, пережившая мужа, умершего естественной смертью; а когда родители говорят, что потеряли сына, это означает, что он спрятался от сверстников и

они просто не видят его сейчас?

Быть маленьким новозеландцем, который сосредоточен на своих проблемах, не причастен ни к каким вселенским событиям, ни за кого не отвечает и никто не отвечает за него, никому ничего не должен и никто не должен ему; от которого не требуется никаких человеческих жертв и который не рассчитывает на то, что кто-то пожертвует собой ради него. Быть маленьким новозеландцем, у которого кошки на душе не скребут. И не грянет гром среди его ясного неба.

О Господь, я не жалуюсь, что ты выбрал нас из всех народов, я принимаю свою долю со смирением, любовью и гордостью и ни за что не променял бы Иерусалим на Веллингтон и тяжелую жизнь в Израиле – на легкую в любом другом месте на Земле. Это моя земля, родина моих детей, это наша судьба, и мы ее принимаем. Но не сердись, Господь всемогущий, если все-таки иногда в голову приходят крамольные мысли: разве справедливо, что в Новой Зеландии люди умирают от скуки?»

И справедливо ли было, что и я сам – уже в который раз – умирал от скуки? Ибо в 1998-м, на пике популярности, «Пополитика» была внезапно снята с экранов. «Всё – личное», – говорит дон Корлеоне в конце фильма «Крестный отец». В уничтожении «Пополитики» тоже был личный мотив.

Весной того года Ури Порат был назначен на второй срок генеральным директором Управления телерадиовещания вместо Йосефа Бареля. «Плохи наши дела», – сказал мне Данкнер по телефону.

Вскоре после назначения на новую-старую должность Порат вызвал Гольдфингера и сообщил, что снимает с эфира программу (в которой сам так хотел участвовать!), «поскольку она вульгарная». Это был первый случай в истории, когда руководитель самолично закрыл самую популярную передачу канала. С тех пор и по сей день не было у Первого канала программы, которая могла бы сравниться успехом с «Пополитикой».

Я снова был в растерянности. Пенсионного возраста я уже достиг. Пять лет в «Пополитике» были финальным аккордом успешной карьеры, говорил я себе. Теперь все, что мне осталось, – говоря словами поэта Рильке, – «в саду пустом бродить и ждать начала листопада». Мне снова стал сниться мой старый сон: я бегу на железнодорожную станцию, бегу, бегу, но, когда добираюсь, поезд уже уходит, а я стою на перроне, смотрю вслед поезду, полному моих веселых друзей, равнодушных к тому, что я остался позади.

– Мой сон вернулся, – сказал я Шуле утром.

Она обняла меня.

– Даже сны у тебя простые, – сказала она, – без психологических сложностей. Да, этот поезд ушел, но придет другой.

Через несколько дней Маргалит позвал нас с Данкнером и предложил восстановить наше трио на Втором канале. Мы согласились и даже создали совместную компанию для выпуска программы, но все трое понимали, что это уже не то. Блестящий, модный коммерческий канал не подходил для напряженного политического диалога, на котором мы специализировались, и программа Маргалита «Всё – политика» была обречена, с нами или без нас.

До сегодняшнего дня не перестаю удивляться, насколько близок я был к исчезновению с публичной арены. Жизнь – это часы, которые время от времени останавливаются, никого не предупреждая об этом. Одна пропущенная встреча, один несостоявшийся разговор, одна не пришедшая в чью-то голову мысль – и от меня осталась бы лишь коротенькая статейка в Википедии, интересная разве что моим родственникам. Я говорю так не из ложной скромности, а потому, что хорошо осознаю опасную хрупкость человеческой судьбы.

Мои же часы, похоже, решили идти в своем собственном темпе. Однажды утром меня пригласил на встречу профессор Уриэль Райхман, создатель Междисциплинарного центра в Герцлии.

Я приехал на встречу в кафе «Бейт Хана», в котором два года назад произошел теракт. У входа меня уже ожидали Райхман и рекламный агент Арье Ротенберг, один из владельцев агентства «Кешер Барель»; мы сели возле поразительного памятника скульптора Элиэзера Вайсхофа, изображающего три срезанные розы.

– В мае состоятся выборы, – сообщили они мне. – Мы решили поддержать партию «Шинуй» Авраама Пораза и хотели спросить тебя, согласен ли ты быть на втором месте в партийном списке.

– Нет, – отрезал я.

– Почему?

– Потому что я не вижу причин рисковать своим положением в средствах массовой информации ради партии, которая все равно не преодолеет избирательный порог.

Они уставились друг на друга, и у меня появилось ощущение, что они предвидели мой ответ и были готовы к нему.

– Как бы ты посмотрел на то, – сказал Ротенберг, – что мы

проведем опрос на тему, кто должен возглавить «Шинуй»?

Я задумался на минуту. Был определенный риск, что результаты опроса просочатся в прессу, но покажите мне хоть одного популярного в обществе человека, который откажется от идеи проверить свою популярность научным методом.

Когда я спросил свою семью, что они думают по этому поводу, мнения разделились. Шула, как всегда, сказала, что поддержит меня в любом моем решении, Мерав была против, Яиру идея понравилась. Я позвонил Кишону в Швейцарию. Он отверг идею, не успел я произнести и трех фраз. «Ты с ума сошел? – спросил он со своим невыносимым акцентом. – Ты гораздо более важен как журналист, чем как депутат Кнессета от карликовой партии, который сидит на задних рядах и ни черта не делает».

Чтобы завершить цикл консультаций, я поговорил с Ольмертом, единственным профессиональным политиком среди моих близких друзей. Он тоже был против и высказался в своей обычной решительной манере. «Вы не преодолеете избирательный порог, ты только опозоришься», – заявил он. Я, разумеется, не забывал напоминать ему примерно раз в неделю об этом его блестящем прогнозе все последующие десять лет.

За два дня до встречи с людьми из «Шинуй» я понял, что не могу не рассказать об этом Данкнеру и Маргалиту. В одиннадцать вечера я позвонил Данкнеру и сказал, что сейчас приду к нему. Он удивился, но сказал, что будет рад. Когда я появился у него на пороге, он открыл мне с чашкой кофе в руке.

– Ну, Томи, – сказал он спокойно, – какая партия предложила тебе возглавить себя?

– «Шинуй».

– Возьми листок бумаги и запиши: вы получите шесть мест.

И тем не менее, если бы охранник в голубой форме остановил меня, когда на следующий день я входил в Междисциплинарный центр, и спросил, каков будет мой ответ на полученное предложение, я бы честно ответил, что не знаю.

На встрече, кроме Райхмана и Ротенберга, присутствовали еще Стеф Вертхаймер и несколько видных активистов «Шинуй», среди которых были Пораз и будущие министры Иегудит Наот и Илан Шальги. Мы расселись за длинным столом под неоновыми лампами, из-за которых все почему-то стали выглядеть зеленоватыми, и Ротенберг представил нам результаты проведенного им расширенного опроса. Он был гораздо хуже предыдущего и совпадал с прогнозом Ольмерта: даже во главе со мной «Шинуй» находился на грани преодоления избирательного

порога.

– Раз так, – заявил я, – я выхожу из игры.

Целый час они пытались убедить меня, что я совершаю ошибку, что это только начало, что у нас все получится, но я упрямо продолжал отказываться. Голоса и физиономии вокруг меня смешались, и, как это обычно бывает при затянувшихся дискуссиях, аргументы стали повторяться, как убаюкивающая мантра. И тогда сквозь туман я вдруг увидел такую картину: несколько месяцев спустя, в день выборов, я сижу дома у телевизора и вижу этих людей в тот момент, когда Хаим Явин объявляет, что это – новые члены Кнессета от партии «Шинуй», и я не могу себе этого простить, ем себя поедом: ведь я мог быть одним из них, но поезд ушел, а я остался на перроне. Я поднял голову и громко сказал: «Я согласен». Все замолчали, потрясенные, а я вспомнил (не в первый раз) романы Карла Мая, которые читал в детстве, и, как настоящий Виннету, произнес: «Я сказал!»

Глава 49

Артур Рубинштейн, величайший классический пианист двадцатого века, однажды, расплываясь в улыбке, рассказал мне такую историю:

«Я приехал в Нью-Йорк с циклом концертов и остановился в одном из лучших отелей города. Проснулся в семь утра и сел репетировать на рояле в своем люксе. Соседний номер снимал журналист, который работал до поздней ночи, и моя игра разбудила его.

Вне себя от злости, журналист спустился в лобби и устроил скандал: “Что у вас за отель? Я пытаюсь уснуть, а какой-то зануда в соседнем номере бренчит на рояле спозаранку и будит меня! Я требую прекратить это. И немедленно!”

Служащий потянулся за гостевой книгой и пробежался по списку. “Я вижу, вы живете по соседству с Артуром Рубинштейном, – сказал он журналисту. – Вы говорите, что он играет? Прошу прощения, мистер, но цена вашего номера только что выросла на пять долларов”».

Рубинштейн расхохотался, и я тоже. Через тридцать пять лет и я почувствовал, каково это, когда номер, в котором ты поселяешься, вдруг повышается в цене благодаря тебе.

* * *

Однажды утром я отправился в Дом журналистов. На моей машине все еще красовалась наклейка «Пресса», которая позволяла бесплатно парковаться на стоянке. «Когда я вернусь домой, – подумал я, – соскребу наклейку с лобового стекла, а то, глядишь, кто-нибудь обвинит меня в злоупотреблении. Я был активным журналистом целых сорок шесть лет, и вдруг в одночасье оказалось, что все это позади». Я вышел из машины и пошел по направлению к зданию, где когда-то женился и проводил бесконечные часы за разговорами, игрой в шахматы и жаркими профессиональными спорами. На ступеньках собрались десятки журналистов и фотографов. Я стал соображать, нет ли в Израиле сейчас какого-то важного заграничного гостя, из-за которого никто не обратит внимания на мое появление. Только когда они набросились на меня и начали щелкать камерами и сыпать вопросами, я понял, что я и есть этот важный гость.

– Что, Томи, – сказал мне незнакомый молодой корреспондент армейского радио, – ты тоже хочешь «вольво»?

В те дни членам правительства полагался автомобиль «вольво».

– Пойдем со мной на стоянку, посмотришь, – ответил я, – у меня уже есть «вольво».

Все рассмеялись, а я поднялся в набитый битком конференц-зал. За столом уже сидели Пораз и Райхман вместе с другими членами партии. Пораз представил меня как нового лидера партии, и, когда я поднялся, чтобы выступить с речью, по залу пронесся шепот. Журналисты – люди циничные, но я был одним из них в течение долгих лет, и они знали, что для меня это был нелегкий шаг. Номер вдруг вырос в цене на пять долларов!

Пресс-конференция была очень удачной (сообщения о ней оказались на следующий день на первых полосах всех газет). После ее окончания Пораз предложил поехать в штаб партии и начать готовить предвыборную кампанию. Мы договорились встретиться там, но когда я сел в машину, то, к своему смущению, сообразил, что не знаю, где находится штаб партии.

Сделав нескольких телефонных звонков, я добрался до заброшенного здания 10 на улице Арбаа в Тель-Авиве. Лифт ходил только до четвертого этажа, оттуда пришлось подниматься пешком до пятого. Там я оказался на палубе своей «Виктории» (флагманский корабль адмирала Нельсона). Это был невзрачный офис размером меньше пятидесяти квадратных метров, с ковровым покрытием, от которого исходил запах клея, и мебелью, купленной, похоже, на распродаже после пожара.

В крошечном конференц-зале уже сидели активисты партии, которые смотрели на меня кто с любопытством, кто с подозрением и ждали, что я скажу им, что надо делать. Я не мог не вспомнить день, когда Эфраим Кишон собрал съемочную группу фильма «Салах Шабати» и сказал им: «Здравствуйте, меня зовут Эфраим. Прошу объяснить мне, как снимают кино».

Кто бы объяснил мне, как создают политическую партию?

Глава 50

Господин Лапид, – обратился ко мне молодой ультраортодокс, – почему вы меня ненавидите?

– Я не ненавижу тебя, – ответил я, – я не испытываю ненависти ни к одному еврею в мире.

Он замолчал и смотрел на меня. Я молчал и смотрел на него. Телекамеры продолжали снимать. Краем глаза я видел, как Моти Киршенбаум, который был со мной на протяжении всей предвыборной кампании, насторожился в ожидании назревающего конфликта и дал знак оператору приблизиться. Но мы не оправдали их ожиданий. Религиозный юноша понимающе кивнул мне, я кивнул в ответ, и на этом все закончилось, так и не начавшись.

Я не испытываю ненависти к ультраортодоксам – они евреи, а у всех евреев одна общая судьба. Во мне нет ненависти даже к тому ортодоксу, который, встретив меня в больнице после моей первой онкологической операции, когда я с трудом передвигался, волоча за собой капельницу, сказал своей жене громко и отчетливо, чтобы я расслышал каждое слово: «Ты видишь этого человека? Это еврейский Гитлер». В молодости я бы, наверное, хорошенько врезал ему, но в тот момент мне было жаль его, потому что он живет во мраке злобы и страха. Я более свободный человек в своей смерти, чем он при жизни.

Да, я не человек, который подставляет другую щеку. Но руководила мной в моей широко освещаемой в прессе многолетней борьбе с харедим вовсе не ненависть. У меня с ними социальный, культурный и интеллектуальный конфликт, чернилопролитная политическая война. Я вижу, что каждый раз, когда кто-то начинает спорить с ними, они тут же начинают поносить его, обвиняя в антисемитизме. Я понимаю, что во многом их влияние обусловлено тем, что мы, светские евреи, позволяем им определять, кто еврей, а кто нееврей. Но это же чушь: я нисколько не меньше еврей, чем любой раввин в Иерусалиме, чьи дети не могут показать Китай на карте мира или включить компьютер, не служат в армии, угнетают своих жен и отказываются работать, живя вместо этого на те налоги, которые плачу я.

«Вот видите, он сумел держать себя в руках только пару минут, а теперь снова источает ненависть», – скажут мои недоброжелатели. Они не понимают, что в основе демократического общества лежат не только права, но и обязанности. У меня нет никаких проблем с

ультраортодоксальным евреем, который отслужил в армии, утром встает и отправляется на работу, а затем всю ночь изучает Тору, если таково его желание. Этот человек – мой брат, я люблю его больше любого нееврея во всем мире. Он был со мной в гетто, он был со мной на переполненном суденышке, доставившем меня в Израиль, он сидел рядом со мной на камне у разрушенной синагоги на острове Родос и оплакивал гибель пятисот евреев, выведенных из нее нацистами и потопленных вместе с итальянским судном.

То, что человек носит на голове штраймл и отращивает бороду, не освобождает его от обязанностей, лежащих на всех гражданах страны. Я возражаю не против ультраортодоксальности, а против того, что харедим превратили ее в справку об освобождении от огромной массы каждодневных дел и забот, бремя которых несут все остальные члены общества. Я не раз говорил, что у меня есть сын-ультраортодокс. Я никогда не видел его, но оплачиваю все расходы на него с момента его рождения. Его биологический отец освобожден от этой обязанности – потому, что ему захотелось заниматься только изучением Торы. Я этого не понимаю и не принимаю. Быть родителем – это прежде всего ответственность. Если произвел детей на свет, то обязан заботиться о них. Я готов обеспечивать этого своего ребенка, которого никогда не видел, но только если он будет следовать трем правилам, обязательным и для других моих детей: служить в армии, работать и платить налоги, не бросать камни в наших полицейских и солдат.

Ультраортодоксы усугубляли ситуацию еще и тем, что пытались – и часто успешно – проводить законы, принуждающие остальных к их образу жизни. Я не претендую на то, чтобы указывать людям, что они должны есть, когда работать и когда отдыхать, как одеваться и когда ездить на своей машине. Но и сам не желаю, чтобы кто-то учил меня, как я должен жить.

– Что вы от нас хотите? – вращали в ответ глазами религиозные политики. – Эти законы были приняты демократическим путем.

На это я обычно отвечал:

– Вы согласитесь с демократически принятым законом, который запретит вам носить кипу или обяжет есть свинину?

Конечно нет. Харедим готовы играть в демократию лишь когда удается использовать ее в своих интересах. Как только ситуация меняется, демократия перестает их интересовать.

В конце января 1999 года были опубликованы итоги первого опроса, проведенного после того, как я возглавил партию. Все без

исключения говорили о том, что мы не получим ни одного места в парламенте. Позже Пораз признавался мне, что, когда в то утро открыл газету, его охватило отчаяние. Он спросил себя, не совершил ли ошибку, приведя меня к руководству, – не попасть в Кнессет он мог и самостоятельно!

На следующий день мы собрались в главном офисе «Шинуй» на первое заседание в рамках предвыборной кампании. Настроение было подавленное. Я чувствовал, что они винят меня и считают, что я «не оправдал надежд». Мы говорили о партии, о ее направленности, а главное – о том, чем она должна отличаться от других партий. Я слушал всех с несвойственным мне терпением, сдерживая свое обычное желание решить все быстро. Но удерживать свой буддистский настрой мне удавалось не больше часа.

– Господа, – громко сказал я. – Нашей темой будет проблема ультраортодоксов, и только она. «Шинуй» – не супермаркет, чтобы предлагать публике целую корзину тем на выбор. Мы – партия маленькая и сердитая, именно в этом качестве мы и обратимся к израильскому избирателю.

На следующий день мы начали работать. Наняли опытных телепродюсера и режиссера. Я сказал, что сам буду писать тексты и сценарии и, когда все перестали смеяться, сел за компьютер и написал несколько текстов для наших роликов: о том, как ортодоксы захватили контроль над нашей жизнью, как они умудряются избегать службы в армии, как все израильские правительства капитулируют перед их диктатом.

Мой ежедневный распорядок сложился очень быстро. В семь утра я садился в фургон, обклеенный стикерами, и ехал – с собрания на собрание, с встречи на встречу. На крыше фургона был установлен большой громкоговоритель, из которого звучала рекламная песенка нашей предвыборной кампании: «У нас лапид (факел) для светских!»

На все встречи с избирателями приходило больше народа, чем мы приглашали. Я понимал, что значительная их часть – не сторонники партии «Шинуй», а просто пришли посмотреть на «Лапида из телевизора». Но был не против. Я забирался перед ними на скамейку, наскоро сколоченный помост или перевернутый ящик и говорил о том, что правительство без ультраортодоксов может казаться несбыточной мечтой, но оно реально. После выступлений я пожимал руки, беседовал с людьми, расспрашивал их о жизни в Тверии (или Афуле, или Бэер-Шеве). К своему удивлению, я обнаружил, что получаю удовольствие от этих встреч. Только почему-то никто не просил меня целовать младенцев. Политики всегда фотографируются

целующими младенцев, но за все время избирательной кампании никто ни разу меня об этом не попросил. Может, младенцы, которых той зимой целовали Биби Нетаньяху и Эхуд Барак, были взяты напрокат?

Полиция предупредила нас, что со стороны ортодоксов раздаются угрозы в мой адрес. Несколько человек были арестованы. По совету Пораза ко мне приставили телохранителя. Стопятидесятикилограммовый Моти Паз смог бы защитить меня не только от одного нападающего, но и от целого взвода. Через несколько лет я встретил его на каком-то мероприятии и едва узнал: он сбросил семьдесят килограммов с помощью спорта и диеты и сделал из своего тела впечатляющую коллекцию мышц.

В середине дня мы возвращались в Тель-Авив или ехали в Иерусалим, и я шел на телевидение. По-моему, в Израиле не осталось телепрограммы, в которой я не поучаствовал по меньшей мере три раза, включая кулинарные (с моим рецептом венгерского вишневого супа), о путешествиях (с рассказом о путеводителе Лапида), о еврейском наследии (с воспоминаниями о Нови-Саде), ток-шоу (с историями времен работы в Лондоне), детские программы (с рассказами о своих внуках) и, конечно, посвященные политике.

Затем мы снова отправлялись на север, чтобы встретиться, например, с тремя сотнями неравнодушных граждан в Хайфе, а вечером возвращались в Тель-Авив, в штаб-квартиру партии. Я писал вместе с нашим пресс-секретарем материалы в газеты, бросал последний взгляд на текст нашей ежедневной трансляции, ехал в студию, чтобы записать ее, шел в монтажную, чтобы убедиться, что все получилось, как было задумано. Затем возвращался домой и вместе со своими помощниками планировал следующий день. Около трех утра ложился спать, чтобы через два с половиной часа проснуться и начать все сначала.

Это были сумасшедшие, лихорадочные, напряженные дни. Я никогда в жизни так хорошо не проводил время.

Тем временем все вокруг происходило так, будто Провидение решило нам помочь. Я полагал тогда и сейчас считаю, что нашу кампанию надо изучать в школах управления и политологии, но следует признать, что и окружающая действительность поработала на нас.

В феврале ультраортодоксы вышли на огромную демонстрацию в Иерусалиме (говорят, самую большую за всю историю государства). Многое из сказанного там в адрес Высшего суда справедливости привело в ужас большую часть граждан.

Особенно выделялось заявление Давида Йосефа, сына раввина Овадии Йосефа, духовного лидера партии ШАС, который назвал председателя Высшего суда справедливости Аарона Барака «врагом иудеев».

Нас атаковали не только ортодоксы, но и левые. Многие влиятельные левые журналисты публиковали ядовитые статьи, призванные испортить нашу репутацию и оклеветать меня, представив замаскированным фашистом, проникшим в цитадель либерализма. Я решил дать им ответ в «Едиот ахронот», но газета отказалась публиковать его, и нам пришлось напечатать мою статью на правах рекламы. Это был единственный в жизни случай, когда мне пришлось платить за написанную мною статью, вместо того чтобы получить за нее гонорар.

Мы работали для победы и сами не верили в то, что она возможна. Настолько, что за четыре дня до выборов Моди Зандберг, пятый в нашем списке, собрался лететь в Лондон.

– Ты с ума сошел? – спросил я его. – Кто уезжает из страны в такое время?

– Да ладно, Томи, – ответил Моди, – мы же понимаем, что это нереально. Меня пригласили на мероприятие в Букингемский дворец, я увижу королеву. Такое бывает только раз в жизни!

Сказал и улетел. Я продолжал напоминать ему об этом в течение всего времени нашей работы в Кнессете и правительстве, и он всегда смеялся в ответ. Смущался, краснел и смеялся.

Вечером накануне выборов меня пригласили в студию Второго канала. За три дня до этого кто-то из «Маарива» сообщил мне, что опросы предсказывают нам шесть мандатов, но это звучало чересчур оптимистично. За полчаса до публикации результатов последнего социологического опроса ведущий поднял большой палец и многозначительно подмигнул мне. Впервые мне показалось, что слухи, возможно, верны. Через полчаса на экране появились результаты: Эхуд Барак будет новым премьер-министром, а «Шинуй» получит в Кнессете шесть мест.

Через час я уже был на крыше нашего здания, пьяный и счастливый. Там собралось так много народу, что один из наших активистов, инженер по специальности, предупредил меня, что крыша может не выдержать.

– И что ты хочешь, чтобы я сделал? – ответил я ему, и он ушел, продолжая что-то озабоченно бормотать. В какой-то момент Пораз исчез. Через некоторое время он вернулся.

– Я был на площади Рабина, там празднует победу Барак, – сказал он мне. – Десятки тысяч людей кричат: «Только не ШАС, только не ШАС!» Тони, мы войдем в правительство!

Я обнял Пораза и поцеловал Шулу. Кто-то сунул мне в руку

микрофон. Все замолчали и обернулись ко мне.

– Леди и джентльмены, – сказал я, – это самый счастливый день в моей жизни.

Глава 51

Что такое Кнессет?

Это серьезный орган законодательной власти и пристанище безответственных клоунов; это самый уважаемый институт израильской демократии и предмет насмешек; это место, где происходят ожесточенные стычки между людьми, которые через два часа сидят рядом и помогают друг другу составлять формулировки коммюнике; он устарел, но беспрерывно обновляется; это академическое учреждение, которое занимается самыми важными проблемами государства, и рыночная площадь, где несут несусветную чушь; это элитный клуб избранных, где коллега хватает тебя за ворот и жалуется на муниципалитет, который не разрешает ему застеклить балкон, и обещает устроить по этому поводу первостатейный скандал… Кнессет полон контрастов и противоречий, он высоколобый и низкопробный, умный и глупый, дружелюбный и угрожающий. Короче говоря, Кнессет подходит израильтянам, а мы, израильтяне, подходим Кнессету.

7 июня 1991 года я впервые в своей жизни поднялся на трибуну Кнессета и был приведен к присяге как член парламента еврейского государства. Я, конечно, думал об отце, но также заметил, что с внутренней стороны трибуны, скрытой от телекамер, пластиковое покрытие начало отслаиваться.

После присяги друзья поздравляли меня, а депутаты-ортодоксы игнорировали. На следующий день перед моим первым выступлением я увидел, как они сбегаются на заседание.

– Они собираются демонстративно выйти, как только ты поднимешься на трибуну, – шепнул мне Пораз.

Я вспомнил, что накануне, когда мы пели гимн, камеры показали их лица и все увидели, что они не поют. Когда я поднялся на трибуну, они встали и все как один направились к выходу. «Я так понимаю, – сказал я с иронией, – что ультраортодоксальные коллеги убегают, поскольку боятся, что я начну петь “Ха-Тикву”».

Оставшиеся депутаты расхохотались.

Бойкот мне не особенно мешал. Несмотря на все мои разногласия с ультраортодоксами, я по-прежнему считаю, что они в тысячу раз лучше своих представителей в парламенте. Среди них встречаются умные, интеллигентные люди, вроде бывшего лидера ШАС Арье Дери, но большинство – крикливые проходимцы без Бога в душе и сердце. Кроме того, я решил, что жизнь возьмет свое, и они привыкнут ко мне.

– Проблема с тобой, Томи, – сказал мне один из них со злостью, смешанной с удивлением, – в том, что ты постоянно выступаешь против евреев, хотя ты сам – самый что ни на есть еврейский еврей.

Я ответил ему, что это так, но тут нет никакого противоречия. И на том же заседании вместе с одним из ультраортодоксальных коллег вынес на обсуждение законопроект, запрещающий попытки обращать в другую религию несовершеннолетних.

Изменения в моей жизни, как вскоре выяснилось, оказались не столь уж радикальными. Я занимался теми же политическими проблемами, что и в бытность свою публицистом, встречался с теми же журналистами и политиками, выступал на радио и телевидении. Меня приглашали на те же приемы, я лицезрел те же физиономии на тех же коктейлях. Не особенно изменились и коридоры Кнессета, знакомые мне еще с шестидесятых, когда я был парламентским корреспондентом. И сухой шницель в парламентском буфете был тем же, который я вернул официантке тридцать лет назад.

Однако у меня появилось достаточно времени, чтобы заниматься проблемой шницеля, с тех пор как новый премьер-министр Эхуд Барак нарушил обещание, данное избирателям, и предпочел коалицию с ультраортодоксами.

Хотя я и должен был предвидеть это, но в первые дни был потрясен и разочарован.

Разве для того я оставил журналистику, чтобы с задних рядов наблюдать, как ШАС захватывает власть в стране? Многие говорили мне, что мы должны были войти в коалицию (Барак немало докучал нам по этому поводу), а я всем объяснял, что обещал избирателям не входить в правительство с ортодоксами, и имею обыкновение выполнять обещания. В большинстве случаев это вызывало удивление. «Бедный Томи, – говорили их взгляды, – он и правда ничего не понимает в политике».

В субботу вечером после выборов, ближе к полуночи, я говорил с Бараком по телефону.

– Эхуд, – сказал я ему, – не пройдет и года, как ты погрязнешь в скандалах, которые они тебе обеспечат, и проклянешь тот день, когда позвал их в правительство.

На самом деле потребовалось гораздо меньше года.

В сентябре «Яхадут ха-Тора» вышла из правительства из-за того, что Электрическая компания перевозила турбины в Шаббат.

С моей точки зрения, это абсурд, но я отнесся к этому их шагу с уважением: они ушли из морального принципа. У ШАС же все было иначе: их интересовало только одно – сколько денег

может перекочевать в их казну. Например, в декабре, когда президент Клинтон заявил, что Хафез Асад заинтересован в возобновлении переговоров с Израилем, Эли Ишай поспешил заявить, что поддержка соглашения со стороны ШАС зависит от поддержки правительством учебных заведений их партии. Было что-то новое в циничной откровенности партийного лидера, заявляющего, что судьба Голанских высот и тысяч населяющих их людей, с его точки зрения, зависит от размера вымогаемой им взятки.

Со временем я все больше наслаждался представившейся мне возможностью издеваться над ними. Схема была неизменной: Эхуд Барак предпринимал политический маневр, который не приносил никаких результатов. Эли Ишай просил за поддержку денег, а я разносил их в средствах массовой информации. После перевода первых пятнадцати миллионов шекелей учреждениям ШАС мы наняли частного детектива и послали его проверить всех получателей. Детектив вернулся с толстой пачкой фотографий. В тот же вечер мы представили на телевидении еврейскую религиозную начальную школу, которую страна субсидировала с расточительной щедростью, расположенную в Ашдоде на улице Царя Иеровоама, 19. Но – вот незадача – улица Иеровоама заканчивается домом 17, а на месте девятнадцатого – открытое поле, на котором овцы пощипывают проросшие сорняки!

Как и все израильтяне, я часто не мог понять Барака. Новоиспеченный премьер был все время озабочен, трудился в поте лица, без конца бросался от одного дела к другому, работал без устали, но при этом его никто не понимал, кроме него самого.

На время весенних парламентских каникул мы с Шулой поехали в наш любимый отель в Швейцарии – пасторальную жемчужину с красной крышей, среди заснеженных гор, с пожилым пианистом в белом смокинге, игравшим во время ужина «Голубой Дунай» Штрауса… Через три дня после нашего приезда мне позвонил взволнованный пресс-секретарь:

– Барак объявил, что возвращается к «гражданской повестке дня». Он просит тебя немедленно вернуться, чтобы собрать светское правительство.

Я положил трубку и сказал Шуле:

– Отпуск закончился.

Тем же вечером мы улетели домой. Не успели мы распаковать чемоданы, как нам сообщили из канцелярии премьер-министра, что все отменяется. Почему? Нет ответа. Встретив его через пару дней, я пожаловался на непоследовательность, поспешные действия и рассказал ему о потерянном отпуске. Он посмотрел на меня непроницаемым взглядом, не извинился и не потрудился

объяснить.

Справедливости ради стоит отметить, что в моей памяти есть и более приятные воспоминания, связанные с Бараком. В январе 2000 года он взял меня с собой на конференцию, посвященную памяти жертв Катастрофы, организованную правительством Швеции в Стокгольме. Мы остановились в «Гранде» – самом красивом отеле города, который превратился на время конференции в военный объект, оцепленный со всех сторон. Я воспользовался тем, что не принадлежал к свите премьера, и отправился гулять в одиночестве по холодной, сверкающей снежинками европейской столице. Я пришел в конференц-зал раньше всех и прошелся по выставке фотографий шведских дипломатов, помогавших спасению евреев во время Катастрофы. Я, конечно же, искал Валленберга и, когда нашел, был в шоке, ибо под фотографией находилось следующее свидетельство одного из выживших: «Они пришли и собрали всех женщин помоложе, тех, которые еще могли идти. Нам дали всего несколько минут, чтобы попрощаться, мама обняла меня, поцеловала и ушла. Я остался один. Но к вечеру мама неожиданно вернулась и сказала: “Нас спас Валленберг”».

Это была моя история, рассказанная мною неоднократно в газетах и на радио, и даже в одной из моих книг. Но под текстом стояло имя «Йони Мозер». Я по сей день не знаю, кто это и довелось ли ему пережить то же, что мне, или это просто какая-то странная шутка.

Через неделю после возвращения из Стокгольма я впервые встретился с Ясером Арафатом.

Если бы год назад мне кто-нибудь сказал, что я стану гостем этого убийцы в его штабе в Рамалле и после часовой беседы он поведет меня за руку (двумя пальцами схватив за мизинец) к длинному столу, полному восточных лакомств, я бы ответил, что это бред. На самом деле во время встречи были моменты, когда я не был уверен, что сам не страдаю галлюцинациями.

В назначенный день я сидел в машине на контрольно-пропускном пункте в Рамалле, откуда полицейский на велосипеде сопровождал нас в штаб Арафата, не считаясь с красными сигналами светофоров. Я с любопытством смотрел в окно автомобиля и видел бурлящий город, в котором большинство зданий выглядело новыми, но где, однако, продолжал сохраняться левантийский дух.

Арафат ждал нас в своем штабе, в здании, которое до него успело послужить английской, иорданской и израильской армии. Принял он нас в гостиной, обставленной со сдержанной

элегантностью, в присутствии полудюжины незнакомых мне людей из своей свиты, в основном телохранителей. Мы обменялись подарками: я преподнес ему копию статуэтки филистимлянки, которую моя секретарша купила в Музее Израиля, а он вручил мне большую перламутровую шкатулку для украшений. «Ты должен заполнить ее драгоценностями для своей жены», – сказал он, и мы оба засмеялись. Уверен, что Арафат повторял эту шутку каждому гостю.

Он усадил меня в кресло слева от себя, а я представил ему моих спутников и сказал, что мы пришли, чтобы услышать палестинскую позицию из первых рук и предупредить его, что любой теракт ХАМАСа или «Исламского джихада» способен сорвать мирный процесс. Арафат ответил, что обе стороны должны быть заинтересованы в успехе переговоров и должны действовать в соответствии с принципом взаимного уважения.

– Если Барак генерал, я тоже генерал, – подчеркнул он.

Арафат был в военной форме, небрит и с куфией на голове – как всегда. Его маленькие круглые ладони были намного более светлыми, чем лицо. Несмотря на то что его губы дрожали, он производил впечатление человека, владеющего ситуацией, и безошибочно оперировал именами и деталями.

– Я открыл партнеру Рабину двери в Китай, Индонезию, Индию, Сенегал и арабский мир, – сказал он.

– Но Рабин открыл тебе дверь в Белый дом, – парировал я.

– Да, – ответил Арафат, – но я открыл Рабину гораздо больше дверей.

– Правильно, – упорствовал я, – но он открыл тебе самую большую из всех.

Его английский был невнятным и неправильным, но Арафату его хватало. Он горько жаловался на разные ущемления в правах, но в его речи время от времени проскальзывал и юмор. Когда я спросил, почему он не дает свободы палестинским СМИ, Арафат ответил, что я ошибаюсь.

– Они полностью свободны, – сказал он, – поэтому они могут все время врать.

После почти часовой беседы он взял меня за руку и повел по длинному коридору мимо бесконечных охранников в большую столовую, где нас ждал красиво сервированный стол, уставленный множеством блюд: гороховый суп, рис, курица на гриле, морской окунь, кефаль, разнообразные салаты, креветки.

– Здесь знают, что вы не соблюдаете кашрут, – сказали мне.

Арафат пальцами взял с блюда одну кеббе и положил мне на тарелку: «Попробуй».

К нам присоединились высокопоставленные военные, глава

кабинета, руководитель информационной службы, глава 17-го подразделения, охранявшего Арафата, и глава палестинских служб безопасности Джибриль Раджуб. Он рассказал нам пикантную историю: оказывается, брат бывшего главы ШАС Арье Дери выиграл в казино в Иерихоне шестьдесят пять тысяч долларов!

Арафату подавали еду на отдельных тарелках – видимо, из соображений безопасности. У него был прекрасный аппетит – он съел больше меня.

Глава 52

16 февраля 2000 года в Кнессете выступил президент Германии Йоханнес Рау. Свою речь он произнес, конечно же, на немецком.

Я сидел в парламенте Израиля, под израильским флагом и смотрел на напряженного Рау и на его адъютанта в немецкой военной форме. А все вокруг украдкой поглядывали на меня. Я был единственным из присутствовавших, кто прошел через гетто (раввин Друкман прятался в погребе в доме своего дяди). Они спрашивали себя, как я отреагирую на речь Рау. Перед ним выступал спикер Кнессета Авраам Бург. Он отметил, что немецкий язык – не только язык Гитлера, Гиммлера и Эйхмана, но и язык Гейне, Гете и Шиллера. Он забыл упомянуть, что Теодор Герцль, чей портрет висел у него за спиной, написал «Еврейское государство» на немецком.

Я прислушался к себе во время выступления Рау. Его речь не взволновала и не потрясла меня, но заставила задуматься. Вот я сижу здесь, через пятьдесят пять лет после Катастрофы, и слушаю президента Германии, его немецкую речь. Она звучит не грубо, как у офицеров СС, возле которых я сидел на железнодорожной станции Нови-Сада, а мягко и мелодично, почти как извинение. Я думал об отце: что он сказал бы об этом? Его останки покоятся в земле Маутхаузена, а я нахожусь в Иерусалиме и могу кричать, протестовать, наслаждаться чувством победы. Надеюсь, отец простил меня.

Я ощущал себя старым. Не взрослым, не пожилым, не преклонного возраста – так называют себя те, кто боится стареть и этими эвфемизмами маскируют горькую правду. Я перестал бояться в 1945-м. Мои морщины – это тропы и дороги, по которым я шел по жизни к тому, где оказался, чего достиг. Я не хочу сравнивать себя с молодыми людьми. Лишь с тем юношей, которым я был когда-то. Сегодня я умнее, чем прежде, пишу лучше, знаю себе цену, ни от кого не завишу и ничего не жду. Все это наделяет меня огромной силой.

Мои помощники – пресс-секретарь, парламентский референт, водитель – моложе моих детей. Иногда я задумываюсь о том, как они воспринимают эту разницу. Рассказывают ли обо мне домашним? Воспринимают меня как антикварную мебель? Втайне смеются над моими привычками? Однажды я встретил Ариэля Шарона в буфете, и мы долго разговаривали. Как это водится у старых людей, все ему напоминало какой-нибудь анекдот из прошлого. Неужели и я веду себя так же? Может, мне надо было

остановиться?

24 мая 2000 года израильская армия вышла из Ливана. Поспешный вывод войск, на месяц раньше намеченного срока, был единственным достижением, которым Эхуд Барак мог гордиться за все время своего пребывания на посту премьера. Но он не успел насладиться им, поскольку в июне в результате его визита в Кемп-Дэвид распалась правящая коалиция. При этом партия «Шинуй», вытолкнутая Бараком в оппозицию, отказалась голосовать против него. Иначе правительство ушло бы в отставку, а поездка Барака не состоялась бы. Я не хотел развалить правительство Израиля за то, что оно пыталось спасти мирный процесс.

В Кемп-Дэвиде Барак предложил палестинцам больше, чем любой из его предшественников, но вернулся оттуда ни с чем. Его объяснения, что он «открыл истинное лицо Арафата», никого не убедили. В сентябре началась вторая интифада. Дружелюбный старик, собственноручно кормивший меня киббе, снова вовлек свой народ в пляску крови и ненависти. В октябре начались беспорядки среди израильских арабов. Полиция отреагировала жестко – погибли тринадцать протестующих. Барак потерял даже поддержку арабских партий.

Через несколько дней я собрал штаб «Шинуй» и сказал, что надо готовиться к следующим выборам.

– Когда они состоятся? – спросил кто-то.

– Через год, – ответил я.

Собственно говоря, в отличие от других партий, мы никогда и не прекращали нашу кампанию. Продолжали раз в неделю встречаться с имиджмейкерами, планировать стратегию. Мы размещали рекламу в газетах и издавали стотысячным тиражом собственную газету «Шинуй», которую я редактировал. Было ясно, что на следующих выборах темы ортодоксов нам будет недостаточно, и я стал разъезжать по отделениям и говорить о «возвращении к нашей израильской сущности».

Я говорил, что левые сбились с пути по той причине, что смешали сионизм с социализмом; сионизм потускнел, а социализм обанкротился. Правые тоже утратили направление, так как связали свое будущее с мечтой о Великом Израиле, которая неосуществима. Религиозные сионисты потерялись потому, что часть из них превратилась в ультранационалистов, в то время как другая стала ультраортодоксальной. Образованная светская молодежь переняла космополитичное, анархическое мировоззрение «просвещенного эгоизма», утрачивая связь с

государством, в котором живет. В результате в израильском национальном самосознании образовался вакуум. Нашей задачей должно стать его заполнение.

«Мы должны вернуться к нашим основным ценностям, – говорил я, стоя на скамейке с микрофоном в руке. – Израиль должен быть государством, в котором есть место просвещенному человеку умеренных взглядов, патриоту и хорошему еврею. Мы должны быть израильтянами и без обращения к национализму или ультраортодоксизму, социализму или сектантству, и без того, чтобы отрекаться от своей израильской сущности в пользу "гражданства всего мира"».

Идею восприняли. Опросы показали, что «Шинуй» на правильном пути. Циники, говорившие, что я ничего не понимаю в политике, ошиблись: в этом свихнувшемся мире люди сумели оценить партию, лидер которой твердо придерживается своих принципов и способен четко их сформулировать.

В декабре Барак объявил об отставке, и после особых выборов (только на пост премьер-министра, а не в Кнессет) главой правительства стал Ариэль Шарон. Я был рад этому назначению. Шарон был моим другом, а кроме того, я полагал, что прославленное самообладание даже в моменты кризиса и колоссальный опыт уберегут его от ошибок, сделанных двумя более молодыми предшественниками.

Сразу же после выборов он пригласил меня к себе и полтора часа уговаривал войти в состав правительства ввиду чрезвычайного положения. Но я отказался.

– И находясь в оппозиции, я поддержу любые меры по безопасности, которые ты введешь, – сказал я ему. – Но я не войду в правительство с ультраортодоксами. В то время, когда идет дополнительный призыв тысяч израильтян, для меня немыслимо сидеть в правительстве рядом с людьми, которые не хотят отправлять своих детей в израильскую армию.

Шарон был огорчен, но проявил понимание. Кроме того, он и без нас создал самое большое правительство в истории страны – плотникам Кнессета пришлось потрудиться, расширяя старый стол в зале заседаний, чтобы за ним могли разместиться 26 министров и 15 их заместителей.

В одном вопросе у нас с Шароном было полное единодушие: раз уж мы не будем сидеть вместе на заседаниях правительства, следует возобновить наши знаменитые ужины на его ферме.

– А как же наша диета? – простонал я однажды после того, как Инбаль, его невестка, наполнила мою тарелку в четвертый раз. Шарон фыркнул.

«Самой успешной была у меня диета, – рассказал он, – прямо перед Войной Судного дня. Два месяца я ем только листья салата. Однажды раздается телефонный звонок, и мне сообщают, что египтяне атаковали на Синае. Я говорю: “Дайте мне полчаса”, иду к холодильнику, достаю и съедаю все, что в нем было, и ухожу на войну».

В декабре мне исполнилось семьдесят.

В день рождения мы отправились ужинать с Кишонами – две пары, которые объединяла старинная дружба (мы с Эфраимом дружили сорок восемь лет, а наши жены – более сорока). Два дня спустя семья устроила мне празднование юбилея с семьюдесятью пятью приглашенными. Эфраим произнес одну из самых смешных речей, которые я когда-либо слышал.

– Между мной и Томи, – сказал он, – есть отношения любви и ревности: он любит меня, а я ревную его оттого, что ему есть кого любить.

Шула тоже говорила. Моя маленькая, хрупкая, болезненно застенчивая Шула, всю жизнь избегавшая публичных выступлений, встала перед собравшимися, как человек, который готовился к этому моменту всю жизнь. Я привожу здесь ее слова не потому, что она хорошо говорила обо мне, а потому что они гораздо больше говорят о ней самой:

– Недобрые люди говорят о Томи, что он толстый. Но это оптический обман. Ему просто требуется больше места, чем другим людям, чтобы уместить столько чувств, столько любви: к своей жене, к своим детям, друзьям, израильскому народу, уровню воды в Кинерете, салями «Херц», балладам Франсуа Вийона и песням Риты, Моцарту, Бетховену и Бен-Гуриону, к венгерской кухне и еврейскому государству.

В нашей семье ты всегда был и всегда будешь Путеводитель Лапид. Ты – наш капитан, наш якорь, наш штурвал и наш компас. Ты ветер в паруса и карта звездного неба. Спокойно ли море или штормит, идет ли все по плану или вопреки ему – ты уверенно ведешь наш корабль.

Море – оно необъятное, опасное, искушающее, дающее пищу, развлекающее, успокаивающее. Таков и ты. В моей сорокатрехлетней жизни с тобой не было ни одного скучного дня. К сожалению.

Я, конечно, плакал, как всегда, и смеялся, и обнимал всех, и подумал, что в итоге жизнь – это любовь: люди, которых ты любишь, и люди, которые любят тебя.

Зазвучали песни, а я стоял в стороне и смотрел на свою семью. В одном конце зала Мерав прислонилась к плечу своего супруга Дани, человека по-настоящему культурного, умного и благородного, который сделал ее жизнь счастливой. Рядом с ними две дочери: трехлетняя Но́га, для которой весь мир – площадка для игр, и шестимесячная Нета, рыжая и круглощекая, дремлющая в переносном кресле-кроватке. Из всех детей моих детей она больше всех похожа на меня, но, в отличие от своего деда, она еще и красивая.

Яир и Лихи были в другом конце зала. Мой сын-бунтарь стал за прошедшие годы не менее известен, чем его отец. Его последний триллер «Шестая загадка» на прошлой неделе возглавил список бестселлеров, в котором до недавнего времени находилась первая книга Лихи «Секреты, которые я хранила». Пытаюсь сообразить, встречались ли мне еще супруги, у которых почти одновременно выходили бы бестселлеры, и мне в голову приходит только один пример – Шула и я.

И все же, когда я смотрю на Яира, мое сердце сжимается. К этому молодому человеку весь мир относится как к «золотому мальчику», которому все достается легко, а он тихо и стойко справляется с трагедией, которая будет сопровождать его всегда. Его сыновья Йоав и Лиор талантливы и успешны, а пятилетняя дочь Яэль страдает аутизмом. Она не говорит, оторвана от мира и реагирует только на определенные фразы. Эта нежная, очень красивая и живая маленькая фея будет нуждаться в заботе и защите на протяжении всей жизни. Интенсивные усилия по уходу за Яэль, для которых требуется армия помощников, отнимают у Яира и Лихи много сил и средств. Но Яир никогда не жалуется. «Ты счастлив?» – спросил я его недавно. Он, казалось, удивился этому моему вопросу. «Конечно, – сказал он. – Очень».

Способность быть счастливым не связана с обстоятельствами нашей жизни. Я знаю людей, которым не пришлось бежать от Катастрофы или пережить смерть дочери в автомобильной аварии, но они были гораздо менее счастливы, чем я. В мире издаются тысячи книг, авторы которых делятся «секретами счастья», но приносят счастье эти книги, как правило, только издателям. Счастье, на мой взгляд, – это черта характера. Так же, как есть люди, умеющие рисовать, и люди с музыкальным талантом, есть люди, у которых дар – быть счастливыми.

Я был счастлив в тот день, хотя и скучал по Михаль. Пелена печали накрыла меня, потому что ее не было с нами. Если бы она была жива, то была бы рада этому торжеству и все, конечно, кружились бы вокруг нее, как бабочки вокруг цветка. Но нет связи между тем и другим. Противоположность счастью – не печаль, а

одиночество. А я не был одинок.

Пока я был счастлив в личной жизни, жизнь государства (надеюсь, я не буду похож на Людовика XIV, если скажу, что государство – это для меня очень личное) ввергала меня в грусть и отчаяние. Не потому, что что-то изменилось, а как раз наоборот – оттого, что не менялось ничего.

На Песах мы поехали отдохнуть на север страны вместе с Ольмертами и еще одной парой. Мы отлично проводили время, наслаждаясь древними видами и горным воздухом, чистым как вино, которое сопровождало наши беседы. Все ощущали надвигающуюся опасность второй интифады.

«Как же решить эту проблему?» – раз за разом спрашивали мы себя и понимали, что у нас – возможно, самых опытных в Израиле людей – нет ответа на этот вопрос.

Когда мы вернулись, я получил письмо по электронной почте от старой знакомой из Майами. Она предлагала нам приехать погостить у нее несколько недель, чтобы отвлечься от мыслей «об этой вашей войне». Письмо это меня глубоко расстроило. Оно напомнило мне те письма, которые американские евреи посылали в Европу перед Второй мировой. Еще я вспомнил телефонный звонок от родителей Шулы перед Шестидневной войной с предложением прислать детей, «чтобы спасти хотя бы их».

Был ли вообще хоть один год, когда такая просьба была бы неуместна? Арабские беспорядки 1929-го? Война за независимость в 1948-м? 1956-й? 1987-й? 2001-й? 2010-й? 2015-й? Почему нам суждено всегда возвращаться в Дженин, атаковать Газу, оплакивать смерть родных и друзей, погибших в терактах? Почему мы должны постоянно извиняться перед всем миром за гибель невинных людей во время операций, которые наша армия просто вынуждена проводить?

Пресловутая политкорректность мешает нам обсуждать тот факт, что самая большая наша проблема – ислам. Если бы речь шла только о национальных интересах палестинцев, мы бы уже давно с ними договорились. Бог и Аллах знают, что мы предлагали им больше, чем они когда-либо могли мечтать. Но на одного светского палестинца, заинтересованного в достижении соглашения, приходится два религиозных фанатика, жаждущих нашей смерти. Радикальный ислам объявил войну на уничтожение всем основным ценностям западного мира: свободе, демократии, равенству, науке, технологиям, феминизму, прогрессу.

Из пятидесяти семи исламских государств современного

мира ни одно не является демократическим. Во всех процветают диктаторские режимы, одни чуть более просвещенные, другие менее, пропитанные коррупцией, нищетой, ненавистью и – главное – завистью. Ислам дважды пытался покорить Европу: однажды, когда завоевал Испанию, и во второй раз, когда дошел до ворот Вены. Но оба раза потерпел неудачу.

«За последние семьсот лет, – писал когда-то профессор Михаэль Харсегор с присущей ему смелостью, – ислам не внес никакого существенного вклада в человеческую культуру, философию, науку, медицину – ничего, из чего слагается цивилизация, достойная называться таковой».

И хотя сотни миллионов мусульман по всему миру (и в Израиле) мирно живут, как все обычные граждане, люди, которые утверждают, что представляют их интересы, ведут невинных верующих во имя священной войны к катастрофе, какой, возможно, не знала еще история человечества.

Не ислам сам по себе является бедствием, а ислам радикальный, воинствующий, видящий выход только в полном разрушении западной цивилизации, которая напоминает ему о его крахе. Вопреки всем лицемерным отрицаниям мы являемся сегодня свидетелями войны религий, войны культур, войны двух цивилизаций.

– Если ситуация такова, как ты описываешь, – сказал Ольмерт, когда мы сидели на балконе во время отдыха, наслаждаясь прекрасным галилейским вином, – тогда тем более ты должен войти в правительство и помочь ему в этой войне.

– Ты не прав, – ответил я ему. – Я борюсь за то, чтобы мы оставались частью просвещенного западного мира, что невозможно с ультраортодоксальными партиями. Скоро будут выборы, мы получим десять мандатов, и политическая карта изменится.

– Вы не получите десять мандатов, – сказал Эхуд.

– Ты опять за свое? Непременно получим.

Мы оба ошибались.

Глава 53

В тот день, когда умерла мать Шулы, отец попросил ее наготовить еды для тех, кто будет приходить выразить соболезнования. Когда Шула стояла и готовила, в окно влетела птица и закружилась по кухне. Шула пыталась выгнать ее, но птица уселась на холодильник и уставилась на нее. «Ну и ладно, – сказала себе Шула, – какая мне разница?» И продолжила готовить. Через несколько минут птица улетела.

Полчаса спустя Шула позвонила отцу справиться о его самочувствии.

– Случилась странная вещь, – рассказала она ему, – птица влетела через окно, уселась на холодильник и стала смотреть на меня. А взгляд у нее был как у мамы.

– Как выглядела птица? – спросил мой тесть.

– Маленькая, черная, с голубоватым клювом.

– И с желтой грудкой? – спросил он.

– Да, – удивилась Шула, – откуда ты знаешь?

– Потому что сейчас она сидит на моем холодильнике.

* * *

Религиозные люди верят не в совпадения, а в Провидение. Нерелигиозные знают, что самые невероятные вещи иногда случаются, но Бог не имеет к ним никакого отношения. Если бы я был человеком религиозным, я бы спросил себя зимой 2002 года, почему все элементы пазла сложились сами собой и как так вышло, что все совпадения и события сработали в пользу самой светской партии в стране.

Решение о проведении новых выборов стало для общества полной неожиданностью, несмотря на то что парламентом пятнадцатого созыва трудно было гордиться: за время его существования сложили полномочия девятнадцать депутатов (рекордное количество), пришли и ушли два премьера, распалось несколько партий, две экономические реформы были громко объявлены, а затем тихо забыты.

Я любил избирательные кампании с самого начала своей политической карьеры.

Предвыборная кампания отличается напряженным, плотным графиком, необходимостью принимать десятки быстрых решений ежедневно, при стремительно меняющихся обстоятельствах. Это

те моменты, в которые, как говорят, «видно, кто мужчина, а кто мальчик».

Это американские горки, когда все попадают в рабскую зависимость от результатов опросов, появляющихся каждое утро. Если замечено снижение популярности, тут же поднимается крик о необходимости изменить стратегию, переделать рекламу, уволить к чертям копирайтера или, что предпочтительно, сменить лидера партии. Если результаты опросов хорошие, все становятся боязливыми и осторожными, ходят на цыпочках и приговаривают: «Теперь самое главное – не наделать ошибок» (что само по себе является самой большой ошибкой во время предвыборной кампании). Нужно научиться игнорировать и оптимистов, и предсказателей неминуемого краха, оставаться сосредоточенным на своей цели, проявляя при этом гибкость в необходимых случаях.

А еще надо быть быстрым. Как говорил Яши Эйлат, один из двух наших рекламистов: «Политическая агитация должна быть актуальной. Это реклама кока-колы может быть одной и той же и полгода назад, и полгода спустя. Мы же должны реагировать на события дня и даже события часа».

Мы так и действовали. Через двадцать четыре часа после сообщения о проведении выборов, пока другие партии еще назначали руководителей штабов и решали, откуда брать деньги, мы уже разместили по всей стране рекламные щиты и заполнили газетные полосы своим лозунгом. Когда наши конкуренты пришли в себя, то обнаружили, что мы заполучили все лучшие места для размещения наружной рекламы.

По сути, первые две недели мы участвовали в предвыборной кампании практически в одиночку и совершили большой рывок в результатах опросов – от шести до восьми, а затем и до одиннадцати мандатов.

Скорость нашего реагирования на события объяснялась в том числе тем, что мы, задолго до Барака Обамы, были одними из первых, широко использовавших интернет. Годом раньше партнер Яши, Алекс Белецкий, объясняя мне эффективность и преимущества интернета, говорил медленно и внятно, будто имел дело с музейным экспонатом, который все еще пользуется гусиным пером. Он был очень удивлен, когда понял, что этот весь седой лидер партии был одним из первых людей в стране, подключившихся к интернету, и эффективно пользовался им задолго до самого Алекса.

То, что поначалу казалось пустыми претензиями маленькой амбициозной партии, все большее число людей начинало воспринимать как реалистичный сценарий событий. Журнал

«Ньюсуик» в своем комментарии к большому интервью со мной заявил, что «Шинуй» может получить столько голосов, что «Томи Лапид станет “делателем королей” в израильской политике». Я разослал эту статью всем, с кем был знаком, и даже некоторым, с кем не был. «Мы уже не маленькая партия, – повторял я своим однопартийцам снова и снова. – Мы большая партия, которая стремится во власть. Именно так мы и должны вести себя».

Несколько дней спустя мы проводили фокус-группы. За столами сидели, слегка смущаясь, обычные люди, и отвечали на вопросы о своей жизни и своих предпочтениях. Я стоял за стеклом и смотрел на своих избирателей (точнее, на тех, кто, я надеялся, станет ими).

– Вы богатый или бедный? – спросила женщина-интервьюер, занося данные в анкету.

– Ни то ни другое, – ответил один из опрашиваемых. – Я средний класс.

Другой участник, сидящий напротив него, поднял голову.

– Точно, – сказал он удивленно, словно впервые об этом подумал. – Я тоже средний класс.

Тем вечером мы собрались у меня дома, в гостиной. После долгого обсуждения решили положить в основу своей кампании три принципа: борьба против ультраортодоксов, борьба с коррупцией, положение среднего класса.

Я сказал своим товарищам по партии, что среднему классу осточертело быть единственным, кто платит налоги; единственным, кто выполняет свой долг в качестве резервистов; единственным, кто соблюдает законы; единственным, кто держит всю страну на своих плечах, в то время как другие, пользуясь его молчанием, набивают себе кошельки и карманы.

В заключение я напомнил нашей команде слова Эммануэля Жозефа Сийеса в разгар Великой французской революции:

«Что такое третье сословие? – Все.

Чем оно было до сих пор? – Ничем!

Чего оно требует? – Стать чем-то!»

Ответом мне были только осоловевшие взгляды моих соратников – вероятно, по причине позднего часа.

Две недели спустя состоялись выборы. На этот раз я не пошел в телестудию, а остался дома, с семьей и друзьями. И смотрел – во второй раз в жизни, – как мое имя поднималось вверх в графиках. Поднималось, поднималось, пока не достигло цифры 15. Пятнадцать мандатов!

Все стали смеяться и ликовать, пока Шула не заметила, что я помрачнел.

– В чем дело, Томи? – спросила она.

Все замолчали и уставились на меня.

– Я вдруг почувствовал всю тяжесть ответственности, – сказал я им. – Это больше уже не игра. С пятнадцатью местами в парламенте я могу изменить страну.

Мерав сказала:

– Давай ты начнешь менять ее завтра. А сегодня мы празднуем.

Мы поехали в Дом журналистов, где устроили самую веселую вечеринку из всех, в которых я когда-либо участвовал.

– Это самый счастливый день в моей жизни! – крикнул я Поразу.

– Томи, – ответил он, – ты говорил то же самое в прошлый раз.

– Точно. И до сегодняшнего дня это было правдой.

Откуда-то возник незнакомый мне мужчина невысокого роста и бросился обнимать и целовать Яира. Яир опешил.

– Напомни мне, кто это, – шепотом спросил я Пораза.

– Это Игаль Ясинов, пятнадцатый номер нашего списка. Он только что узнал, что стал депутатом Кнессета.

Глава 54

Сразу после выборов Мерав вручила мне подарок – небольшую деревянную статуэтку «Три мудрые обезьяны»: «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Она была единственной вещью, которую я взял с собой в новый кабинет после назначения министром юстиции, и поставил на рабочем столе. Я видел ее каждый раз, когда поднимал взгляд от бумаг. Она всегда напоминала мне, что именно этого не должно случиться с системой правосудия, которую я возглавлял, – она не должна отводить взгляд, не должна затыкать уши и должна говорить за всех, кому не дают слова.

Нет, я не стал жалостливым социалистом или социал-революционером. Я остался толстым буржуа, которым был всегда, но то, что я сказал своей семье в ночь после выборов, оставалось в силе – это уже была не игра. Будучи заместителем премьер-министра и членом кабинета безопасности, я ощущал громадную ответственность за судьбы миллионов людей и был полон решимости не разочаровать их.

Я знаю, что все мы являемся гражданами двух государств. Одно из них – успешный, сильный, современный Израиль, страна, за шестьдесят лет прошедшая путь от поставщика апельсинов до супердержавы хайтека. В которой у людей хорошая жизнь с поездками за границу, двумя машинами на семью и мобильным телефоном у каждого ребенка.

Но есть и другой Израиль. Находящийся в осаде, подвергающийся террору, распадающийся изнутри и испытывающий угрозы извне, нетерпеливый, нетерпимый, страдающий от безработицы и бедности (официально: двадцать процентов населения). Страна, которая стала для евреев не безопасным раем, а местом, где быть евреем небезопасно.

Это не случай со стаканом, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. И дело не в пессимизме или оптимизме. Тут и то и другое одновременно. Оно сидит глубоко в наших душах. Мы отождествляем себя с обеими странами, и эта шизофреническая ситуация сильно усложняет жизнь. Потому что ты никогда не знаешь, счастлив или несчастен, в безопасности или испуган, полон надежд или в отчаянии.

Этот феномен раздвоения личности многое объясняет о нашей неустановившейся частной и общественной жизни. Он объясняет резкие перепады настроения от восторга до глубокой депрессии, чрезмерную самоуверенность и крайнюю паранойю, смесь национальной гордости с мыслями уехать из страны,

готовность жертвовать собой и мелочный эгоизм. У каждого из нас одно удостоверение личности, но каждый мечется между двумя идентичностями.

Внезапно нарушился баланс между моими двумя идентичностями. Я уже не мог быть и самым громким в стране крикуном, и рассудительным интеллектуалом с устоявшимся взглядом на мир. Пришлось выбрать второй вариант и стать более сдержанным и осторожным.

Получалось это не всегда. Моя врожденная способность наживать себе врагов неумением сдержать свой язык давала себя знать. В один из вечеров после затянувшихся переговоров о создании коалиции я зашел с помощниками перекусить в известный иерусалимский ресторан «Сима». За одним из столов мы увидели депутата Кнессета (позднее ставшего министром финансов) Юваля Штайница, который ужинал в одиночестве.

– Почему бы вам не присоединиться ко мне? – великодушно предложил он.

– Юваль, – ответил я, – если ты наводишь скуку на самого себя, это не значит, что ты должен заставить скучать всех нас.

Все рассмеялись, но смех Штайница был не очень искренним.

* * *

Коалиционные переговоры – это пляски лжецов. Переговорщики встречаются среди ночи, врут друг другу, звонят из коридора своим соратникам по партии и говорят им полуправду, затем выходят к журналистам и снова врут.

Так это и происходило в течение целого месяца: организовывались утечки дезинформации; делались громкие заявления, за которыми ничего не стояло; политики клеветали друг на друга на публике, а на закрытых встречах пожимали друг другу руки – ну прямо иллюстрация к известному высказыванию британского политика Алана Кларка: «В политике не бывает настоящих друзей. Мы все – кружащие в воде акулы, только и ждущие появления первых капель крови».

В итоге был сформирован состав правительства, который мог предвидеть любой десятилетний ребенок сразу после оглашения результатов выборов: правоцентристская коалиция из шестидесяти шести депутатов, в которой «Шинуй», вторая по величине партия, приобретала реальную власть.

Я до сих пор спрашиваю себя, что было бы, если бы мы не стали устраивать эти пляски лжецов, а просто сказали бы людям

правду в первый же день, не пытаясь заработать еще пару очков. Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что никто никогда этого не попробовал.

Удивительно, но проблема, которая всегда вызывает самые большие разногласия, разрешилась очень легко. Представитель Шарона положил передо мной чистый лист бумаги и спросил:

– Какие портфели вы хотите?

Я написал: «Заместитель премьер-министра, министры: юстиции, внутренних дел, науки, инфраструктуры, охраны окружающей среды». Он внимательно посмотрел на список и сказал:

– Хорошо.

– Что хорошо? – спросил я.

– Хорошо, они ваши.

Поднялся из-за стола и вышел. Спустя время я узнал, что Шарон пытался отправить его ко мне еще раз – чтобы изменить договоренности, но представитель заявил, что подаст в отставку, если его обещание, данное мне, не утвердят.

27 февраля 2003 года меня привели к присяге в качестве министра и заместителя премьера. Похоже, я один обратил внимание на то, что ровно семьдесят лет назад в этот день нацисты сожгли Рейхстаг в Берлине. Мы склонны забывать, что они пришли к власти законным путем. Я спрашивал себя, что было бы, если бы в тридцатые годы в Германии был решительный и сильный министр юстиции, который не позволил бы им принять участие в выборах.

Глава 55

Вилли Брандт, бывший в семидесятые годы канцлером Германии, во время Второй мировой принимал активное участие в антифашистском подполье. За ним охотилось гестапо.

Годы спустя за чашкой кофе я спросил его, как ему удалось избежать ареста.

– Когда их кольцо вокруг меня стало сжиматься, – рассказал мне Брандт с легкой улыбкой, – я бежал в Норвегию. Но затем нацисты пришли и туда, и гестапо снова стало наступать мне на пятки. Я понимал, что мой арест – дело ближайших дней, и тогда у меня появилась оригинальная идея: я переоделся в форму норвежского солдата и проник в немецкий лагерь для военнопленных – единственное место во всей оккупированной Европе, где гестаповцам не пришло в голову искать меня. Так я и спасся.

Я вспомнил этот рассказ через много лет, сидя в новом кабинете и глядя на улицу сквозь пуленепробиваемое окно.

Министерство юстиции – единственное, расположенное в преимущественно арабском Восточном Иерусалиме, благодаря чему я и удостоился бронированного офиса и бронированного «вольво», который из-за своего веса – две тонны – ломался через день и с трудом одолевал подъем на пути из Тель-Авива в Иерусалим. Впервые в жизни я понял значение выражения «в плену успеха».

Моя главная проблема была в том, что нам, по сути дела, удалось достичь девяноста процентов из поставленных целей уже в день формирования правительства. До того все думали, что мой лозунг «Правительство без ортодоксов!» – пустой предвыборный ход. Ортодоксы входили в абсолютно все правительства начиная с самого первого, и никто не верил, что возможно не допустить их туда. Этот тектонический сдвиг имел важное общественное, экономическое, моральное значение, но он означал также – во многих смыслах – начало конца партии «Шинуй». Партии, осуществившие свое предназначение, обречены на исчезновение. Если мы достигли своих целей в первый день заседания правительства – куда же нам двигаться дальше?

Тем временем наши отношения с Шароном развивались. У нас с ним был своего рода союз толстяков. Он был последним человеком, напоминавшим мне отца, которого у меня забрали. Если бы это не было так грустно, я бы сам посмеялся над собой:

мне уже семьдесят три, у меня внуки, я почти на тридцать лет старше отца, который вышел из нашей спальни и больше не вернулся, но во мне все еще жива надежда, что он когда-нибудь появится на пороге.

Шарон, у которого было чрезвычайно острое чутье на людей, мгновенно распознал во мне это чувство и сразу принял меня как родного. Мы проводили вместе за накрытым столом долгие часы – сплетничали, обменивались шутками и анекдотами и, конечно же, вели серьезные разговоры о судьбе страны. Он был таким же толстым, как мой отец, таким же образованным, остроумным и полным человеческого тепла. Проблемой было то, что он не был моим отцом.

Шарон, как и я, был последним в своем роде. Я был последним из тех, кто помнил Холокост, а он был последним из поколения титанов, которые основали Израиль и отождествляли себя с ним настолько, что не видели разницы между собой и государством. Он полагал, почти бессознательно, что то, что хорошо для него, благо и для страны. Было что-то царственное в том, как он усаживался на своей ферме за большой стол, на котором стояло блюдо с целым барашком, фаршированным рисом, в окружении детей и внуков, помощников, почитателей и высокопоставленных чиновников в костюмах и галстуках, сидевших бок о бок с соседскими фермерами в рабочих комбинезонах, с мозолистыми руками.

За все годы нашего знакомства я ни разу не слышал, чтобы он кричал. Все проявления его пресловутого дурного характера сводились к ядовитым замечаниям и комментариям, часто потрясающе смешным. Более того, он был вежлив настолько, что иногда это казалось пародией. Всякий раз, когда к нему в кабинет входила женщина, он тут же вставал – непростая задача, если учесть, что для этого ему надо было отдвинуться вместе с креслом, положить руки на стол, сделав усилие, подняться и медленно, с одышкой, выпрямиться. Бедная женщина, как правило, была уже вся красная от неловкости и смущения оттого, что ради нее пришлось совершить столько усилий.

С другой стороны, Шарон был политиком без комплексов, никогда не брезговавшим мелкими кулуарными интригами. Именно из-за отождествления себя со страной он относился к окружающим как к фигурам на шахматной доске, которыми всегда можно пожертвовать ради высшей цели. Это относилось и к его сыну, Омри, к которому он отправил следователей, расследовавших скандал с фиктивными некоммерческими организациями. Если он мог послать своего сына «на линию огня», то не следовало ли мне предвидеть, что, невзирая на нашу

дружбу, он избавится от меня, как от старых лохмотьев, когда ему будет нужно.

Я не сержусь на него. Скорее всего, именно благодаря цинизму и отсутствию комплексов он и стал премьер-министром, в то время как я был лишь его заместителем.

Прошли месяцы, и я привык быть министром. Привык к окружающим меня телохранителям, к ненадежному служебному автомобилю, к тому официальному тону, с которым ко мне стали обращаться окружающие. Я старался не забывать, что пребывающий у власти склонен отдаляться от действительности. Завеса из почитателей, помощников и пресс-секретарей отделяет тебя от мира, и ты постоянно пытаешься заглянуть через нее, вспомнить, как ведут себя обычные люди.

Может пройти немало времени, прежде чем ты осознаешь масштаб своей работы.

Я был назначен членом кабинета безопасности, состоявшего всего из пяти человек, чья задача состояла в том, чтобы санкционировать особые, нестандартные, действия армии. В октябре 2003 года, сразу же после теракта в автобусе второго маршрута в Иерусалиме, Шарон собрал кабинет и сказал нам, что армия подготовила «список мишеней», который позволит быстро реагировать на любые теракты против Израиля. Министр иностранных дел Сильван Шалом заявил, что отказывается автоматически давать добро на акции, о содержании которых ему неизвестно.

– Невозможно, – сказал он, – чтобы офицеры и чиновники знали больше об этих операциях, чем министр правительства.

Я поддержал его, а Шарон кивнул, из чего я сделал вывод, что он согласен с нами.

Несколько дней спустя, ночью, мне позвонил военный атташе Шарона бригадный генерал Йоав Галант. «Мы собираемся атаковать базу “Исламского джихада” на территории Сирии», – сказал он. Я, естественно, предположил, что речь идет об акции, которая была согласована задолго до того, и, сказав «хорошо», положил трубку.

Через два дня после операции я прочитал в «Едиот ахронот», что среди членов кабинета было проведено голосование по телефону и что я проголосовал «за».

– Я не голосовал «за», – сказал я Галанту, – я только подтвердил, что принял к сведению.

– Но ты сказал «хорошо», – защищался Галант.

Я не стал с ним спорить, потому что, собственно, он был прав. Будучи семьдесят лет своей жизни обычным штатским гражданином, я инстинктивно предположил, что есть какая-то

высшая инстанция, которая одна только и может санкционировать тайные операции армии за пределами страны. Нужно было один раз ошибиться, чтобы понять, что эта инстанция, собственно говоря, – я.

В декабре 2003 года я выступил на конференции в Герцлии.

– Время работает против нас, – сказал я. – У Ирана скоро будет атомная бомба; палестинцы одерживают победу в «демографической войне»; Европу мы давно упустили, поскольку не смогли ответить на фотографии палестинских матерей с ранеными детьми на руках; влияние американского еврейства уменьшается. Так что поселения – это цена, которую мы уже не можем больше платить.

Несмотря на то что Израиль – образцовая демократическая страна, на деле ею руководит меньшинство – лидеры поселений Иудеи и Самарии, которые, в свою очередь, представляют меньшинство из среды поселенцев. Их решение демографической проблемы состоит в том, чтобы привезти в Израиль еще миллион еврейских иммигрантов. Только никто не знает, где их взять. В глубине души они мечтают о переселении палестинцев на противоположный берег реки Иордан – решение не только варварское, но и совершенно невозможное. А когда заканчиваются все аргументы, они уповают на Бога. Во всем, что касается существования Государства Израиль сейчас и в будущем, я не советую полагаться только на Господа.

Поселенцы, конечно, были вне себя от ярости. Представители правого крыла моей партии в смущении почесывали затылки, пытаясь понять, куда меня занесло. На самом деле мои взгляды не изменились, это страна изменилась. В своих долгих беседах с Шароном мы снова и снова обсуждали тот факт, что так продолжаться больше не может. Переговоры застряли, израильское общество застряло, весь мир застрял и наблюдает за нами, будто смотрит фильм ужасов, в котором кровь забрызгивает экран через каждые несколько сцен.

Разъединение – уход Израиля из Газы – началось в тех беседах с Шароном. Это была его идея. Я же сделал возможной ее реализацию. В недалеком будущем разъединение будет стоить мне политической карьеры.

Глава 56

Когда я использую слово, – сказал Шалтай-Болтай презрительно, – оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше».

Мы думаем, что слова – это просто слова, что они не так важны, как дела. Но это не так. Слова – это всё, без них не было бы ничего. Библия – это просто слова, Великая хартия вольностей – просто слова, как и «Капитал» Маркса, речи Черчилля и то, что произнес Бен-Гурион, провозглашая создание независимого еврейского государства. Слова изменили мир больше, чем бомбы, пушки и все вооружения вместе взятые.

Если мне будет позволено добавить свое имя где-то на полях этого славного списка, так только за то, что одно произнесенное мною предложение предотвратило разрушение тысяч домов в секторе Газа и человеческую трагедию, которая могла запятнать нашу страну навсегда.

Бытует мнение, что это был мой крик души, вырвавшийся, когда я уже больше не мог сдерживать себя. На самом деле я продумал и спланировал это, как Шалтай-Болтай, и даже знал заранее, какой будет реакция.

Май 2004 года выдался напряженным.

В начале месяца Шарон вынес свой план одностороннего разъединения на голосование членов партии «Ликуд», но, вопреки прогнозам, получил поддержку только сорока процентов голосов. Шарон был зол – особенно на своих помощников, пообещавших ему легкую победу, и сказал мне, что не намерен отступать. Он взял первоначальный план, сделал в нем несколько незначительных изменений и объявил, что выносит его на голосование в правительстве как «Новый план разъединения». Это был типичный маневр Шарона: он знал, что это обман, мы все знали, что это обман, но ему было все равно – у него была цель, а мнения всех остальных он считал незначительным препятствием, которое нужно убрать с дороги бульдозером.

Несколько дней спустя, 18 мая, в ход пошли другие бульдозеры. Израильская армия вошла в Рафиах в рамках операции «Радуга», и тяжелые Д-9 начали сносить дома местных жителей, чтобы расширить Филадельфийский коридор, буферную зону между Газой и Египтом, контролируемую Израилем. В тот вечер я пришел домой рано, включил телевизор и увидел, как старая слепая женщина, которую зовут Хадиджа, ползала среди развалин своего дома в поисках своих лекарств.

Я вспомнил бабушку Эрмину. Я не думал ни об армии, ни о

том, что всегда считал, что ничто нельзя сравнить с Катастрофой. Я думал только о том, что чувствовал бы, если бы эта женщина была моей бабушкой. Мне вспомнилась история с бомбежкой в Сирии. Почему же я, заместитель главы правительства, ничего не знал о намерении войти в Рафиах? Ведь я отвечаю за то, что происходит в этой стране. Я не могу снять с себя эту ношу – будучи министром, я разделяю ответственность за эту старушку на развалинах своего дома.

Я пришел на встречу с друзьями в кафе «Базель», охваченный волнением. Там сидели Ольмерт и Дан Маргалит. Пока охранники стояли на тротуаре, а любопытные прохожие смотрели, как мы пьем капучино, я рассказал друзьям о том, что видел по телевизору. Они покачали головами и сказали: «мерзко» и «это ужасно», что почему-то разозлило меня еще сильнее.

– Самое страшное, – сказал я им, – это когда злодеи творят злодеяния, а хорошие люди молчат. Молчание хороших людей – важная часть трагедии. Тот, кто молчит, несет ответственность за происходящее почти такую же, как совершающий злодейство.

Они молчали и смотрели на меня как на человека, который говорит банальности. Мое раздражение перерастало в ярость.

На следующий день на заседании правительства я взял слово.

– Вид старой женщины, ползающей на четвереньках в поисках лекарств, напомнил мне мою бабушку, – сказал я и откинулся в кресле, ожидая бурной реакции. Она не заставила себя ждать.

– Это слишком сильные слова, которые не следовало произносить, – сказал Шарон. – Они граничат с подстрекательством.

Даже министр обороны Шауль Мофаз, известный своей невозмутимостью, на этот раз вышел из себя.

– Такое высказывание в отношении армии Государства Израиль неприемлемо, – кричал он. – Я прошу тебя взять свои слова назад.

Я покачал головой, и тогда к перепалке присоединился министр здравоохранения Дани Навэ:

– Моих бабушку и дедушку с пятью детьми в Венгрии выгнали из дома, как и твою семью, и отправили в лагерь Биркенау. Любая аналогия с теми временами неуместна.

Однако, в отличие от них, у меня было двенадцать часов на то, чтобы подготовиться к схватке.

– Я не сравнивал Израиль с Германией и нацистами, – настаивал я, – а сказал, что нет оправдания страданиям, причиненным беспомощной старой женщине.

Как и следовало ожидать, все еще долго продолжали кричать и поносить меня (это была единственная часть заседания,

попавшая в средства массовой информации), но затем все успокоились и, как я и надеялся, состоялся серьезный разговор об операции в Рафиахе и ее гуманитарных поледствиях. Министры внезапно обнаружили (к своему ужасу), что армия без согласования с правительством запланировала снести в Рафиахе три тысячи домов. Медленно, но верно корабль изменил курс, и в конце заседания было принято решение остановить снос домов. Не только палестинцы, но и израильтяне оказались избавлены от зрелища сотен старушек, ползающих на коленях среди развалин, которое показали бы на экранах телевизоров всего мира.

Что же со мной случилось? Неужели я превратился в мягкосердечного левака? Конечно нет. Я был и остался патриотом Израиля, который смотрит на жизнь через призму еврейской судьбы. Именно поэтому меня все больше беспокоит характер и облик этой страны. Многие говорят «надо задать им жару», но не задумываются о том, сколько детей умрет и сколько слепых старух лишится дома. С таким подходом можно одержать победу в одном бою, в другом тоже. Но война неминуемо будет проиграна.

Израильское государство было создано не для того, чтобы мы приняли моральные стандарты радикального исламизма. Я не готов быть арабом, думать как арабы, стать таким же жестоким, как некоторые из них. В долгосрочной перспективе мы сможем выжить в борьбе с миллионами окружающих нас мусульман, только если будем нормальным западным государством, гуманным и свободным. В краткосрочной перспективе нам следует сдерживать иногда наше желание отвечать ударом на удар. Это болезненно, но необходимо.

Несколько дней спустя мне удалось лучше сформулировать эту идею – в письме, которое я вручил старшему внуку Йоаву, когда он уезжал на Марш жизни в Освенцим. Мы были очень близки и при любой возможности убегали – он из школы, а я от своих дел в правительстве, – чтобы вместе пообедать.

> *«Мой дорогой внук Йоав,*
>
> *Эту поездку ты не забудешь никогда. Когда ты увидишь рельсы, ведущие в ворота лагеря Биркенау, представь на минуту, как твоего прадедушку привезли туда в вагоне для скота, в котором везли семьдесят евреев в течение нескольких дней без еды и питья. Когда они приехали, и им наконец позволили выйти, они с облегчением вдохнули свежий воздух, не зная, что дым, поднимающийся из труб, – это все, что осталось от их близких, прибывших раньше.*

Государство Израиль призвано было стать ответом на Катастрофу, но, как это ни парадоксально, сегодня евреям в Израиле опасней, чем где-либо еще в мире. Наша задача состоит в том, чтобы Израиль продолжал существовать и чтобы евреи могли жить здесь в мире и безопасности. Пройдет немало лет, прежде чем мы добьемся этого, но любые усилия и жертвы на этом пути стоят того.

Вместе с тем нам следует воплощать в жизнь моральный императив, который сформулировали Кант и Гилель Старший, один по-немецки, а другой – на иврите, но почти одними и теми же словами: «не делай другим того, чего не желаешь себе». Прошу тебя, помни: негодяи не смогли бы сотворить Катастрофу, если бы не молчание хороших людей, которые считали, что их это не касается. Простые поляки, которых ты встретишь – это потомки тех, кто знал и молчал. Когда ты увидишь безмятежные деревушки в окрестностях Освенцима, знай: они были такими же безмятежными и в то время, когда в лагерях уничтожались миллионы людей.

С огромной любовью,

дедушка Томи».

Йоав отправился увидеть железную дорогу смерти, по которой везли моего отца, а я улетел в Вашингтон, чтобы выступить на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям. Американские евреи традиционно придерживаются более правых взглядов, чем израильтяне (хотя ситуация меняется), и я хотел убедить их поддержать план разъединения.

– Есть страны, где нет разногласия, – сказал я им, – но наше государство гордится тем, что его граждане имеют разные мнения, как и в вашей стране. Я считаю, что план Шарона – правильный, и моя партия поддерживает его.

К моему удивлению, аудитория разразилась аплодисментами.

– Оппозиция тоже его поддерживает, – продолжал я. – На самом деле единственная партия, которая не поддерживает Шарона – это его собственная партия.

После выступления я отправился ужинать с моим хорошим другом Томом Лантосом, председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Много лет назад, когда меня еще звали Томиславом Лампелем, а его Томиславом Лантошем, мы жили в Будапештском гетто и по

ночам добывали еду вместе с красивой девочкой по имени Анет, ставшей впоследствии его женой. В конце войны мы с ним сели на корабли, плывущие в разных направлениях. Он стал уважаемым конгрессменом от штата Калифорния, а я – министром в правительстве Израиля, но мы всегда ощущали, что наша жизнь своего рода вращающиеся двери: кто знает, как сложились бы наши судьбы, если бы я отплыл на его корабле, а он – на моем.

Годом ранее, когда меня назначили министром, Лантос попросил Конгресс, чтобы поздравлять меня от имени американской администрации отправили его. Он приехал в Иерусалим, пришел ко мне в кабинет в сопровождении журналистов и помощников. Я вышел из-за стола поприветствовать его. К удивлению всех присутствующих, Лантос встал на колени и, рыдая, поцеловал мои ботинки. «Ой, Томике, Томике, – бормотал он по-венгерски, – смотри, чего мы достигли».

После ужина мы гуляли, наслаждаясь беседой. Над нами возвышалось величественное здание Конгресса. Я снова думал о силе слов. Америка, как и Израиль, не просто место, а прежде всего идея. Америка была создана благодаря мыслям и идеям выдающихся людей, которые умели выразить словами, сформулировать, как создать государство и ради чего.

Вернувшись в Израиль, я оказался посреди полнейшей политической неразберихи. Шарон вынес «доработанный» план разъединения на голосование в правительстве и столкнулся с почти открытым бунтом ряда министров. Я сидел на том заседании рядом с Биби Нетаньяху, и, когда смотрел на него, у меня сжималось сердце. Противники разъединения ожидали, что он возглавит их, а он колебался, причем вполне искренне. В отличие от многих людей я считаю, что Биби – порядочный человек, для которого благо страны важнее всего. Не он один не знал в тот момент, пойдет разъединение на благо стране или во вред ей.

Чтобы облегчить ему жизнь, был предложен нелепый компромиссный законопроект, согласно которому мы уходили из сектора Газа, но который не содержал формулировки «эвакуация поселений». Как будто такое возможно – мы покидаем территорию, а поселения остаются висеть в воздухе. Шарон усмехнулся, я тоже, но предложение прошло, и Биби за него проголосовал.

* * *

Вскоре я заметил, что отношение Шарона ко мне меняется. Он был, как прежде, дружелюбен и приветлив, но держался теперь несколько отстраненно.

В конце ноября 2004 года Шарон вызвал меня к себе и сообщил, что увеличивает ассигнования для «Яхадут ха-Тора» на двести девяносто миллионов шекелей.

– Ты не можешь этого сделать, – сказал я, – ты знаешь, что тогда мы выйдем из правительства.

– Томи, – сказал Шарон, – план разъединения рухнет по твоей вине.

Но на этот раз я решил не сдаваться.

– Нет, Арик, – сказал я, – это будет твоя вина.

Он несколько секунд помолчал, а затем сказал:

– Судьба страны сейчас зависит от тебя.

Мы снова замолчали. Авторучка секретаря правительства Исраэля Маймона, который вел протокол встречи, застыла в воздухе. Я решил испробовать другую тактику.

– Самое время создать правительство трех старцев: Шарон, Перес, Лапид, – сказал я.

Шарон улыбнулся.

– Ты знаешь, что моя партия к этому не готова.

Я вышел от него, понимая, что все кончено. Собрал министров от партии «Шинуй» и сообщил им, что мы голосуем против бюджета. Этот шаг означал выход из правительства. Виктор Браиловский, которого назначили министром науки всего два дня назад, заметил:

– По крайней мере, я буду единственным министром в истории Израиля, который не совершил ни одной ошибки.

Я рассмеялся, впервые за всю эту неделю.

На следующий день мы проголосовали против, а 1 декабря 2004 года Шарон прислал мне письмо из одной строчки: «Настоящим извещаю о прекращении ваших полномочий в качестве министра юстиции».

– Факел догорел, – насмешливо сказал раввин Овадия Йосеф в своем еженедельном выступлении, недвусмысленно намекая на мою фамилию. Разнообразия ради на этот раз я согласился с ним.

Глава 57

Эфраим умер.

– Он сидел со мной в гостиной, был в хорошем настроении, – сказала мне Лиса, его молодая жена, – я его спросила о чем-то, а он не ответил. Я посмотрела на него и поняла, что он умер.

Даже для юмористов смерть – серьезная штука.

Более пятидесяти лет Эфраим Кишон был моим лучшим другом. За пятьдесят лет мы обменялись миллионами слов на иврите и венгерском. Пятьдесят лет мы тревожились за судьбу страны; в течение пятидесяти лет я видел, как он доставал из нагрудного кармана листок бумаги, на котором записывал все удачные мысли, приходившие ему в голову; пятьдесят лет он смешил и злил меня. Без него у меня не было бы моей первой квартиры и моей первой работы в «Маариве». А возможно, если бы он не пошел со мной тогда в раввинат, у меня не было бы моей первой и последней жены.

В день моего семидесятилетия он сказал мне: «Томике, не важно, как ты себя чувствуешь, – важно, чувствуешь ли ты себя стариком».

Он умер восьмидесятилетним. Я пишу «он умер» и плачу. Плачу о нем, о себе и о нашем поколении, приехавшем в Израиль, эту неведомую землю, спасаясь от Катастрофы. Плачу о худощавом юноше, выучившем наизусть словарь иврита, – а сегодня невозможно составить словарь иврита без его выражений. Равно как невозможно говорить об израильском юморе, не начав с него. С миллионов книг на десятках языков, множества фильмов и пьес.

Как все великие комики, он был печальным человеком. Потому что у него не было иллюзий. И он был счастливым человеком, потому что знал, что второго такого не было и нет. Много ли людей, о которых можно сказать такое после их смерти? Или до нее?

2005 год не предвещал ничего хорошего.

Незадолго до Нового года я освободил свой кабинет, попрощался с сотрудниками министерства, которые своими теплыми словами растрогали меня до глубины души, и снова стал только депутатом Кнессета.

– Как ты сможешь теперь быть рядовым членом Кнессета? – подначивал меня Пораз.

– Не волнуйся, – ответил я, – через пару недель Перес войдет в правительство вместо нас, и я стану лидером оппозиции.

– Но Перес обещал, что не войдет в правительство.

– Да, помню. Но это же Перес!

Конечно, я оказался прав. Партия «Авода» вползла в правительство на брюхе, уступив ортодоксам все, что я отказался им дать. Я стал лидером оппозиции. Это была странная оппозиция, конфликтующая и разобщенная, единая лишь в одном – нежелании отставки правительства. Среди моих коллег по партии «Шинуй» первое время шел спор, надо ли нам голосовать против бюджета, из-за которого мы вышли из правительства. Я решил, что мы не будем делать этого, и навязал свое мнение остальным.

– Я не готов отвечать за провал разъединения, – сказал я. – Пусть Шарон сам закончит все это, потом у нас будет предостаточно возможностей подвинуть его.

За несколько месяцев до того, в разгар кризиса, я отправил письмо Андреасу Людвигу, менеджеру отеля «Маранья» в Швейцарии, в котором мы обычно проводили отпуск. «Дорогой господин Людвиг, – писал я, – как вам, конечно, известно, сейчас в Израиле серьезный правительственный кризис, поэтому я не могу уехать из страны. К сожалению, вынужден отказаться от забронированного номера».

Ситуация изменилась – теперь я мог компенсировать Шуле потерянный отпуск, и мы отправились в край голубых озер и заснеженных гор. Когда мы приехали туда, конечно, выяснилось, что господин Людвиг, разумеется, не имел ни малейшего представления, о каком правительственном кризисе я писал, и о том, чем он завершился. Это было хорошим напоминанием о том, что события, которые кажутся нам чрезвычайно важными, ничего не значат для нормальных людей в нормальных странах, где «важное» – это когда какао подано слишком рано и успело остыть.

Вернувшись, мы обнаружили, что страна разделена на два лагеря, а улицы бурлят и бушуют. Поселенцы выходили на демонстрации в рекордных количествах. Сто тридцать тысяч человек выстроились в «живую цепь», сто пятьдесят тысяч участвовали в молитве протеста в начале месяца швата, двести тысяч пришли на демонстрацию на площади Рабина. Большинство шествий прошли без насилия, но были и более жесткие акции протеста – например, когда члены движения «Это наша страна» перекрывали дороги и призывали к гражданскому неповиновению, или когда несколько известных раввинов призывали солдат не подчиняться приказу о ликвидации поселений.

Как и все, я наблюдал за происходящим со страхом и печалью. Поселенцы, которых я любил и уважал, казалось, сошли

с ума, снова напомнив мне, что диалог с Богом невозможен. Сквозь поток эмоций и переживаний проступала важная истина: государство не имеет права сдаваться. Премьер-министр инициировал, правительство утвердило, Кнессет принял закон, Высший суд справедливости вынес решение. Когда против всего этого восстают люди, охмуренные изменнической верой, подстрекаемые мессиански настроенными раввинами, и бросают вызов законной власти, государство оказывается вынуждено, как пробудившийся джинн, пустить в ход свои длинные руки – полицию и армию, – чтобы восстановить закон и порядок.

Мы видели подобные сцены десятки лет назад в южных штатах США, когда местные власти, при поддержке разгоряченной толпы, протестовали против совместного обучения чернокожих и белых детей. Южане утверждали, что либералы, сидящие в Вашингтоне – в Белом доме, Конгрессе, Верховном суде, – пытаются навязать им порядки, противоречащие их вере, традициям, укладу жизни, их демократическому праву помешать чернокожим добиться своего. Президент Эйзенхауэр тогда отправил туда армию, которая вынудила протестующих соблюдать закон. С тех пор белые и черные дети учатся вместе.

Когда не остается выбора, государство применяет силу. Огромный размер мобилизованных ресурсов позволил ему действовать сдержанно. Несмотря на угрозы, демонстрации и протесты, повседневная жизнь в Израиле не была подорвана. Не случилось ни переворота, ни прихода Мессии, ни апокалипсиса. Общество выдержало испытание. Мы можем с удовлетворением отметить, что в час кризиса страна продолжает функционировать. Демократия устояла перед возбужденной, решительной, уверенной в себе, хорошо организованной и щедро финансируемой толпой. Власть закона победила.

Разъединение началось в понедельник, 15 августа 2005 года. Два дня спустя Шарон пригласил меня встретиться в ним в его офисе в Иерусалиме.

Хорошо известно, что, когда торнадо проходит по какой-то местности и воронка вихря засасывает все попавшиеся на пути дома, деревья и автомобили, в самом центре торнадо, который называют «глазом бури», царит тишина. Что-то в этом роде я ощущал во время встречи с Шароном. Над сектором Газа бушевал смерч, средства массовой информации всего мира сообщали о сражениях поселенцев с выселяющими их отрядами армии и полиции. А мы с Шароном более часа вели неторопливую беседу, в основном о Бен-Гурионе и Моше Даяне. Шарон взял свою автобиографию и показал мне фотографию, на которой Бен-

Гурион обращается к Арику, а из-за его спины выглядывает Меир Амит.

– Посмотри, какой взгляд у Амита, как он завидует мне, – сказал Шарон и усмехнулся. В это время солдаты и полицейские врывались в дома поселенцев в Газе.

В тот момент Шарон был самым востребованным прессой человеком на планете и при этом самым одиноким в своей стране. Одиноким физически – из опасений за свою безопасность, одиноким политически – из-за раскола в собственной партии, одиноким в семье – из-за трудного положения его сына Омри, одиноким как политик, выполняющий решение, которое будет судить История. Он был в хорошем настроении.

Я подумал, что если бы был на его месте, то ушел бы в отставку, вернулся на ферму и стал разводить овец и помогать сыну. Я сделал бы это именно тогда, когда находился на пике своей карьеры, был почитаем во всем мире, когда передо мной заискивали политики, когда-то игнорировавшие меня, когда я еще был популярен в обществе, будучи легендой нескольких войн и в целом удовлетворенным собой. Прежде чем Биби Нетань-яху ощиплет мне перья, прежде чем по моей вине произойдет раскол в моей партии, прежде чем я увязну в вонючем болоте партийной политики.

Зачем ему все это было нужно? Только потому, что «Шарон никогда не сдается»? Зачем нужно было дожидаться поражения, когда можно было уйти победителем?

Даже сегодня, когда конец Шарона известен, я спрашиваю себя: почему он не остановился? Почему не сделал того, что напрашивалось в той ситуации? Что удерживало его? Инерция? Упрямство? Страх остаться не у дел? Страх падения? Жажда власти? Ощущение своего предназначения, своей миссии?

Тогда я говорил все это Шарону, а он только слушал и улыбался. Он знал, что я пришел не для того, чтобы обвинять или защищать его. В моих словах не было ни обвинений, ни возражений. Только дружеский совет в разговоре ветеранов, которые видели все.

Глава 58

Когда я был мальчишкой, в течение полутора лет отец занимался моим образованием дома. Помню, однажды он прочитал мне рассказ из потрепанной венгерской книжки.

В нем простой человек, плотник по профессии, умирает в преклонном возрасте. Родных у него нет, и после смерти он оказывается всеми забыт. Но не окончательно. Несколько месяцев спустя его друзья собираются в пивнушке, вспоминают недавно усопшего товарища, и на какие-то недолгие мгновения он живет в их памяти. Проходит год-другой, по радио передают бывшую популярной много лет назад песню, и старушка вспоминает вдруг юношу-плотника, которому когда-то подарила свой первый поцелуй. И он живет несколько мгновений в ее памяти. Проходит еще несколько лет. Молодой юрист разбирает бумаги в кабинете недавно умершего отца. Ему попадается на глаза пожелтевший счет, присланный когда-то его отцу плотником за изготовление книжных полок для кабинета. Молодой юрист понимает, что этот счет уже никому не нужен, и выбрасывает его в окно. Клочок бумаги опускается на тротуар, капли дождя смывают едва различимые буквы и цифры одну за другой, пока не исчезает последняя память об умершем плотнике.

Отставные политики – как те буквы и цифры, медленно исчезающие под действием капель дождя. Некоторое время ими еще интересуются, задают вопросы, хотят знать, что произошло. Но затем интерес исчезает. Твой автомобиль передают кому-то другому, вместо четырех помощников у тебя остается только один, по утрам ты начинаешь слушать те радиостанции, которым еще вчера отказывался давать интервью. Чем больше проходит времени, тем больше ты понимаешь, что то, что еще недавно казалось важным, уже не является таковым.

Большинство политиков в такие мертвые периоды посвящают время партийным делам. Ездят в региональные отделения, в которых давно не бывали, ходят на бар-мицвы детей активистов, приглашают на обед членов совета партии. Я ничего такого не делал. Я довольно многого достиг в политике без ритуального посещения праздников и свадеб – считал все это ненужным. В конце концов, всеми партийными делами занимается Пораз, говорил я себе. А кроме того, все знали, что без меня «Шинуй» не получил бы ни одного мандата.

У меня появилось время. Я снова стал писать, вернулся к игре

в шахматы, работал над законопроектами и долгие часы сидел на заседаниях, слушая других депутатов. Время от времени я поднимался на трибуну и задавал правительству жару, но без былого энтузиазма. Коалиция так эффективно вредила сама себе, что оппозиции не нужно было ничего делать, только аплодировать с галерки. В рядах «Ликуда» образовалась пятая колонна под предводительством Биби, вышедшего из правительства после разъединения, которая срывала одно голосование за другим.

– Пусть продолжают в том же духе, – говорил я Поразу. – Это только добавит нам мандатов.

От скуки я поехал в Китай во главе большой дипломатической миссии. В одном из сотен киосков на рынке в Шанхае я купил зеленую кепку Мао с красной звездой, надел ее и почти не снимал. Куда бы я ни пошел, все хихикали. Смотрели на меня, на кепку – и хихикали. Я был единственным человеком среди более миллиарда китайцев, носившим кепку Мао. Его френч тоже вышел из моды – я искал себе такой, но во всем Китае не нашел ни одного моего размера. За всю долгую поездку я увидел портрет Мао только один раз – на площади Тяньаньмэнь на стене мавзолея, под охраной полицейских. Если уж Мао, один из крупнейших и самых осуждаемых лидеров двадцатого века, исчез из памяти людей так быстро, то что уж говорить обо мне?

В ноябре 2005 года Шарон ошеломил всех, объявив о создании партии «Кадима». Через два дня были объявлены выборы, третьи за какие-то шесть лет. Опубликованные через два дня результаты опросов показали, что «Кадима» нанесет нам сокрушительное поражение, но я отказался сдаваться. Я знал, что умею проводить предвыборные кампании, и полагал, что у нас есть избиратели, которые будут верны нам при любых обстоятельствах.

16 декабря я написал заметку в газету «Шинуй», в которой раскритиковал партию «Кадима» и ее лидера. По сути, это не партия, а театр одного актера, за которым нет никакой внятной идеологии. Его избирательная кампания была один сплошной популизм: Шарон с людьми, Шарон с овцами, Шарон-мачо. Моя заметка начиналась словами: «А что, если, не дай бог, с Ариэлем Шароном что-то случится?»

Через два дня у Шарона случился первый приступ.

Публику информировали, что он в хорошем состоянии, но слухи утверждали обратное. Я, конечно, позвонил ему. Его голос был слабым, но говорил он отчетливо. Даже вспомнил мою старую поговорку: «Нет надежды на беспокойство».

Две недели спустя Ольмерт участвовал в ток-шоу Яира.

– В ближайший четверг, – сказал ему Яир, – Шарон ляжет на операцию, а ты станешь de facto премьером Израиля.

Ольмерт отмахнулся.

– Да ладно, – сказал он, – Шарон практически здоров и поведет нас на выборы.

Позже в тот же вечер, у меня дома, я сказал ему, что ситуация невеселая. У Шарона серьезные проблемы со здоровьем, а партия целиком зависит от него.

– Если что-то случится, – сказал Ольмерт, – ты будешь моим конкурентом на выборах.

Этот мрачный прогноз стал реальностью четвертого января. У Шарона случился второй инсульт, он впал в кому, из которой уже не вышел, и лидером «Кадимы» стал Ольмерт. При всей моей любви к Ольмерту я полагал, что он будет соперником, противостоять которому будет не так уж сложно.

Я знал, что, прежде чем начать предвыборную кампанию, мы должны составить новый список кандидатов в Кнессет, но не придал этому большого значения. В «Шинуй», в отличие от других партий, не было внутрипартийных выборов, а было тайное голосование ста шестидесяти девяти членов Совета партии. Я полагал, что и на этот раз представлю Совету свой список кандидатов и его без проблем утвердят.

Я знал, что группа недовольных, рассчитывавших на получение теплых мест от министров – членов «Шинуй», проникла в ряды членов Совета, но не думал, что они могут как-то чувствительно повлиять на результаты. Мне следовало вспомнить высказывание еврейского философа Моше Мендельсона: «Месть ищет объект и, если не находит, начинает пожирать собственную плоть».

Внутрипартийные выборы состоялись в январе 2006 года. Накануне я прочитал в интернете статью известного журналиста, который писал, что наши внутренние выборы никому не интересны, потому что «партия “Шинуй” была и остается партией одного человека – Томи Лапида». Я согласно кивнул и сел писать победную речь, которую произнесу перед Советом.

Но двадцать четыре часа спустя все рухнуло.

За первое место со мной боролся Ицик Гилад, один из сценаристов израильской мыльной оперы, никудышный писатель, утверждавший, что он предсказал появление озоновых дыр. Я победил Гилада – о котором никто не слышал ни до, ни после – с унизительно малым преимуществом в чуть более полпроцента. Но это было лишь началом конца. В борьбе за второе место Ле-

винталь – лидер недовольных – одолел Авраама Пораза. Мы с Поразом поднялись в гостиничный номер, чтобы поговорить с глазу на глаз.

– Я не буду бороться за третье место, – сказал Пораз, – они просто сделают со мной то же самое еще раз.

– А что ты будешь делать?

– Пойду домой.

– Тогда и я ухожу.

– Ты не можешь уйти, Томи, тебя избрали лидером партии.

– Если ты уходишь, я тоже ухожу.

Мы молча спустились на лифте в вестибюль отеля. В конференц-зале продолжался разгром, лоялисты один за другим проигрывали заговорщикам. Ни одна партия еще не совершала харакири так быстро и так эффектно. Я не стал оставаться там и наслаждаться унижением. Помощники ждали меня в машине. Я попрощался с Поразом, крепко обнял его и поехал домой. Там меня уже ждали Мерав и Яир, которые услышали о произошедшем по радио. Я сел на коричневый диван в гостиной, пытаясь переварить то, что произошло всего несколько минут назад.

– Как вы думаете, что мне делать? – спросил я их.

– Папа, – сказала Мерав, – эта история закончилась.

– Какая история?

– Про тебя и политику.

Так с одной фразой, произнесенной дочерью, закончилась моя политическая карьера.

Я, конечно, мог бы продолжить. На следующий день после внутрипартийных выборов, когда Левинталь понял, что одержал пиррову победу, он послал своих гонцов, чтобы убедить меня не уходить в отставку. «Широкая общественность все равно не в курсе, кто у нас на втором месте, – говорили они, – и ты продолжишь быть нашим безусловным лидером». Я не стал слушать их или отвечать им. Я не для того работал в партии и возглавлял ее, чтобы привести в Кнессет кучку третьесортных проходимцев и предателей, которые не достойны и не способны представлять наших избирателей. Кроме того, я не был готов отвернуться от Пораза. Он мой друг, а я не предаю друзей.

Через несколько дней я собрал пресс-конференцию и объявил о своей отставке.

– Я решил, что не имею морального права возглавлять на выборах список кандидатов, в которых не верю, – сказал я перед камерами. – «Шинуй» в своем нынешнем виде не заслуживает доверия общества.

Я собрался сесть, но выпрямился и добавил еще несколько слов:

– Сегодня я поставил точку в большой главе из моей жизни. Главе, которой я горжусь.

Глава 59

Проходили недели, а за ними месяцы. Это было время, когда я должен был наконец начать понемногу наслаждаться жизнью: вставать попозже, прочесть наконец-то «В поисках утраченного времени» Пруста, выбраться в Вади Кельт, записаться на курс изучения Каббалы, заняться випассаной, постричь газон, починить сломанные жалюзи, поменять почтовый ящик, готовить холодный вишневый суп, навещать тетю Блюму, поливать растения на крыше, слушать симфонии Малера, играть с внуком в шахматы, приводить в порядок фотоальбомы.

И что из всего этого я сделал? Ничего. Я понял, что все эти дела, которые ждали меня годами, существуют не для того, чтобы быть сделанными, а лишь для того, чтобы я все время собирался их сделать.

В эти долгие месяцы, вместо того чтобы делать что-нибудь, я созерцал. Сидел с книгой и не читал. Общался с людьми, которые замолкали, обнаружив, что я не слушаю, а смотрю в одну точку.

Я созерцал пустоту. Я вставал пораньше, чтобы не признаваться себе, что никому не будет меня недоставать, если встану попозже. Я смотрел в никуда, потому что понимал, что судьба моя решена – до конца жизни я обречен на ничегонеделание.

Я отстраненно смотрел даже на вещи, непосредственно ко мне относившиеся, близкие мне. Созерцал предвыборную гонку, которую выиграл, разумеется, Ольмерт; созерцал ортодоксов, праздновавших мое падение и утверждавших, что это дело рук божьих (странно, что они не говорили так о моем головокружительном взлете несколько лет назад); созерцал крах партии «Шинуй», которой Левинталь и компания принесли сногсшибательное количество голосов – 4907. Если вычесть самих кандидатов и членов их семей, то, похоже, голосовала за них только госпожа Зливанская из Кфар-Сабы, которая думала, что партию до сих пор возглавляю я.

Я созерцал дорогого друга Амнона Данкнера, который приходил ко мне каждый день, чтобы убедить меня перестать созерцать и начать жить; созерцал Яира и Мерав, смутно различая, как они говорят со мной сочувственным тоном; созерцал Шулу, когда мы праздновали выход ее новой книги «Девичья ферма», ставшей бестселлером. Она тоже пыталась понять, как ей вытащить созерцающего мужа из болота, в котором он оказался.

Я мог бы, конечно, пойти куда-нибудь волонтером. В

народную дружину, если она еще существует. В полицию. В скорую помощь. Защищать окружающую среду. В больницу. В дом престарелых. Может, даже в пожарную команду.

Депрессия. Отчаяние. Дош всегда говорил, что старость хуже Аушвица. Почему? Потому что там был выбор – отправиться налево или направо, а с возрастом остается лишь один вариант – налево.

Эти месяцы созерцания научили меня тому, что раньше я знал в теории, но по-настоящему понял только сейчас. Мужчины, которые выходят на пенсию в шестьдесят пять лет, а женщины в шестьдесят лет, – они на десять и пятнадцать лет младше меня, ушедшего на покой. У них гораздо больше сил, больше энергии. Что они делают с собой? Сколько времени они могут тешить себя иллюзиями, что делают что-то, что оправдывает их существование?

Вы спросите: ты только сейчас это понял? Нет, конечно. Но только сейчас я понял, каково это – вынужденно бездействовать. Понял, почему Партия пенсионеров получила семь мандатов на выборах в Кнессет. Сотни тысяч мужчин и женщин с миллионами лет бесценного опыта пассивно сидят дома.

И тогда я перестал созерцать.

Как это у меня получилось? Могу ли я написать бестселлер под названием «Как выйти из депрессии»? Боюсь, что нет. Я просто прочувствовал наконец известное высказывание Марка Твена: «Старость не так уж плоха, если помнить об альтернативе». Я умел писать, умел думать, и знал, что умереть я всегда успею. Когда венгр попадает в беду и хочет подбодрить себя, он говорит: «Еще будет виноград с мягким хлебом». Мир снова одарил меня виноградом. Сначала Дан Маргалит пригласил меня стать постоянным участником программы «Совет мудрецов» на Канале-10, потом Данкнер попросил писать в «Маарив» на постоянной основе, а затем позвонили из радиостанции «Голос Израиля» и спросили, не хочу ли я вернуться в эфир и снова вести радиопередачу.

Я сказал «да» всем.

Мою новую-старую радиопередачу поставили в расписании на субботу, одиннадцать утра – видимо, чтобы ортодоксы не узнали о ее существовании. Свой первый эфир я начал такими словами:

– Во избежание недоразумений я решил в самом начале прояснить кое-что:

Признаю, что я отношу себя к элите. Признаю, что толстый.

Признаю, что буржуа. Признаю, что старый. Признаю, что знаменитость. Признаю, что интеллектуал. Признаю, что я друг Ольмерта. И благодарю Бога за это.

Что еще? Сознаюсь: я ашкенази. Я люблю гуляш больше, чем кускус; классическую музыку больше, чем мелодии в стиле «мизрахи»; сознаюсь, что не праздную марокканскую Мемуну; что не посещаю могил праведников; что не вписываюсь в Ближний Восток и не верю в Бога. И слава богу, что так.

Признаю, что я мужчина. Признаю, что мне нравятся красивые женщины; признаю, что целовал девушку, не получив нотариально заверенного разрешения. Признаю, что пламенные феминистки вызывают у меня отвращение, избалованные женщины раздражают меня, а сложные женщины пугают. И слава богу.

Сознаюсь: я терпеть не могу милосердных либералов и не люблю забастовки. Я не в восторге от палестинцев, не верю в то, что все люди равны. Признаюсь: постмодернизм оставляет меня равнодушным, а от рок-н-ролла у меня болит голова. Да, я предпочитаю новое шоссе щавелевому полю, а в уличных драках всегда на стороне полицейских. Я признаю, что у меня есть предрассудки. Ну и слава богу.

И это еще не все. Я признаю, что я патриот Израиля. Что я светский еврей. Признаю, что я – это я. И слава богу, что так.

Ну и что вы будете с этим делать?

В июле 2006 года меня назначили председателем Совета мемориала «Яд ва-Шем».

Я считаю, что этот музей предназначен не только для сохранения памяти о Катастрофе. Он должен пробуждать совесть в мире, напоминать о том, что произошло, чтобы не допустить повторения этого. Когда к нам приезжал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, я воспользовался этим шансом, и вместо ожидаемой речи о шести миллионах евреев стал говорить о резне, происходившей в те дни в Дарфуре.

> *«Триста тысяч мужчин, женщин и детей убиты. Два с половиной миллиона человек остались без крова, десятки тысяч больных умирают из-за отсутствия лекарств, десятки тысяч детей умирают от голода, десятки тысяч женщин изнасилованы, десятки тысяч домов стерты с лица земли. Во время Катастрофы весь мир молчал. Сегодня мы считаем своим долгом бить в колокола по поводу происходящего в Судане. Необходимо сделать все возможное, чтобы положить конец этим*

зверствам, творящимся сегодня, сейчас, в эти минуты».

Опытный дипломат, Пан Ги Мун сохранял непроницаемое выражение лица, так что я так и не понял, что он думал по поводу моей речи. Но мои слова процитировали все крупнейшие газеты мира. Надеюсь, что они помогли людям осознать всю трагичность событий, происходящих в этом равнодушном мире при нашем молчаливом попустительстве. Я считал своим долгом говорить от имени погибших вчера, чтобы спасти тех, кто может погибнуть завтра.

Неожиданную радость я испытал, когда узнал, что у меня, оказывается, есть заместитель. Несколько лет назад «Яд ваШем» сделал «почетным заместителем председателя» моего старого друга, лауреата Нобелевской премии Эли Визеля. «Эли, мой дорогой друг, – написал я ему, – я всегда мечтал, чтобы Эли Визель был моим заместителем. И вот теперь моя мечта сбылась».

Жизнь не то чтобы вернулась в привычную колею (у нее ведь не одна колея), но мне казалось, что я снова нашел свое место в ней. Накануне праздника Суккот я пошел в синагогу Бейт-Даниэль послушать лекцию Яира о библейской истории Саула и Самуила. Получил огромное удовольствие, но по дороге домой не переставал думать о выражении, которое услышал: «проживать взятое взаймы время».

Я скрывал от жены и детей и в какой-то мере от самого себя, но мое тело стало намекать мне, что что-то не так.

Глава 60

Я умер ровно через год после того, как мне сообщили, что я болен.

Оглядываясь назад на этот период, я с легким удивлением осознаю, что в основном он был скучным. Болезнь и смерть – это большая личная драма для больного и его близких, но все истории болезни в общем-то похожи: перепады настроения, первый диагноз, повторное заключение, улыбка профессора Флисса, который сообщает мне, что операция прошла успешно, сосредоточенное лицо доктора Пефера в тот момент, когда он помогает мне забраться в аппарат для облучения, лунообразное лицо японского врача в онкологическом центре «Мемориал Слоун-Кеттеринг» в Нью-Йорке, расстроенные лица профессора Равида и профессора Инбара – единственных, кто сказал мне правду, отчаяние на лице профессора Барабаша, директора тель-авивской клиники «Ихилов», когда он понял, что меня не удастся убедить продолжать химиотерапию, заплаканное лицо Ольмерта, сидевшего рядом со мной, вымученная улыбка на лице Данкнера, который не бывал в больнице со времени смерти отца, бледное и испуганное лицо Ализы и красивые, мои самые любимые во всем мире лица Шулы, Мерав и Яира, которые сидели возле меня по ночам, и лицо Михаль, внезапно возникающее из тьмы, а затем снова исчезающее.

Потом в газетах писали, что я скончался «после продолжительной борьбы с раком». Это неправда. Не я боролся с раком, а он со мной. Когда-то давно Кишон сказал мне, что самые важные слова, которые человек может услышать в своей жизни, это слова, произносимые врачом с рентгеновским снимком в руках: «Кое-что мне здесь не нравится». Я многие годы повторял эту шутку, и вдруг она случилась со мной. Первая опухоль, размером с горошину, появилась на моем правом ухе. Ее удалили, но врач сообщил мне, что от нее пошли метастазы в лимфатические пути. В тот вечер у нас были билеты на «Короля Лира» в театр «Камери». Я сказал Шуле, что чувствую себя хорошо и не испытываю никакого страха, но на спектакль не пойду: я уже получил дневную дозу шекспировских страстей.

Вторую опухоль тоже удалили, в ходе семичасовой операции, после которой мне сказали, что я «чист» и здоров. Прошло несколько месяцев, я вернулся в «Совет мудрецов», время от времени писал статьи, а затем мне сообщили, что обнаружены метастазы в легких. Тем же вечером я повел Мерав и Яира в паб в Тель-Авиве. Мы с Яиром пили виски, а Мерав заказала

клубничного цвета коктейль.

– Не знаю, как сказать вам, чтобы не выглядеть чересчур драматичным, но мне осталось жить несколько месяцев.

Мы сидели там допоздна и разговаривали. О нашей жизни, о страхах, о том, какой станет семья без меня.

– Знаю, что вы не поверите мне, – сказал я им, – но мне не на что жаловаться. Я должен был умереть в тринадцать лет, а мне уже семьдесят семь, я окружен друзьями и близкими, окружен любовью и понимаю, что сделал в жизни гораздо больше того, что мне было предначертано судьбой.

– Единственная моя претензия к тебе, – сказал Яир, – ты не подготовил меня к жизни без тебя.

– Я подготовил тебя, – сказал я, – ты просто еще этого не знаешь.

Той же ночью я поговорил с Шулой и, надеюсь, это не смутит моих детей и внуков, занимался любовью с этой женщиной, которую любил всем сердцем почти пятьдесят лет.

Я решил ничего не скрывать. Каждому, кто спрашивал меня, как я себя чувствую, я отвечал: «Хорошо. Правда, у меня рак». Должен признать, разнообразие ответных реакций немало позабавило меня. По-моему, в этом есть что-то смехотворное – когда пишут, что кто-то «скончался после длительной тяжелой болезни», не называя вещи своими именами. У меня был рак, и я не понимал, почему я должен этого стесняться.

В феврале 2008-го я полетел в Нью-Йорк, чтобы испытать на себе новый метод лечения, которого не было в Израиле. Как вы уже знаете, он не имел успеха, но по крайней мере я с полным основанием могу дать рекомендацию тем, кто думает попробовать новаторские способы лечения рака за границей: возьмите эти двадцать тысяч долларов, дайте их своим детям и попросите устроить роскошную вечеринку в годовщину вашей смерти. Она будет гораздо лучшим применением этим деньгам.

Когда распространилась весть о том, что я умираю, раввины предприняли еще одну, последнюю попытку взять меня штурмом. Приходил раввин Арье Дери, приходил раввин Лао, все пытались убедить меня хоть один раз наложить тфилин или помолиться вместе с ними или хотя бы позволить Яиру прочитать по мне кадиш после смерти. Как ни странно, это не рассердило меня. Я оценил их усилия и верю, что они действовали из лучших побуждений. В эти моменты – рождения и смерти, когда перед нами является чудо творения или открывается драма нашей бренности, большинство людей действительно нуждаются в религии.

Я отказал им по двум причинам: во-первых, потому что знал,

как будут торжествовать ортодоксы, услышав об этом. Во-вторых (и это более важно), так как я не позволял первобытным страхам управлять мной в течение жизни, то не собирался позволять им это и после моей смерти. Бог – это сказка, придуманная людьми, чтобы не бояться того, чего они не понимают. Я не боялся, поэтому не нуждался в нем.

За день до того, как я лег в больницу в последний раз, я позвонил Ализе и попросил встретиться в ливанском ресторанчике в Абу-Гош, под Иерусалимом.

– Если мои не захотят позволить мне умереть, – сказал я ей, – тебе придется сказать им, что это именно то, чего я хотел.

Ализа заплакала.

– Поешь хотя бы оливки, – почему-то сказала она, и я вспомнил свою первую в жизни оливку, которую съел шестьдесят лет назад на военной базе в Бейт-Лид.

За несколько дней до смерти у меня появилась еще одна, последняя, возможность побыть тем, кем я был всегда, – человеком, который сам устанавливает себе правила.

Метастазы распространились в легкие, а оттуда в печень и почки, и врачи начали химиотерапию. Я пролежал целый день, уставившись в потолок. Шула и Мерав сидели рядом. Вечером Яир пришел сменить их, и мы вместе смотрели, как «Маккаби» играла в матче за Кубок Европы. Во время очередного тайм-аута комментатор сообщил: «На следующей неделе “Маккаби” будет играть дома против мадридского “Реала”».

– Этот матч, – сказал я Яиру, – ты уже будешь смотреть один.

Он улыбнулся, взял меня за руку, и я заснул. В середине ночи я проснулся и услышал, как он тихо плачет в темноте. А еще я почувствовал, как содержимое капельницы переливается в мою вену, и вдруг понял, какой это идиотизм. Что я пытаюсь выгадать? Еще несколько месяцев в больнице, за которые я облысею, похудею, потеряю остатки разума и вконец измучаю родных? Зачем?

Той же ночью я раскрыл главный секрет неизлечимо больных: они всегда убеждают себя в том, что «когда приблизится конец, я сам решу, продолжать или прекратить», но, когда этот момент приходит, они уже измучены, а сознание их слишком затуманено, чтобы решать самим. Поэтому решение остается за врачами, а врачи всегда пытаются продлить им жизнь как можно больше, поскольку давали клятву и прошли подготовку и не могут по-другому.

Утром я проснулся и попросил о встрече с Эхудом и Ализой. Они приехали, и я взял с них расписку, как со свидетелей, на документе, в котором сообщал, что отказываюсь от лечения,

продлевающего жизнь. Мой внук Йоав, который находился с нами в палате, спросил, почему, собственно, родственники не могут подписаться под этим документом.

– Потому что это позволяет предотвратить ситуацию, когда жена, которая пытается избавиться от больного мужа, или дети, которые хотят ускорить получение наследства, заставляют больного поставить свою подпись вопреки желанию, – объяснил я ему.

– Ты знаешь, – сказал Йоав после некоторого раздумья, – это очень разумный закон.

– Знаю, – ответил я, – я сам его принял.

Когда они ушли, я позвал врачей и потребовал немедленно прекратить химиотерапию.

– Но, Томи, – сказал профессор Барабаш, срочно вызванный в палату, – мы можем помочь тебе прожить еще шесть месяцев.

– Вот так? – обвел я рукой палату. – Это ты называешь жизнью?

Остальные врачи тоже пытались уговорить меня, но я уже принял решение. Одна из них, к моему удивлению, расплакалась.

– Ты знаешь, – сказала она мне, – здесь, в отделении онкологии, я должна была бы каждый день сталкиваться с людьми, принимающими такое решение, но, честно говоря, ты первый, кто так решил и стоит на своем.

Я улыбнулся и продолжал говорить с ней, пока она не успокоилась.

В последнюю неделю жизни я не хотел видеть никого, кроме самых близких. Мерав сидела возле меня часами, гладила мою руку и повторяла снова и снова «Бушик, Бушик» – так называли меня дети, в то время как Шула держала другую руку и гладила лоб. Яир проводил рядом со мной ночи и описывал мне то, что показывали по телевизору, когда я не мог открыть глаза. Мне давали морфий, чтобы ослабить боли, и каждый раз я погружался в чуть более глубокий и чуть более темный сон, зная, что именно так я уйду: медленно погружаясь во тьму, окруженный любовью. Я никому не советую умирать, но, если придется уходить, лучше всего именно так.

Первого июня 2008-го, до наступления рассвета я начал свое последнее погружение. Время от времени мое сознание прояснялось, но я понимал или, возможно, чувствовал, что это конец. Есть что-то обманчивое в том, как работает мозг человека в последние часы жизни. Я думал об отце, я видел его так ясно и отчетливо, как не видел с тех пор, как его у меня забрали. Маму тоже видел – красивую, как всегда. Я думал о том, что сейчас я

самый худой за последние сорок лет, но не сумею насладиться этим. Я чувствовал руки своих родных и, дыша все тяжелее, будто издалека слышал их голоса. В какой-то момент я чувствовал свое дыхание, и меня огорчало, что оно было таким громким и резало слух, и я не мог расслышать, что мне говорила Мерав. Не могу утверждать, что «жизнь проносилась перед моими глазами», я был в состоянии безмятежности. Я осмыслил свою жизнь и понял свою смерть. И был в мире с обеими.

И тогда я перестал дышать.

Наступила тьма.

Знаю, некоторым интересно: что там, после смерти.

После смерти нет ничего.

Точно вам говорю.

Благодарности

Этой книги не было бы, если бы не записанная Амноном Данкнером серия бесед с моим отцом в последний год его жизни. Эти записи, являющие собой образец журналистики и дружбы, Амнон великодушно передал мне без каких-либо условий.

Я благодарен своей маме, Шуламит Лапид, которая проделала со мной каждый шаг всего процесса написания книги: почти ежедневно что-то добавляла, исправляла, а главное – слушала и все время поддерживала меня.

Я благодарен своей сестре Мерав Рот и ее мужу Дани Роту, жене Лихи и старшему сыну Йоаву, которые очень помогли мне своими советами и, что не менее важно, с пониманием отнеслись к моему исчезновению из их жизни в мой «подвал, где хранятся воспоминания».

Моя особая признательность – редактору Ронит Вайс-Беркович за проницательность, поддержку, терпение и дружбу, и особенно за деликатность, с которой она вела своего упрямого подопечного к его цели.

Спасибо моему помощнику Авиталь Эйлат, без которой мне ни за что не справиться бы с таким огромным количеством материала, и Этель Хувен, которая, как всегда, стояла между мной и жизнью, позволяя мне не отвлекаться от работы над книгой.

Я признателен Эхуду и Ализе Ольмерт, Эли Зоару, Аврааму Поразу, Разу Бен Давиду, Галь Сегаль, Цахи Моше, Томми Ягода, Петеру Гутману, Дани Токатли, Шимону Вейнтраубу – без которого не пережил бы поездку в Нови-Сад, – и многим другим, кто читал, поддерживал, посылал материалы, кому я докучал вопросами в любое время суток.

Спасибо моим агентам – Боазу Бен Циону и Илану Бушари, которые всегда были рядом.

И спасибо отцу – за все.

Яир Лапид

Тель-Авив, октябрь 2009

notes

Сноски

1

Аушвиц – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти в окрестностях города Освенцим (Польша).